

Достоевский

БЕЗ ГЛЯНЦА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АМФОРА


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу вошли отрывки из воспоминаний о Ф. М. Достоевском, фрагменты переписки, редкие свидетельства, воссоздающие подлинную канву его биографии. Здесь собраны только факты, из уст самых близких людей, исключающие позднейшие домыслы и неверные оценки.

- Павел Фокин
  - Достоевский: человек и икона
  - Личность
    - Облик
    - Характер
    - Творчество
    - На эстраде
    - Отец и муж
    - Привычки, обычаи
    - Увлечения, интересы, пристрастия
    - Любимые блюда
    - Жилище
    - Здоровье
    - «Священная болезнь»
    - Долги и доходы
  - Родные и близкие
    - Родители
    - Няня Алёна Фроловна
    - Брат Михаил
    - Первая жена Мария Дмитриевна
    - Пасынок Павел Александрович Исаев
    - Аполлинария Суслова
    - Вторая жена Анна Григорьевна
  - Жизнь и судьба
    - Московское детство
    - Даровое
    - Прощание с детством
    - В Инженерном училище
    - Семейная трагедия
    - 1840-е. Петербургская молодость
    - Литературный дебют
    - В кружке Петрашевского
    - Спешнев
    - Арест, следственное дело и приговор
    - В Омском остроге

        - В Семипалатинске
        - Возвращение в литературу
        - 1862. Первая поездка за границу
        - 16 апреля 1864 года. У гроба жены
        - Лето 1866 года в Люблино
        - Роман «Игрок». Знакомство с Анной Григорьевной Сниткиной
        - Новая любовь и второй брак
        - Вновь за границей. Рулетка
        - 1867. Ссора с Тургеневым
        - 1867–1868. Женева. «Идиот». Рождение и смерть дочери Сони
        - 1869–1870. Дрезден. Рождение дочери Любы. Роман «Бесы»
        - 1871–1873. Возвращение в Россию. Рождение сына Феди. «Гражданин»
        - 1874–1875. Старая Русса
        - 1875–1878. Рождение и смерть сына Алексея. Поездка с Владимиром Соловьевым в Оптину пустынь
        - 1878. Невстреча с Л. Толстым
        - Петербург. Уличные происшествия и встречи
        - Пушкинские торжества 1880 года в Москве
        - Последняя болезнь и смерть
        - Похороны
        - Слава
    - Краткая летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского
    - Библиографическая справка
    - Задняя обложка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24

Павел Фокин
Достоевский без глянца

Светлой памяти Владимира Артёмовича Туниманова

Достоевский: человек и икона

Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба.

Лев Толстой

Американский исследователь Роберт Джексон назвал Достоевского «иконой самопознания». Справедливо. Читая романы Достоевского, человек постигает тайны бытия столь же глубоко и проникновенно, как и в храме, стоя перед образом на молитве. Но если в иконописных сюжетах и ликах видит он действительность, преображенную светом мира горнего, то в романах Достоевского узнает божественную суть творения, запечатленную в плоти земного обличил.

«По роду своей деятельности принадлежа к художникам романистам и уступая некоторым из них в том или другом отношении, Достоевский имеет перед ними всеми то главное преимущество, что видит не только вокруг себя, но и далеко впереди себя…» — через год после смерти писателя говорил Владимир Соловьев.

Пророческую природу личности Достоевского современники признали на Пушкинских торжествах 1880 года, когда его речь вызвала всеобщий восторг, на мгновение открыв истинный лик русского просвеченного общества, удивительный по красоте и благородству. Читающая Россия с изумлением взглянула на своего кумира. Каким-то новым светом озарилась вся его многолетняя литературная деятельность, вызывавшая споры и поклонение, недоумение и трепет. Он вдруг с неоспоримой очевидностью предстал в роли духовного учителя и провидца. Скорая затем кончина Достоевского только усилила интерес к новому и неожиданному для всех *явлению пророка в своем отечестве.*

«Человеческая мысль дошла в нем, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный… Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя и не дал ему закончить последний роман, встревожившись его огромной провидческой силой. Это было больше того, что позволено человеку; благодаря Достоевскому человек в миру и без того узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по всему, не был готов», — писал Валентин Распутин столетие спустя.

Личность Достоевского привлекает внимание столь же мощно, как и его творчество. Жизненная история этого человека не укладывается в голове. За шестьдесят лет он пережил столько, сколько не пережил весь род Достоевских за пятьсот лет (включая свирепый XX век!). Кажется иногда, судьба намеренно играла с ним во все известные, мыслимые и немыслимые, варианты человеческой биографии. Какой сюжет ни возьми, он почти наверняка так или иначе присутствует в жизни Достоевского.

Детство. В нем и патриархальная православная семья, со строгим отцом и ласковой мамой, с размеренным укладом московской жизни, сказочницей-няней, старшим братом — закадычным другом и единомышленником, с младшими братьями и сестрами. И частный пансион, с первым опытом коллективной жизни. И летние месяцы в дворянской усадьбе, с лесом, полем, прудом, с забавами, с картинами крестьянских трудов и будней. И суровый мир больницы для бедных. И богатые родственники из купеческой среды. И горечь утрат: ранняя смерть матери, расставание с родным городом, с семьей, с братом.

В шестнадцать лет он уже в казарме военного училища в Петербурге. Юность промелькнет в строевых подготовках, военных упражнениях, чертежах и экзаменах. В родовом имении разразится трагедия — крепостными крестьянами будет убит отец. По окончании училища — первый офицерский чин и скорая отставка. Нужда и соблазны столичного города. Ослепительный литературный дебют. «В моей жизни каждый день столько нового, столько перемен, столько впечатлений, столько хорошего и для меня выгодного, столько и неприятного и невыгодного, что и самому — раздумывать некогда… Идей бездна и пишу беспрерывно… Слава моя достигла до апогеи. В 2 месяца обо мне, по моему счету, было говорено около 35 раз в различных изданиях». Всероссийская слава в 24 года!

Всего через год — холод отчужденности и травля со стороны недавних друзей. Поиск своего места в обществе. Знакомство с радикальными кругами молодежи. Участие в тайном антиправительственном обществе. Арест. Заключение в крепость. Следствие. Смертный приговор. Томительные минуты на эшафоте в ожидании расстрела. Высочайшее помилование. Лишение дворянства, офицерского чина и гражданских прав. «Неужели никогда я не возьму пера в руки?.. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках».

Кандалы. Многоверстный этап через всю замороженную, заснеженную Россию. На пересылке встреча с женами

декабристов. Евангелие с десятью рублями под корешком. Омский острог. Четыре года на одних нарах с уголовниками. Потом солдатчина в захолустном Семипалатинске. Развитие нервного заболевания — эпилепсии. «Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная».

Но вот умирает царь, и — очередная перемена участи. Новый император дарует свободу и прежние права. В тридцать пять лет приходится начинать все с нуля. Жизнь закипает с новой силой. Хочется любви, деятельности, успеха. В Семипалатинске Достоевский встречает женщину, с которой решает связать свою судьбу. Она старше его, вдова, у нее сын-подросток, нервный экзальтированный характер и слабое здоровье.

Из Сибири, прожив год в Твери, Достоевский возвращается в Петербург. Пишет одну за другой повести, «Записки из Мертвого дома», роман «Униженные и оскорбленные». Вместе с братом принимается издавать литературный журнал. Новое поколение читателей восторженно приветствует некогда опального литератора.

Получает заграничный паспорт и едет в Европу. Берлин, Дрезден, Гейдельберг, Франкфурт, Висбаден, Майнц, Кёльн, Париж, Лондон, Дюссельдорф, Женева, Базель, Турин, Генуя, Ливорно, Флоренция, Милан, Венеция, Вена.

Вспыхивает роман с молодой писательницей Аполлинарией Сусловой, который развивается напряженно и нервно. Семейная жизнь расстраивается. Опять нависают тучи политической опалы. Власти неожиданно закрывают журнал. С братом пытается возобновить издание под другим названием. Суслова уезжает за границу. Он спешит за ней. Висбаден, Париж, Баден-Баден, Турин, Рим, Неаполь, Ливорно, Гамбург. Между влюбленными происходит разрыв. В Москве тем временем угасает в чахотке жена. Вскоре она умирает. За ней, спустя некоторое время, неожиданно умирает брат. «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих. Буквально — мне не для чего оставалось жить». Журнал закрывается окончательно. На плечи ложится многотысячный

долг, воспитание пасынка и забота о семье брата.

Сорок три года. Вдовец. Душат кабальные договоры с издателями. И вдруг — новая любовь, светлая, чистая, благородная, в которую невозможно поверить. Взаимная. «*Твой* весь, твой верный, вернейший и неизменный. А в тебя верю и уповаю, как во все мое будущее». Новая спутница жизни моложе его на двадцать пять лет. Годится в дочери! Она еще не родилась, когда он был уже известен всей читающей России. И, однако же, второй брак окажется счастливым, прочным и продолжительным. Наступает творческий расцвет. Из-под пера выходят мировые шедевры.

Но не дремлют многочисленные родственники. Спасая свое семейное счастье, четыре года кочует по заграница. Дрезден, Гамбург, Баден-Баден, Женева, Саксон-ле-Бен, Веве, Милан, Прага, вновь Дрезден, Висбаден. Тщетные попытки вырваться из нужды. Игра в рулетку, проигрыши, новые долги. Постоянные приступы эпилепсии. Рождение детей. Смерть первенца. И неустанный труд.

Возвращение в Россию. Непрерывные войны с кредиторами. Организация и успех собственного издательского дела. Развитие новой болезни — эмфиземы легких. Лечение на водах в Германии. Покупка дома в Старой Руссе. Смерть младшего сына. Поездка в Оптину пустынь. Пушкинская речь. Триумф. «Этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься». Стремительная болезнь и уход, ошеломивший Россию. «Опора какая-то отскочила от меня, — писал в эти дни Лев Толстой. — Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу». Плакали десятки тысяч поклонников Достоевского.

В день похорон проститься с писателем придет весь Петербург. Прибудут депутации из Москвы и других городов России. Свою скорбь выразят наследники престола. Траурная процессия заполонит весь Невский проспект. За гробом несут шестьдесят семь венков. Поют пятнадцать хоров певчих. Государь назначит вдове и сиротам пожизненную пенсию.

Только в этом беглом (и отнюдь не полном!) перечислении событий *частной жизни* Достоевского сколько сюжетов и драм! Хватит на десятки повестей и романов. Любимый сын и сирота. Потомственный дворянин и бесправный каторжанин. Офицер и солдат. Мечтатель и прагматик. Художник и инженер. Кумир и изгой. Член тайного общества и монархист. Либерал и консерватор. Атеист и христианин. Заключенный и скиталец. Любовник и муж. Вдовец и глава семейства. Отец и отчим. Игрок и труженик. Должник и кредитор. Европеец и патриот. Москвич и

петербуржец. Калейдоскоп социальных ролей Достоевского можно вращать непрерывно, и всякий раз психологический узор поведения будет причудлив и неповторим.

А ведь была еще литературная борьба. Была трагедия гибели Пушкина, пережитая как личная утрата. Было увлечение Белинским и его молодым окружением. Дружба и расхождение с Некрасовым. Приятельство, разрыв, вражда и примирение с Тургеневым. Полемика с Добролюбовым и Чернышевским. Знакомство с Герценом и Огаревым. *Невстреча* со Львом Толстым. Аполлон Григорьев, Николай Страхов, Аполлон Майков, Константин Победоносцев, Владимир Мещерский, Всеволод и Владимир Соловьевы — за каждым именем своя история отношений, человеческих, интеллектуальных, духовных.

Наконец — или в первую очередь! — было творчество. За тридцать пять лет — восемь больших романов, полтора десятка повестей и рассказов, сотни страниц публицистики и литературной критики. Десятки героев. Конспективно: Макар Девушкин, Голядкин, господин Прохарчин, Горянчиков, Фома Опискин, Иван Петрович, Наташа Ихменева, Нелли, князь Валковский, подпольный парадоксалист, Раскольников, Соня, Мармеладов, Свидригайлов, Порфирий Петрович, Лужин, Дунечка, Катерина Ивановна, Алексей Иванович, Полина, князь Мышкин, Рогожин, Настасья Филипповна, Аглая, Лебедев, семейство Епанчиных, генерал Иволгин, Вельчанинов, Трусоцкий, Ставрогин, Шагов, Кириллов, Петр Верховенский, Степан Трофимович, Варвара Петровна, супруги Лембке, Федька Каторжный, Липугин, Версилов, Аркадий Долгорукий, Макар, Федор Павлович Карамазов, Иван, Митя, Алеша, Смердяков, Ракитин, Коля Красоткин, Илюшечка Снегирев, Великий инквизитор и его Пленник, Кроткая, Смешной… Сколько лиц, сколько мыслей, сколько страсти! Каждый — «взят из сердца». «Очевидно, — писал Достоевскому Страхов, — по содержанию, по обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой, сравнительно с Вами, однообразен».

Его упрекали в том, что в его романах события нагромождены с фантастической, неправдоподобной густотой, что читать его невозможно — пестрит в глазах. А он так жил! Это был *естественный* темп его жизни. «У бездны на краю». Между абсолютной гармонией и гибельным хаосом. Между «идеалом Мадонны» и «идеалом Содомским». Благочестием и грехом. Раем и адом.

Уникальная, невероятная личность!

Кто только не пытался разгадать ее тайну. История Русской философии начинается с размышлений над романами

Достоевского. Владимир Соловьев, Василий Розанов, Дмитрий Мережковский, Лев Шестов, Сергей Булгаков, Николай Бердяев — нет ни одного сколько-нибудь значимого русского мыслителя, который бы прошел мимо Достоевского. Да и на Западе это редкий случай.

К наследию Достоевского, к феномену его личности обращаются юристы, психиатры, педагоги, историки, политологи, богословы. Эйнштейн как-то признался, что романы Достоевского дали ему для понимания теории относительности больше, чем все математическое наследие Эйлера. Сербский православный святой преподобный Иустин (Попович) признавался: «Начиная с пятнадцати лет, Достоевский мой учитель. Признаюсь — и мой мучитель». Что уж говорить о собратьях по писательскому цеху, о художниках, режиссерах, композиторах, кинематографистах. Личность Достоевского, его жизненный путь и творческое наследие сформировали целую отрасль *духовной деятельности — человечества.*

Любопытно, что первый *роман* о Достоевском появился еще при его жизни. Некий Поль Гримм выпустил в 1868 году в Вюрцбурге — на французском языке — книгу «Les mysteres du Palais des Czars (Sous l'Empereur Nicolas I)» — «Тайны царского двора (При Николае I)». В ней события развивались в 1855 году. По версии автора, Достоевский, названный своим полным именем, вернувшись из Сибири, вновь затевает заговор, вновь арестован, осужден к ссылке в Сибирь, но по дороге в Шлиссельбургскую крепость умирает. Жена Достоевского, добившаяся было у царя прощения для мужа, узнав о его смерти, уходит в монастырь. Сам Николай I кончает самоубийством. Достоевского возмутила эта ахинея, он хотел даже протестовать во французских газетах, начал писать опровержение, но после — остыл, смирился. Интересно, как бы он отреагировал на роман дважды лауреата Букеровской премии. Нобелевского лауреата 2003 года южноафриканского писателя Джона Кутзее «The Master of Petersburg» (в русском переводе — «Осень в Петербурге», 1994), в котором описываются не менее фантастические события «из жизни Достоевского», да еще делаются намеки на якобы патологическую склонность писателя к маленьким девочкам и его анонимное якобы участие во французских порнографических изданиях?

К сожалению, наряду с теми, кто с преданной любовью — у нас, в России, в Европе, США, Японии — заботливо и кропотливо восстанавливал и продолжает восстанавливать правду этой удивительной жизни, каждый день и час ее, проверяя каждый шаг и адрес, во множестве действуют разного рода и толка духовные

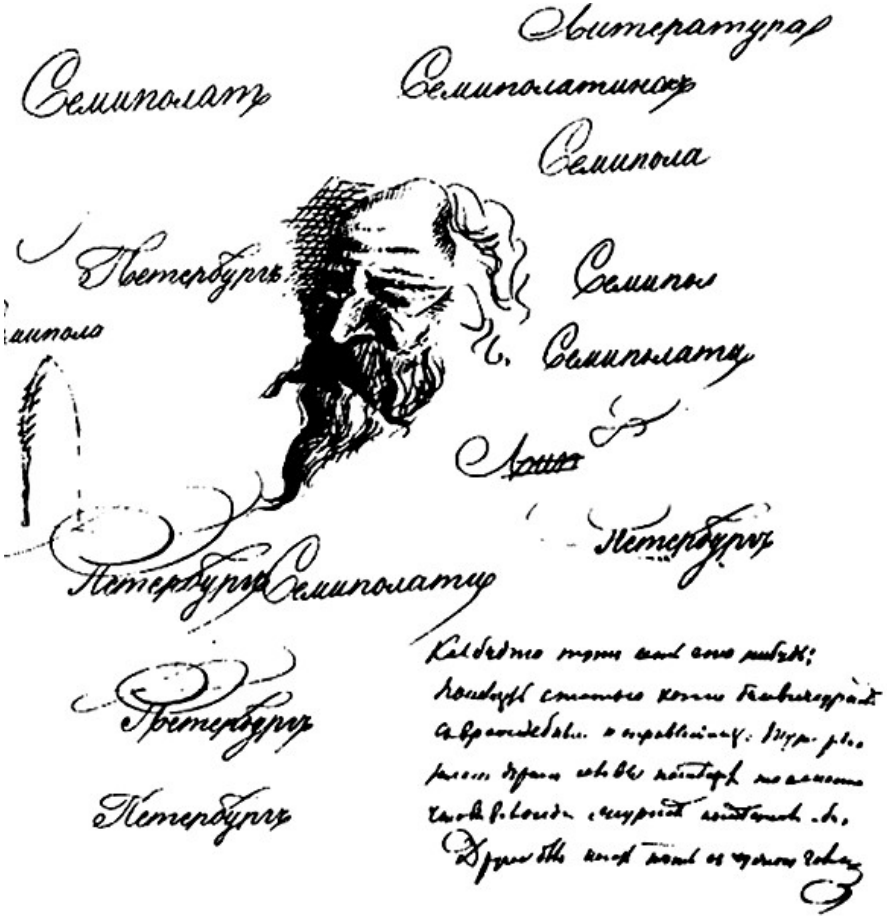
мародеры, для которых *чудо* есть вовсе не чудо, а лишь сюжет для скверного анекдота.

В 1988 году художник Игорь Каменев написал образ «святого великомученика» Достоевского, соединив на своем холсте интеллектуальную напряженность знаменитого портрета Василия Перова и каноническую прорись православной иконы. В руках у Достоевского, как у апостола Павла, Евангелие. Над головой — золотой нимб.

И сегодня Достоевский остается фигурой, в которой «Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречья вместе живут… Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Павел Фокин

Личность



Облик

Авдотья Яковлевна Панаева (Головачева; 1819–1893), *писательница, мемуаристка, гражданская жена Н. А. Некрасова:*

С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались.

Степан Дмитриевич Яновский (1815–1897), *врач, товарищ молодости Достоевского:*

Вот буквально верное описание наружности того Федора Михайловича, каким он был в 1846 году: роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и в груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. Одет он был чисто и, можно сказать, изящно; на нем был прекрасно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный казимировый жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр; если что и нарушало гармонию всего туалета, это не совсем красивая обувь и то, что он держал себя как-то мешковато, как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс семинаристы…

Череп же Федора Михайловича сформирован был действительно великолепно. Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины глазницы, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Федора Михайловича похожею на Сократову.

Николай Николаевич Страхов (1828–1896), *литературный критик, один из ведущих сотрудников журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха»:*

Наружность его я живо помню; он носил тогда (в конце 1859 г. — *Сост.)* одни усы и, несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть

простонародные черты лица.

Анна Григорьевна Достоевская (урожд. Сниткина; 1846–1918), *вторая жена Достоевского, автор «Воспоминаний»:*

С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти — семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были разные: один — карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно[1]. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах).

Анатолий Александрович Александров (1861–1930), *литератор, редактор газеты «Русское слово» и журнала «Русское обозрение»:*

Это был немолодой уже человек, но еще очень бодрый и живой, просто одетый, с небольшою проседью в бороде, с лицом чисто русского склада и типа, необыкновенно подвижным и одухотворенным, с очень большим и умным лбом, милым, задушевным голосом и удивительными глазами. Это были живые, в высшей степени внимательные глаза, казалось, смотревшие вам прямо в душу и видевшие ее всю насквозь, со всеми ее изгибами и тайниками. Но не строгое осуждение, не злая или холодная насмешка смотрела из них, а что-то ободряющее и ласковое, задушевное и милое, вызывающее на откровенность и доверие. То же самое звучало и в его голосе, необыкновенно искреннем и сердечном.

Анна Григорьевна Достоевская:

В эту же зиму (1871/72 г. — *Сост.)* П. М. Третьяков, владелец знаменитой Московской картинной галереи, просил у мужа дать возможность нарисовать для галереи его портрет. С этой целью приехал из Москвы знаменитый художник В. Г. Перов. Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели; заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое

Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете «минуту творчества Достоевского». Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы «в себя смотрит», и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила.

Евгений Николаевич Опочинин (1858–1928), *писатель, археограф:*

Наружность незначительная: немного сутуловат; волосы и борода рыжеваты, лицо худое, с выдавшимися скулами; на правой щеке бородавка. Глаза угрюмые, временами мелькает в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль.

Александра Николаевна Толиверова (урожд. Сусоколова; 1842–1918), *писательница, участница гарибальдийского движения:*

В лице Федора Михайловича всего более поражали его глаза. Они были темно-карие, глубокие, голова была покрыта темно-каштановыми, с небольшой проседью, мягкими волосами. Впечатление, произведенное его глазами, было так же сильно при последующих свиданиях, как при первом. Хотя иногда они лихорадочно блестели, иногда казались потухшими, но в том и другом случае производили равно сильное впечатление. Это происходило еще и потому, что Федор Михайлович, говоря, всегда смотрел пристально в упор.

Христина Даниловна Алчевская (урожд. Журавлева; 1841–1920), *деятельница народного образования, публицист, мемуаристка:*

Передо мною стоял человек небольшого роста, *худой,* небрежно одетый. Я не назвала бы его стариком: ни лысины, ни седины, обычных примет старости, не замечалось; трудно было бы даже определить, сколько именно ему лет; зато, глядя на это страдальческое лицо, на впалые, небольшие, потухшие глаза, на резкие, точно имеющие каждая свою биографию, морщины, с уверенностью можно было сказать, что этот человек много думал, много страдал, много перенес. Казалось даже, что жизнь почти потухла в этом слабом теле. Когда мы уселись близко, vis-a-vis, и он начал говорить своим тихим, слабым голосом, я не спускала с него глаз, точно он был не человек, а статуя, на которую принято смотреть вволю.

Михаил Александрович Александров, *наборщик и метранпаж ряда петербургских типографий, в которых в 1870-е гг. издавались произведения Достоевского:* С первого взгляда он мне показался суровым и совсем не интеллигентным человеком всем хорошо знакомого типа, а скорее человеком простым и грубоватым; но так как я знал, что вижу перед собой интеллигента, и притом интеллигента высокой степени, то меня прежде всего поразила чисто народная русская типичность его наружности, причем маленькие руки его, хотя, разумеется, и чистые и мягкие, но с уродливыми ногтями на некоторых пальцах, представлявшими собою следы грубого, тяжелого труда, еще более усиливали последнее впечатление, а голос и манера говорить довершали его… При всем этом, одетый в легкую выхухолевую шубку, худощавый, с впавшими глазами, с длинной и редкою русо-рыжеватою бородою и такими же волосами на голове — Федор Михайлович напоминал своею фигурою умного, деятельного промышленника-купца, но такого, однако ж, купца, который походил на думного боярина времен допетровской Руси, как их пишут наши художники на исторических картинах…

Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903), *романист, поэт, литературный критик, сын историка С. М. Соловьева, брат философа В. С. Соловьева:*

Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с негустой русой бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной, духовной жизни. Замечалось в нем и много болезненного — кожа была тонкая, бледная, будто восковая. Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах — это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты. Потом я скоро привык к его лицу и уже не замечал этого странного сходства и впечатления; но в тот первый вечер оно меня так поразило, что я не могу его не отметить…

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская; 1850–1931), *писательница, мемуаристка:*

«Двадцатого декабря (1872 года) я узнал, что уже все решено

и что я редактор «Гражданина»» — так начинает Федор Михайлович свое «Вступление» («Дневник писателя» 1873 г.).

И в тот же самый день, вечером, я увидала его впервые в типографии Траншеля, где я читала тогда корректуру этого журнала…

Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-го необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ — никаких движений, ни одного жеста, — только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. А общее впечатление с первого взгляда почему-то напомнило мне солдат — из «разжалованных», — каких мне не раз случалось видать в моем детстве, — вообще напомнило тюрьму и больницу и разные «ужасы» из времен «крепостного права»… И уже одно это напоминание до глубины взволновало мне душу…

Снова увидеть Федора Михайловича мне привелось уже после праздников.

Войдя утром в контору, я застала его сидящим в углу, подле дверей, у стола, за которым обыкновенно работал корректор типографии, и бывший тут же Траншель, как настоящий «cavalier galant» (он был полуфранцуз-полунемец, из обруселых), представил меня Федору Михайловичу:

— Позвольте вас познакомить: это ваш корректор, В. В. Тимофеева. Редактор «Гражданина» — Федор Михайлович Достоевский.

Федор Михайлович встал и, слегка поклонившись, молча подал мне руку. Рука у него была холодная, сухая и как бы безжизненная. Да и все в нем в тот день мне казалось безжизненным: вялые, точно через силу движения, беззвучный голос, потухшие глаза, устремленные на меня двумя неподвижными точками…

Как-то раз — в конце уже марта — мы работали поздно вдвоем с Федором Михайловичем. Он сидел, как всегда, в углу за столом, а я — рядом с ним, за бюро. Я сверяла его поправки и, прочитывая отдельные полосы, передавала ему на просмотр и на подпись. Его «Дневник» в этом нумере был отчасти философского содержания и особенно интересен был для меня потому, что в

нем говорилось о выставке картин новой русской школы, которую я только что перед тем ходила смотреть с знакомыми литераторами. Но Федор Михайлович, говоря о некоторых картинах, находил в них совсем не то, что находили эти знакомые мне литераторы…

Статья была написана страстно — он, впрочем, все писал страстно, — и эта горячая страстность невольно сообщалась и мне. Я впервые тогда почувствовала на себе неотразимое обаяние его личности. Голова моя кипела в огне его мыслей. И мысли эти казались мне так понятны, они так проникали меня насквозь, что казалось, они — мои собственные. Было в них что-то и еще мне особенно близкое: эти слова о Христе и Евангелии напомнили мне мою мать — женщину пламенной веры, когда-то страдавшую за мое «неверие»… и я точно возвращалась теперь из Петербурга *домой,* и этот *дом* мой были *христианские* мысли Ф. М. Достоевского.

И вдруг, сама не знаю почему, меня неудержимо потянуло на него оглянуться. Но, повернув слегка голову, я невольно смутилась. Федор Михайлович пристально, в упор смотрел на меня с таким выражением, как будто давно наблюдал за мною и ждал, чтобы я оглянулась…

И когда — далеко уже за полночь — я подошла к нему, чтобы проститься, он тоже встал и, крепко сжав мою руку, с минуту пытливо всматривался в меня, точно искал у меня на лице впечатлений моих от прочитанного, точно спрашивал меня: что же я думаю? поняла ли я что-нибудь?

Но я стояла перед ним как немая: так поразило меня в эти минуты его собственное лицо! Да, вот оно, это настоящее лицо Достоевского, каким я его представляла себе, читая его романы!

Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым очертанием тонких губ, — оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей власти… Это было не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время и привлекало к себе и отталкивало, запугивало и пленяло… И я бессознательно, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась «живая картина» с загадочным содержанием, когда жадно торопишься уловить ее смысл, зная, что еще один миг, и вся эта редкая красота исчезнет, как вспыхнувшая зарница. Такого лица я больше никогда не видала у Достоевского. Но в эти мгновения лицо его больше сказало мне о нем, чем все его статьи и романы. Это было лицо *великого человека,* историческое лицо.

Иван Иванович Попов (1862–1942), *революционер-народоволец, публицист:*

В 1879 году мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви, которую посещал Достоевский. Летом, в теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русской бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжелобольного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом.

Характер

Елена Андреевна Штакеншнейдер (1836–1897), *дочь известного архитектора А. И. Штакеншнейдера, участница женского движения:*

Удивительный то был человек. Утешающий одних и раздражающий других. Все алчущие и жаждущие правды стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили.

Говорили и продолжают говорить, что он слишком много о себе думал. А я имела смелость утверждать, что он думал о себе слишком мало, что он не вполне знал себе цену, ценил себя не довольно высоко. Иначе он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раздражался и капризничал и более бы нравился. Высокомерие внушительно.

Он не вполне сознавал свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть отражения ее на других, особливо в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным, и притом таким же больным, то был бы, вероятно, так же капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы.

Иногда он был даже более чем капризен, он был зол и умел оборвать и уязвить, но быть высокомерным и выказывать высокомерие не умел…

Меня всегда поражало в нем, что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы ее не мог. Дерзости, природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности, в нем тоже не было, а, как говорю, минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда. Эта борьба выражалась на его лице, — я хорошо изучила его физиономию, часто с ним видаясь. И, замечая особенную игру губ и какое-то виноватое выражение глаз, всегда знала не что именно, но что-то злое воспоследует. Иногда ему удавалось победить себя,

проглотить желчь, но тогда обыкновенно он делался сумрачным, умолкал, был не в духе.

И в сущности, все это было пустяками; и все выходки его, про которые кричали, были сущими невинными пустяками. Их считали нахальными, потому что смотрели на него с каким-то подобострастием, не как на равного, не как на обыкновенного человека, а как на высшего и необыкновенного.

Анна Григорьевна Достоевская:

Федор Михайлович умел быть обаятельным, и часто впоследствии приходилось мне наблюдать, как люди, даже предубежденные против него, подпадали под его очарование.

Александр Егорович Ризенкампф (1821–1895), *врач, ботаник, товарищ молодости Достоевского:*

[В молодости] он любил поэзию страстно, но писал только прозою, потому что на обработку рифмы не хватало у него терпения; хватаясь за какой-нибудь предмет, постепенно им одушевляясь, он, казалось, весь кипел; мысли в его голове родились подобно брызгам в водовороте; в это время он доходил до какого-то исступления, природная прекрасная его декламация выходила из границ артистического самообладания; сиплый от природы голос его делался крикливым, пена собиралась у рта, он жестикулировал, кричал, плевал около себя…

Софья Васильевна Ковалевская (урожд. Корвин-Круковская; 1850–1891), *выдающийся математик, писательница, публицист:*

Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами, и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие было выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала.

Николай Николаевич Фон-Фохт, *знакомый Достоевского:*

Достоевский говорил медленно и тихо, сосредоточенно, так и видно было, что в это время у него в голове происходит громадная мыслительная работа. Его проницательные небольшие серые глаза пронизывали слушателя. В этих глазах всегда отражалось добродушие, но иногда они начинали сверить каким-то затаенным, злобным светом, именно в те минуты, когда он касался вопросов, его глубоко волновавших. Но это проходило быстро, и опять эти глаза светились спокойно и добродушно. Но, что бы он ни говорил, всегда в его речи проглядывала какая-то

таинственность, он как будто и хотел что-нибудь сказать прямо, откровенно, но в то же мгновение затаивал мысль в глубине своей души. Иногда он нарочно рассказывал что-нибудь фантастическое, невероятное и тогда воспроизводил удивительные картины, с которыми потом слушатель долго носился в уме.

Александр Егорович Врангель, барон (1833 — после 1912), *юрист, путешественник, дипломат:*

Манера его речи была очень своеобразная. Вообще он говорил негромко, зачастую начинал чуть не шепотом, но чем больше он одушевлялся, тем голос его подымался звучнее и звучнее, а в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлебывался и приковывал внимание своего слушателя страстностью речи.

Софья Васильевна Ковалевская:

По своему обыкновению, когда волновался, весь он съеживался и словно стрелял словами.

Мария Александровна Иванова (1848–1929), *племянница Достоевского, дочь младшей сестры Веры:*

Как известно, Федор Михайлович говорил крайне завлекательно и с пленительным красноречием, но при этом у него была пагубная привычка, часто встречавшаяся в подобных случаях, придерживать своего собеседника за пуговицу или за полу. Какого ему пришлось говорить с государыней императрицей Марией Федоровной с глазу на глаз. Вопрос был животрепещущий, и Федор Михайлович увлекся. Велик был его ужас, когда, очнувшись, он заметил, что держит собеседницу за платье и находится с ней уже у самой стены покоя. Оказалось, что во время разговора государыня удивленно отступала да отступала оттеребившего кружево ее платья красноречивого собеседника, однако не желала прервать его, так как сама живо интересовалась его речью и была так ею растрогана, что на глазах у нее появились слезы. Федор Михайлович, разумеется, стал горячо извиняться, но государыня просила его не смущаться и продолжать свою речь.

Николай Николаевич Страхов:

Он часто говорил с своим собеседником вполголоса, почти шепотом, пока что-нибудь его особенно не возбуждало; тогда он воодушевлялся и круто возвышал голос.

Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие мне достались на долю в жизни. Он говорил тем

простым, живым, беспритязательным языком, который составляет прелесть русских разговоров. При этом он часто шутил, особенно в то время; но его остроумие мне не особенно нравилось — это было часто внешнее остроумие, на французский лад, больше игра слов и образов, чем мыслей. Читатели найдут образчики этого остроумия в критических и полемических статьях Федора Михайловича. Но самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость и гордость. Главным предметом их были, конечно, журнальные дела, но, кроме того, и всевозможные темы, очень часто самые отвлеченные вопросы. Федор Михайлович любил эти вопросы, о сущности вещей и о пределах знания, и помню, как его забавляло, когда я подводил его рассуждения под различные взгляды философов, известные нам из истории философии. Оказывалось, что новое придумать трудно, и он, шутя, утешался тем, что совпадает в своих мыслях с тем или другим великим мыслителем.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Он был самым искренним человеком, и потому в словах его, мнениях и суждениях часто встречались большие противоречия; но был ли он прав или неправ, о чем бы ни говорил, он всегда говорил с одинаковым жаром, с убеждением, потому что высказывал только то, о чем думал и во что верил в данную минуту.

Владимир Петрович Мещерский (1839–1914), *писатель, публицист, редактор-издатель еженедельника «Гражданин»:*

Не было человека добрее Достоевского… Он готов был все, и жизнь, и последний грош, отдать на помощь другому, но как часто я слышал, что никто так не казался злым человеком, как он… И действительно, бывало, на моих вечерах, пока все сидевшие с ним были близкие, Достоевский бывал очарователен и рассказами, и остроумием, и своею оригинальною по смелости логикою. Но едва только входил гость ему мало знакомый или вовсе незнакомый, сразу Достоевский входил, как улитка, в свою

раковину и превращался в молчаливого и злого на вид истукана, и продолжалось это до тех пор, пока этому незнакомцу не удастся произвести на Достоевского симпатичного впечатления… И беда была, если, не дождавшись этого впечатления, незнакомец решится заговорить с Достоевским: непременно приходилось ждать со стороны Достоевского злую физиономию и какую-нибудь грубую реплику.

Софья Васильевна Ковалевская:

Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость. Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь.

Михаил Александрович Александров:

Между прочим, под влиянием первых впечатлений, я находил, что Федор Михайлович был человек *мнительный*, недоверчивый. Так, например, я заметил, что он, говоря со мною, пытливо смотрел мне прямо в глаза или вообще в физиономию и, нисколько не стесняясь встречных взглядов, не спешил отрывать своего взгляда или переводить его на что-либо другое; становилось неловко под влиянием этого спокойно-пытливого взгляда. Впоследствии, когда Федор Михайлович узнал меня короче, он уже не употреблял этого приема в разговоре со мною, и хотя по-прежнему смотрел прямо в лицо, но это уже был взгляд просто спокойный, а отнюдь не испытующий…

Александра Николаевна Толиверова:

Несмотря на то, что он не всегда был ровен в обращении, хотя всегда искренен, быть с ним было как-то особенно хорошо.

Часто, выйдя из своего рабочего кабинета, он как будто не узнавал посетителя — еле кланялся, как-то метался, и, при первом слове, как-то нервно сжимал свои худые, бескровные руки. Но это было ненадолго — после этого он или уходил, ссылаясь на спешную работу, или, если уж оставался, то выслушивал разговор до конца с чувством полного, теплого участия. На вопросы он отвечал всегда прямо, искренно…

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская):

Смех у него всегда был отрывистый и короткий, но в высшей степени искренний, добродушный. И он очень редко смеялся.

Степан Дмитриевич Яновский:

Федор Михайлович никогда, даже в шутку, не позволял себе не только солгать, но обнаруживал чувство брезгливости ко лжи, нечаянно сказанной другим. Я помню, как-то раз весь кружок близких Федору Михайловичу людей собрался вечером у А. Н. Плещеева. Федор Михайлович, по обыкновению, был в хорошем расположении духа и много говорил. Но за ужином зашла речь о том, как бы достигнуть того, чтобы ни Греч, ни Булгарин и даже сам П. И. Чичиков (так прозван был нами один из издателей) никогда не лгали. Во время этого разговора кто-то в совершенно шуточном тоне, защищая последнего, сказал: «Ну, ему можно извинить, так как он хоть и прижимает нашего брата сотрудника, но все-таки платит и не обсчитывает, а что иногда солжет, то это не беда, так как и в Евангелии сказано, что иногда и ложь бывает во спасение». Услыхав эти слова, Федор Михайлович тотчас замолчал, сильно сосредоточился и во все остальное время только и повторял нам, близко к нему находившимся: «Вот оно что, даже и на Евангелие сослался; а ведь это неправда, в Евангелии-то этого не сказано! Когда слышишь, что человек лжет, то делается гадко, но когда он лжет и *клевещет на Христа, то это выходит и гадко и подло».*

Людмила Христофоровна Симонова-Хохрякова (урожд. Ребиндер; 1838–1906), *писательница, общественный деятель, педагог:*

Федор Михайлович был человек до чрезвычайности впечатлительный, нервный, крайне раздражительный, но добрый, чистосердечный и отзывчивый на каждое искреннее чувство. Быстрые переходы от чрезвычайной ласковости и дружелюбия к взрывам раздражения объясняются его болезненно-потрясенным организмом (вследствие каторги и припадков падучей болезни). Но если в минуты раздражения являлось лицо, искренно преданное ему, с словами чистой приязни и участия, то хотя бы лицо это предстало перед Достоевским в первый раз в жизни, все равно оно делалось тотчас же его другом, на него изливал он всю глубину своей любви к человеку, ему открывал всю горечь, накипевшую в душе. Тут, конечно, и речи не могло быть о церемонных поклонах и избитых речах первого визита. До такой степени он был доверчивым человеком, что к нему можно было прямо прийти и сказать: «Федор Михайлович, я вас ценю и уважаю потому-то и потому-то». Он непременно дружески протянет руку и ответит: «Спасибо! и я люблю вас, потому что уж если вы пришли и сказали мне это так просто и чистосердечно, то, стало быть, вы человек добрый и прямодушный».

Мария Александровна Иванова:

Достоевский легко увлекался людьми, был влюбчив.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

И бывал чрезвычайно ласков, а когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо. В таком настроении он часто повторял слово «голубчик».

Это действительно особенно ласковое слово любят очень многие русские люди, но я до сих пор не знал никого, в чьих устах оно выходило бы таким задушевным, таким милым…

Владимир Петрович Мещерский:

Радость Достоевского, когда он нападал на след или признаки таланта, была трогательна и характерна.

Анатолий Александрович Александров:

Поразила меня в нем еще одна замечательная и очень редкая особенность в таком крупном человеке и таком прекрасном рассказчике, как он: умение не только хорошо говорить, но и удивительно хорошо слушать. Он слушал своего собеседника с таким интересом и вниманием, с такой охотой и серьезной вдумчивостью, что тот начинал говорить все с большим одушевлением и откровенностью.

Христина Даниловна Алчевская:

Резче всего запечатлелась у меня в памяти следующая черта, выдающаяся в Достоевском, — это боязнь перестать понимать молодое поколение, разойтись с ним. Это просто, по-видимому, составляет его idee-fixe[2]. В этой idee-fixe вовсе нет боязни перестать быть любимым писателем или уменьшить число поклонников и читателей, нет, на расхождение с молодым поколением он, видимо, смотрит как на падение человека, как на нравственную смерть. Он смело и честно стоит за свои задушевные убеждения и вместе с тем как бы боится не выполнить возложенной на него миссии и незаметно для самого себя сбиться с пути. Все это выходит у него необыкновенно искренно, правдиво, честно и трогательно.

Николай Николаевич Страхов:

Федор Михайлович, несмотря на свой быстрый ум, несмотря на возвышенные цели, которых всегда держался в своей деятельности и в своем поведении, или, скорее — именно по причине этих возвышенных целей, — чрезвычайно страдал непрактичностию; когда он вел дело, он вел его очень хорошо; но

он делал это порывами, очень короткими, легко утешался и останавливался, и хаос возрастал вокруг него ежеминутно.

Из дневника Елены Андреевны Штакеншнейдер:

19 октября 1880. Мы… сидели с Анной Григорьевной. И отвела же она наконец свою душу. Сестры слушали ее в первый раз и то ахали с соболезнованием, то покатывались со смеха. Действительно, курьезный человек муж ее, судя по ее словам. Она ночи не спит, придумывая средства обеспечить детей, работает как каторжная, отказывает себе во всем, на извозчиках не ездит никогда, а он, не говоря уже о том, что содержит брата и пасынка, который не стоит того, чтобы его пускали к отчиму в дом, еще первому встречному сует, что тот у него ни попросит.

Придет с улицы молодой человек, назовется бедным студентом, — ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращен Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей, — двенадцать рублей даются. Нянька старая, помещенная в богадельню, значит, особенно не нуждающаяся, придет, а приходит она часто. «Ты, Анна Григорьевна, — говорит он, — дай ей три рубля, дети пусть дадут по два, а я дам пять». И это повторяется не один раз в год и не три раза, а гораздо, гораздо чаще. Товарищ нуждается или просто знакомый просит — отказа не бывает никому. Плещееву надавали рублей шестьсот; за Пуньковича поручались и даже за м-м Якоби. «А мне, — продолжала изливаться Анна Григорьевна, — когда начну протестовать и возмущаться, всегда один ответ: «Анна Григорьевна, не хлопочи! Анна Григорьевна, не беспокойся, не тревожь себя, деньги будут!»» «Будут, будут!» — повторяла бедная жена удивительного человека и искала в своей модной юбке кармана, чтоб вынуть платок и утереть выступившие слезы; а сестры меняли смех на ахи!

«Вот получим, — всхлипывая, говорила она, — от Каткова пять тысяч рублей, которые он нам еще должен за «Карамазовых», и куплю землю. Пусть ломает ее по кускам и раздает! Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия все держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и все смотрит, кому бы из него дать что-нибудь. Гулять ему велели теперь, но он ведь и гулять не пойдет, если нет у него в кармане десяти рублей. Вот так мы и живем. А случись что-нибудь, куда денемся? Чем мы будем жить? Ведь мы нищие! Ведь пенсии нам не дадут!»

И в самом деле ее жаль, трудно ей в самом деле. Но как не удивляться ему и не любить его? А еще говорят, что он злой, жестокий. Никто ведь не знает его милосердия, и не пожалуйся

Анна Григорьевна, и мы бы не знали.

Александр Егорович Ризенкампф:

Федор Михайлович принадлежал к тем личностям, около которых живется всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью.

Александр Егорович Врангель:

Снисходительность Федора Михайловича к людям была как бы не от мира сего. Он находил извинение самым худым сторонам человека, — все объяснял недостатком воспитания человека, влиянием среды, в которой росли и живут, а часто даже их натурою и темпераментом.

«Ах, милый друг, Александр Егорович, да такими ведь их Бог создал», — говаривал он. Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его. Кто не помнит его заботливости о семье его брата Михаила Михайловича, его попечения о маленьком Паше Исаеве и о многих других.

Николай Николаевич Страхов:

Никогда не было заметно в нем никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. Он был безусловно чист от всякого дурного чувства по отношению к власти; авторитет, который он старался поддержать и увеличить, был только литературный; авторитет же пострадавшего человека никогда не выступал, кроме тех случаев, когда во имя его нужно было требовать свободы мысли и слова, доказывать, что его мысли о правительстве никто не имеет права считать потворством или угодливостью. Федор Михайлович вел себя так, как будто в прошлом у него ничего особенного не было, не выставлял себя ни разочарованным, ни сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, как одна дама, в первый раз попавшая на редакционные вечера Михаила Михайловича (кажется, они были по воскресеньям), с большим вниманием вглядывалась в Федора Михайловича и наконец сказала: «Смотрю на вас и, кажется, вижу на вашем лице те страдания, какие вы перенесли…» Ему были видимо досадны эти слова. «Какие страдания!..» — воскликнул он и принялся шутить о совершенно посторонних предметах. Помню также, как,

готовясь к одному из литературных чтений, бывших тогда в большой моде, он затруднялся, что ему выбрать. «Нужно что-нибудь новенькое, интересное», — говорил он мне. «Из «Мертвого дома»?» — предложил я. «Я уж часто читал, да и не хотелось бы мне. Мне все тогда кажется, как будто я жалуюсь перед публикою, все жалуюсь… Это нехорошо».

Вообще он не любил обращаться к прошлому, как будто желая вовсе его откинуть, и если пускался вспоминать, то останавливался на чем-нибудь радостном, как будто хвалился им. Вот почему из его разговоров трудно было составить понятие о случаях его прежней жизни.

Мария Николаевна Стоюнина (1846–1940), *общественная деятельница, педагог, гимназическая подруга А. Г. Достоевской:*

Достоевский сам всегда и везде страдал душевно за всех мучимых, за всех людей, но особенно его терзали страдания детей. Раз он, помню, прочел в газете, как женщина своего ребенка утопила нарочно в помойке. Так Достоевский после ночь или две не спал и все терзался, думая о ребенке и о ней. Он никак не мог выносить страданий детей. И как человек-то оттого он и производил, может быть, сильное впечатление, что был он человек любящий и страдающий, умеющий страдать…

Анна Григорьевна Достоевская:

Из совместной четырнадцатилетней жизни с Федором Михайловичем я вынесла глубокое убеждение, что он был один из целомудреннейших людей. И как мне горько было прочесть, что столь любимый мною писатель И. С. Тургенев считал Федора Михайловича циником и позволил себе назвать его «русским маркизом де Сад».

Александр Егорович Врангель:

Что меня всегда поражало в Достоевском, — это его полнейшее в то время (в 1850-е гг. — *Сост.)* безразличие к картинам природы — они не трогали, не волновали его. Он весь был поглощен изучением человека, со всеми его достоинствами, слабостями и страстями. Все остальное было для него второстепенным.

Анна Григорьевна Достоевская:

Любил лес, пусть все продают, а я не продам, из принципа не продам, чтоб не безлесить Россию. Пусть мне выделят лесом, и я его стану растить и к совершеннолетию детей он будет большим… Всегда мечтал об имении, но непременно спрашивал:

есть ли лес? На пахоту и луга не обращал внимания, а лес, хотя бы небольшой, в его глазах составлял главное богатство имения.

Варвара Андреевна Савостьянова (урожд. Достоевская; 1858–1935), *племянница Достоевского, дочь младшего брата Андрея:*

Зашел разговор о покупке имения. Они хотели где-нибудь купить имение и, зная, что мой муж из Тамбовской губернии, спрашивали его про цену и про возможность купить там имение. «Нам предлагал ее брат, — сказал Федор Михайлович, указывая на свою жену, — имение в Курской губ. Но какая же это Россия? Я хочу в самом центре России, чтобы были березы, а там растет дуб. А я люблю березу и чернолесье. Что может быть лучше первых клейких березовых листочков!»

Мария Николаевна Стоюнина:

Все Достоевский трагически переживал и воспринимал драматически — и серьезное и пустяковое. Была я как-то у них в гостиной. Анна Григорьевна на кухню пошла, а я говорила, о чем-то и заспорила с Федором Михайловичем. Стали мы спорить, и он тут такой крик поднял, что Анна Григорьевна прибежала в испуге: «Господи, — говорит, — я думала, что, право, он тебя побьет!» Тоже пришла я раз к Достоевским, встречает меня Федор Михайлович и говорит: «Ах, если бы вы знали, если бы вы знали, какая у нас трагедия была! Любочка зашибла руку, сломала, ужас!» Ну, я говорю, а теперь как она? «Ну, теперь все прошло, вылечили. А мы было думали…» Так у вас, значит, теперь, говорю, из трагедии комедия стала. Только я это сказала, а он и обиделся. — «Нет!» — говорит, и замолчал.

Вообще, у него все почти всегда драмой или трагедией становилось. Бывало, соберет его, перед уходом куда, Анна Григорьевна, хлопочет это возле него, все ему подаст, наконец он уйдет. Вдруг сильный звонок (драматический). Открываем: «Анна Григорьевна! Платок, носовой платок забыла дать!» Все трагедия, все трагедия из всего у них.

Творчество

Анна Григорьевна Достоевская:

Ничего не было труднее для него, как садиться писать, раскачиваться.

Писал чрезвычайно скоро.

Николай Николаевич Страхов:

Федор Михайлович всегда откладывал свой труд до крайнего срока, до последней возможности; он принимался за работу только тогда, когда оставалось уже в обрез столько времени, сколько нужно, чтобы ее сделать, делая усердно. Это была леность, доходившая иногда до крайней степени, но не простая, а особенная, писательская леность, которую с большою отчетливостию пришлось мне наблюдать на Федоре Михайловиче. Дело в том, что в нем постоянно совершался внутренний труд, происходило нарастание и движение мыслей, и ему всегда трудно было оторваться от этого труда для писания. Оставаясь, по-видимому, праздным, он, в сущности, работал неутомимо. Люди, у которых эта внутренняя работа не происходит или очень слаба, обыкновенно скучают без внешней работы и со сластью в нее втягиваются. Федор Михайлович с тем обилием мыслей и чувств, которое он носил в голове, никогда не скучал праздностию и дорожил ею чрезвычайно. Мысли его кипели; беспрестанно создавались новые образы, планы новых произведений, а старые планы росли и развивались. «Кстати, — говорит он сам на первой странице «Униженных и оскорбленных», где вывел на сцену самого себя, — мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?»

Попробуем отвечать за него. Писание было у него почти всегда перерывом внутренней работы, изложением того, что могло бы еще долго развиваться до полной законченности образов. Есть писатели, у которых расстояние между замыслом и выполнением чрезвычайно мало; мысль у них является почти одновременно с образом и словом; они могут дать выражение только вполне сложившимся мыслям, и, раз сказавши что-нибудь, они сказать лучше не могут. Но большинство писателей, особенно при произведениях крупного объема, совершают долгую и трудную работу; нет конца поправкам и переделкам, которые все яснее и чище открывают возникший в тумане образ. Федор Михайлович часто мечтал о том, какие бы прекрасные вещи он

мог выработать, если бы имел досуг; впрочем, как он сам рассказывал, лучшие страницы его сочинений создались сразу, без переделок, — разумеется, вследствие уже выношенной мысли.

Писал он почти без исключения ночью. Часу в двенадцатом, когда весь дом укладывался спать, он оставался один с самоваром и, попивая не очень крепкий и почти холодный чай, писал до пяти и шести часов утра. Вставать приходилось в два, даже в три часа пополудни, и день проходил в приеме гостей, в прогулке и посещениях знакомых.

Любовь Федоровна Достоевская (1869–1926), *дочь писателя, писательница, мемуаристка:* Окончив завтрак, отец возвращался в свою комнату и сразу же начинал диктовать главу, сочиненную им ночью. Мать стенографировала ее и потом переписывала. Достоевский исправлял написанное, часто добавляя некоторые детали. Мать переписывала еще раз и отсылала рукопись в типографию… Почерк у моей матери был очень красивым; а у отца он был менее правильным, но более изящным. Я называла его «готическим шрифтом», может быть, потому, что все рукописи были испещрены готическими окнами, очень тонко нарисованными пером. (В Инженерном замке большое значение придавали рисованию.) Достоевский рисовал их совершенно механически, обдумывая то, над чем работал; можно было бы подумать, что душа его жаждала готических линий, которыми его так восхитили Миланский и Кельнский соборы. Иногда он рисовал на рукописи головы и профили, всегда очень интересные и характерные.

Анна Григорьевна Достоевская:

Обычно Федор Михайлович прямо диктовал роман по рукописи. Но если он был недоволен своею работою или сомневался в ней, то он прежде диктовки прочитывал мне всю главу зараз. Получалось более сильное впечатление, чем при обыкновенной диктовке.

Любовь Федоровна Достоевская:

Диктуя матери свои произведения, Достоевский иногда останавливался и спрашивал ее мнение. Мать Издерживалась от критики. Злобные газетные критики доставляли ее мужу достаточно огорчений, она не хотела добавлять их. Но, опасаясь, чтобы ее согласие не было слишком однообразным, мать иногда осмеливалась возражать ему по несущественным вопросам. Если героиня романа была одета в голубое, она переодевала ее в розовое; если шкаф стоял слева, она переставляла его направо;

она изменяла форму шляпы героя и обрезала иногда ему бороду. Достоевский охотно принимал желаемые изменения и наивно полагал, что этим доставил своей жене большое удовольствие.

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская):

Когда он писал разговоры, он всегда, прежде чем написать, несколько раз повторял их шепотом или вслух, делая при этом соответствующие жесты, как будто видел перед собой изображаемое лицо.

Николай Николаевич Страхов:

На Федоре Михайловиче можно было ясно наблюдать, какой великий труд составляет писание для таких содержательных писателей, как он. В свои произведения он вкладывал только часть той непрерывной работы, которая совершалась в его голове. Читатели, как известно, иногда питают легкомысленное мнение, что писание ничего не стоит даровитым людям, и обманываются в этом случае тою легкостию, с которою течет стих или проза готового произведения. Но, в сущности, читатели редко ошибаются в оценке авторского труда, потому что обыкновенно их занимает или трогает только то, что занимало или трогало самого автора, и насколько души и труда он вложил в свое произведение, настолько оно и действует на читателей.

Что касается до поспешности и недоделанности своих произведений, то Федор Михайлович… очень ясно видел эти недостатки и без всяких околичностей сознавался в них. Мало того; хоть ему и жаль было этих «недовершенных созданий», но он не только не каялся в своей поспешности, а считал ее делом необходимым и полезным. Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не самое произведение, а минута и впечатление, хотя бы и неполное. В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства. Так как планам и замыслам у него не было конца, то он всегда носился с несколькими темами, которые мечтал обработать до полной отделки, но когда-нибудь после, когда будет иметь больше досуга, когда времена будут спокойнее. А пока он писал и писал полуобработанные вещи, — с одной стороны, чтобы добывать средства для жизни, с другой стороны, чтобы постоянно подавать голос и не давать публике покоя своими мыслями.

Анна Григорьевна Достоевская:

Всегда был чрезмерно строг к самому себе, и редко что из его произведений находило у него похвалу. Идеями своих романов

Федор Михайлович иногда восторгался, любил и долго их вынашивал в своем уме, но воплощением их в своих произведениях почти всегда, за очень редкими исключениями, был недоволен.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Я знаю, в какую тоску, в какое почти отчаяние приводили его иногда отсутствие денежных средств, забота о завтрашнем дне, о нуждах семьи. Он почти всю жизнь не выходил из денежных затруднений, никогда не мог отдохнуть, успокоиться.

Все это тяжело отзывалось на его произведениях, и почти ни одним из них он не был доволен. Он работал всегда торопясь, часто не успевая даже прочитать им написанного. А между тем ведь он писал не легкие рассказы. У него иногда, в горячие, вдохновенные минуты выливались глубоко поэтические сцены, страницы красоты необыкновенной, которых очень много в каждом его романе. Но этого было мало: у него бывали глубокие психологические задачи, в его голове мелькали оригинальные и замечательные решения серьезных нравственных вопросов. Тут минут горячего вдохновения оказывалось недостаточно, требовалась спокойная работа мысли, а обстоятельства не давали его мысли спокойно работать…

Больной, измученный, он уставал больше и больше; но уставал не мыслью, не чувством, а просто уставал физически. Ему трудно становилось работать, и он работал медленно. Он заранее продавал свой роман, который ожидали с нетерпением. Редакция то и дело понуждала его высылать скорее рукопись. Эти понуждения раздражали, он волновался, спешил, посылал начало и потом, торопясь продолжением, почти забывал это начало. По мере развития романа являлась необходимость изменять то то, то другое, но исполнить этого уже не было возможности — то, что нужно было изменить и переработать, оказывалось уже напечатанным. Таким образом, являлись великолепные эпизоды, но в общем роман представлял довольно бесформенное и, во всяком случае, невыдержанное произведение.

Он сам отлично сознавал это, и подобное сознание для художника являлось горьким мучением. Он сознавал, и в то же время ему болезненно хотелось, чтобы другие не замечали того, что он сам видит. Поэтому всякая похвала доставляла ему большую усладу: она его обманывала. Поэтому замечаемое им в ком-либо понимание его промахов раздражало его, оскорбляло, мучило…

Но я свидетельствую, что сам он, в иные откровенные, теплые минуты, признавался в своих промахах и скорбел, что судьба

ставила его в невозможность вовремя исправлять их. Это было горе, горше которого не может и быть для творца-художника! И передо мною так и стоит бледное, изнеможенное лицо его в минуты этих мучительных признаний.

Михаил Александрович Александров:

Я не знаю, легко ли писал Федор Михайлович свои романы и большие повести, но знаю, что статьи для «Дневника писателя» писались им с большою натугою и вообще стоили Федору Михайловичу больших трудов. Первою и самою главною причиною трудности писания для Федора Михайловича было его неизменное правило: обрабатывать свои произведения добросовестно и самым тщательным образом; второю причиною было требование сжатости изложения, а иногда даже прямо определенные рамки объема журнальных статей; наконец, третьею причиною была срочность писания подобных статей… Следствием всего этого было то, что, несмотря на огромную опытность Федора Михайловича в литературной технике, редкие из его манускриптов обходились без одного или даже двух черняков, которые потом, для сдачи в типографию, непременно переписывались или самим Федором Михайловичем, или Анною Григорьевною, писавшею под его диктовку с черняков.

Николай Николаевич Страхов:

Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей, разумеется ясно сознавая, что он делает и в чем отступает от строгой формы мысли и искусства. Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг него, не становился никогда в стороне от нее. Обыкновенное его чтение были русские журналы и газеты. Его внимание было постоянно устремлено на его собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом и об других. Он очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою и очень огорчался нападками и бранью. Тут были его главные умственные интересы, да тут же были и его вещественные интересы. Он жил исключительно литературным трудом, никогда и не предполагая для себя какого-нибудь другого занятия, не задаваясь и мыслью о каком-нибудь месте, казенном или частном…

Литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; он избрал ее своею профессиею и иногда даже высказывал гордость этим своим положением. Он усердно трудился и работал и достиг своего: он сделал одну из

блистательных литературных карьер, достиг громкой известности, распространения своих идей, а под конец жизни и материального достатка.

На эстраде

Из дневника Елены Андреевны Штакеншнейдер,

1880: Сегодня, 19 октября, лицейский день. Литературный фонд давал сегодня литературное утро в такой зале, где трудно читать и где чтецов не во всех концах слышно, а Достоевский, больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шепотным голосом, он, едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведет когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу. Господи упаси!

Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет.

Михаил Александрович Александров:

Чтение его было, по обыкновению, мастерское, отчетливое и настолько громкое или, вернее, внятное, что сидевшие в самом отдаленном конце довольно большой залы Благородного собрания, вмещающей в себе более тысячи сидящих человек, слышали его превосходно.

И. Щеглов (Иван Леонтьевич Леонтьев; 1855–1911), *писатель:*

Сейчас мерещится, как в тумане, огромный зал Благородного собрания, переполненный избранной публикой. Несмотря на то, что зал набит битком, в зале тихо-тихо, слышно, как муха пролетит; вся публика, как один человек, затаила дыхание, чтобы не проронить ни одного звука.

На эстраде — Федор Михайлович.

Он читал главу из «Братьев Карамазовых»: *Исповедь горячего сердца*.

Впрочем, сказать про Достоевского: «он читал» — все равно что ничего не сказать. Понятие о чтении в обычном смысле неприменимо, когда дело идет о Достоевском. Так, как читал Федор Михайлович, когда он был в ударе (а в этот раз он был в особенном ударе), кажется, никто из русских литераторов не читал! Это было прямо что-то сверхчеловеческое, так сказать, новое творчество во время самого процесса чтения, сопровождаемое таким огромным нервным подъемом, который слушателя зараз заражал и ошеломлял и как бы насыщал атмосферу вокруг электричеством…

Достаточно было на минуту полузакрыть глаза — и чтец, и автор вдруг исчезали — и только слышалось в затаенной тишине, как лилась и переливалась пламенная покаянная речь Мити Карамазова — «воистину исповедь горячего сердца».

В моих ушах до сих пор звучит стих, цитируемый Митей Карамазовым:

Нам друзей дала в несчастьи,
Гроздкий сок, венки Харит,
Насекомым — сладострастие…

Это — «насекомым — сладострастие» было произнесено каким-то сдавленно-страстным, нервно трепетным шепотком, от которого дрожь пробегала по телу.

И далее:

— Я, брат, это самое насекомое и есть, это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие, и в тебе, ангеле, это насекомое живет, и в крови твоей бури родит. Это — бури, потому что сладострастие — буря, больше бури! Красота, это — страшная и ужасная вещь!!

Буквально волосы шевелились на голове от этого огненного проникновенного чтения — впечатление было близкое к тому, что дает «Патетическая симфония» Чайковского. Что в том, что Достоевский дерзнул взять для публичного чтения самую дерзновенную главу «О Мадонне и грехе Содомском», но в его передаче каждое слово жгло и хватало за сердце, унося куда-то в неведомые и недосягаемые дали… Гипноз окончился только тогда, когда он захлопнул книгу. И тогда началось настоящее столпотворение: хлопали, стонали, махали платками, какая-то барышня поднесла пышный букет, кому-то сделалось дурно…

Несмотря на настойчивые вызовы, Достоевский почему-то долго не показывался перед публикой. Но когда он, наконец, вышел, на лице его было выражение значительное и торжественное — и на эстраду он на этот раз не взошел, а остановился возле эстрады, прямо перед первыми рядами кресел, и начал взволнованным голосом:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился…

Это был «Пророк» Пушкина — любимое стихотворение Федора Михайловича.

Публика замерла, захваченная волнением чтеца. А чтец с

каждым стихом пламенел все более и более и последний стих:

Глаголом жги сердца людей! —

подчеркнул с таким увлечением, что буквально весь зал дрогнул.

Это «жги» он как-то исступленно выкрикнул с сверкающим взором, с резким повелительным жестом правой руки.

Впечатление получилось ошеломляющее.

Стих Пушкина сам по себе необыкновенный и вдохновенный — и тут же вдруг чтец — такой же необыкновенный и вдохновенный. Поднялась целая буря рукоплесканий, заставившая Федора Михайловича после многих поклонов прочесть «Пророка» вторично.

И вот он снова около эстрады, весь бледный от волнения, и с тем же пафосом льются из его уст огненные строки.

Так он и запечатлелся навсегда в моей памяти, великий писатель, как я его видел в последний раз: с горящим взглядом, с протянутой повелительно рукой, с вещим словом в устах: «Глаголом жги сердца людей!»

И он ли, спрашивается, не «жег» эти сердца и не был воплощением на земле этого самого библейского пушкинского пророка — кому Сам Господь на место сердца:

Угль, пылающий огнем.
Во грудь отверстую водвинул!

Михаил Александрович Александров:

Он прочел маленькую поэму графа А. К. Толстого «Илья Муромец» и при этом очаровал своих слушателей художественною передачею полной эпической простоты воркотни старого, заслуженного киевского богатыря-вельможи, обидевшегося на князя Владимира Красное Солнышко за то, что тот как-то обнес его чарою вина на пиру, покинувшего чрез это его блестящий двор и уезжавшего теперь верхом на своем «чубаром» в свое родное захолустье, чрез дремучий лес. Когда Федор Михайлович читал финальные стихи поэмы:

И старик лицом суровым
Просветлел опять.
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;

Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор… —

одушевление его, казалось, достигло высшей степени, потому что заключительные слова «и смолой и земляникой пахнет темный бор…» были произнесены им с такою удивительною силою выражения в голосе, что иллюзия от истинно художественного чтения произошла полная: всем показалось, что в зале «Благородки» действительно запахло смолою и земляникою… Публика остолбенела, и, благодаря этому обстоятельству, оглушительный гром рукоплесканий раздался лишь тогда, когда Федор Михайлович сложил книгу и встал со стула.

Отец и муж

Любовь Федоровна Достоевская:

На протяжении всей своей жизни Достоевский был очень гостеприимным и любил в дни семейных праздников объединять за столом своих родных и родню жены. Он был тогда очень любезен, выбирал темы для разговора, которые могли бы их интересовать, смеялся, шутил и соглашался даже иногда поиграть в карты, хотя и не любил эту игру.

Анна Григорьевна Достоевская:

Когда дети ложились спать, то кто-нибудь из них кричал: папа, Богородицу читать! Он приходил и читал над ребенк<ом> Б<огородицу> и затем говорил несколько ласковых слов, целовал в лоб или в губы и уходил, говоря: ну, спите, спите…

Если кто заболевал хоть немного, он говорил: доктора, доктора.

Любовь Федоровна Достоевская:

Чем старше мы становились, тем строже был он по отношению к нам, но всегда оставался очень нежным, пока мы были маленькими. В детстве я была очень нервной и часто плакала. Чтобы развлечь меня, отец предлагал потанцевать с ним. Мебель в зале отодвигалась в сторону, мать брала в кавалеры сына, и мы танцевали кадриль. Так как некому было играть на рояле, мы все четверо напевали какой-нибудь ритурнель. Мать хвалила своего мужа за ту точность, с которой он выполнял трудные па кадрили. «О! — отвечал он, кашляя и вытирая пот со лба. — Если бы ты могла видеть, как хорошо я танцевал в молодости мазурку!»

Анна Григорьевна Достоевская:

На Рождестве 1872 года в семье нашей произошел следующий курьезный случай.

Федор Михайлович, чрезвычайно нежный отец, постоянно думал, чем бы потешить своих деток. Особенно он заботился об устройстве елки: непременно требовал, чтобы я покупала большую и ветвистую, сам украшал ее (украшения переходили из года в год), влезал на табуреты, вставляя верхние свечки и утверждая «звезду».

Елка 1872 года была особенная: на ней наш старший сын, Федя, в первый раз присутствовал «сознательно». Елку зажгли пораньше, и Федор Михайлович торжественно ввел в гостиную

своих двух птенцов. Дети, конечно, были поражены сияющими огнями, украшениями и игрушками, окружавшими елку. Им были розданы папою подарки: дочери — прелестная кукла и чайная кукольная посуда, сыну — большая труба, в которую он тотчас же и затрубил, и барабан. Но самый большой эффект на обоих детей произвели две гнедые из папки лошади, с великолепными гривами и хвостами. В них были впряжены лубочные санки, широкие, для двоих. Дети бросили игрушки и уселись в санки, а Федя, захватив вожжи, стал ими помахивать и погонять лошадей. Девочке, впрочем, санки скоро наскучили, и она занялась другими игрушками. Не то было с мальчиком: он выходил из себя от восторга, покрикивал на лошадей, ударял вожжами, вероятно, припомнив, как делали это проезжавшие мимо нашей дачи в Старой Руссе мужики. Только каким-то обманом удалось нам унести мальчика из гостиной и уложить спать.

Мы с Федором Михайловичем долго сидели и вспоминали подробности нашего маленького праздника, и Федор Михайлович был им доволен, пожалуй, больше своих детей. Я легла спать в двенадцать, а муж похвалился мне новой, сегодня купленной у Вольфа книгой, очень для него интересной, которую собирался ночью читать. Но не тут-то было. Около часу он услышал неистовый плач в детской, тотчас туда поспешил и застал нашего мальчика, раскрасневшегося от крика, вырывавшегося из рук старухи Прохоровны и бормочущего какие-то непонятные слова. (Ему было менее полутора лет, и он неясно еще говорил.) На крик ребенка проснулась и я и прибежала в детскую. Так как громкий крик Феди мог разбудить спавшую в той же комнате его сестру, то Федор Михайлович решил унести его к себе в кабинет. Когда мы проходили чрез гостиную и Федя при свете свечи увидал санки, то мигом замолк и с такою силою потянулся всем своим мощным тельцем вниз к санкам, что Федор Михайлович не мог его сдержать и нашел нужным его туда посадить. Хоть слезы и продолжали катиться по щекам ребенка, но он уже смеялся, схватил вожжи и стал опять ими махать и причмокивать, как бы погоняя лошадей. Когда ребенок, по-видимому, вполне успокоился, Федор Михайлович хотел отнести его в детскую, но Федя залился горьким плачем и до тех пор плакал, пока его опять не посадили в саночки. Тут мы с Федором Михайловичем, сначала испуганные загадочною для нас болезнию, приключившеюся с ребенком, и уже решившие, несмотря на ночь, пригласить доктора, поняли, в чем дело: очевидно, воображение мальчика было поражено елкою, игрушками и тем удовольствием, которое он испытал, сидя в саночках, и вот, проснувшись ночью, он вспомнил о лошадках и потребовал свою новую игрушку. А так

как его требование не удовлетворили, то и поднял крик, чем и достиг своей цели. Что было делать: мальчик окончательно, что называется, «разгулялся» и не хотел идти спать. Чтоб не бодрствовать всем троим, решили, что я и нянька пойдем спать, а Федор Михайлович посидит с мальчуганом и, когда тот устанет, отнесет его в постельку. Так и случилось. Назавтра муж весело жаловался мне.

— Ну, и замучил меня ночью Федя! Я часа два-три не спускал с него глаз, все боялся, как бы он не вывернулся из саней и не расшибся. Уж няня два раза приходила звать его «баиньки», а он ручками машет и собирается опять заплакать. Так и просидели вместе часов до пяти. Тут он, видимо, устал и стал приваливаться к сторонке. Я его поддержал, и, вижу, крепко заснул, я и перенес его в детскую. Так мне и не пришлось начать купленную книгу, — смеялся Федор Михайлович, видимо чрезвычайно довольный, что происшествие, сначала нас испугавшее, кончилось так благополучно.

Любовь Федоровна Достоевская:

Достоевский всегда привозил нам из-за границы чудесные подарки. Обычно это были полезные и дорогие вещи, выбранные с большим вкусом. Матери он привез элегантный бинокль из расписного фарфора, резной тонкой работы веер из слоновой кости, красивые кружева Шантильи, черное шелковое платье и белье с изящной вышивкой. Мне он привозил белую пикейную одежду для лета, украшенные вышивкой шелковые платьица для зимы. В противоположность родителям, одевающим своих дочерей всегда в голубое или розовое, он выбирал платья цвета морской волны. Цвет морской волны был его любимым цветом, и он часто одевал героинь своих романов в одежду этого цвета.

Анна Григорьевна Достоевская:

Скажу, кстати, что муж всегда был чрезвычайно доволен, когда видел меня в красивом платье или в красивой шляпе. Его мечта была видеть меня нарядной, и это его радовало гораздо более, чем меня. Наши денежные дела были всегда неважны, и нельзя было думать о нарядах. Но зато как бывал доволен и счастлив мой дорогой муж, когда ему случалось, и даже иногда против моего желания, купить или привезти мне из-за границы какую-нибудь красивую вещь. При каждой своей поездке в Эмс Федор Михайлович старался экономить, чтобы привезти мне подарок: то привез роскошный (резной) веер слоновой кости, художественной работы; в другой раз — великолепный бинокль голубой эмали, в третий — янтарную парюру (брошь, серьги и

браслет). Эти вещи он долго выбирал, присматривался и приценивался к ним и был чрезвычайно доволен, если подарки мне нравились. Зная, как мужу было приятно дарить мне, я всегда, получая подарки, выказывала большую радость, хотя иногда в душе была огорчена тем, что покупал он не столько полезные, сколько изящные вещи. Помню, например, как мне было жаль, когда Федор Михайлович однажды, получив от Каткова деньги, купил в лучшем московском магазине дюжину сорочек, по двенадцати рублей штука. Конечно, я приняла подарок в видимом восхищении, но в душе пожалела денег, так как белья у меня было достаточно, а на затраченную сумму можно было бы купить многое мне необходимое.

Покупке роскошных сорочек предшествовал комический анекдот, очень меня потешивший. Как-то раз, часу во втором ночи, муж вошел в мою комнату и разбудил громким вопросом: «Аня, это твои сорочки?» — «Какие сорочки, вероятно, мои», — не понимала я спросонья. «Но разве можно носить такое грубое белье?» — говорил муж в негодовании. «Конечно, можно, не понимаю, про что ты говоришь, голубчик, дай мне спать!» Утром последовала разгадка прихода мужа и его возмущения. Горничная рассказала, как ее и кухарку сначала испугал, а затем удивил «барин». Вечером она выстирала свои две сорочки и вывесила их сушить на веревочку за окно. Ночью поднялся ветер, и замерзшие сорочки стали колотиться о стекло. Федор Михайлович, работавший у себя в кабинете, услышав стук и боясь, что шум разбудит детей, пошел в кухню, встал на табурет, отворил форточку и потихоньку вытянул вещи одну за одной. Затем тщательно развесил обе на веревке над плитой. Вот тут-то Федор Михайлович и рассмотрел белье (оно было, конечно, из грубого серого холста), ужаснулся и пришел меня разбудить. Утром я рассказала мужу, в чем дело, и он так смеялся своей ошибке. Когда я спросила, зачем он не разбудил горничную, муж ответил: «Да жалко было будить, ведь наработались в целый-то день, пусть отдохнут». Таково было всегдашнее отношение мужа к прислуге, от которой он лишних услуг для себя никогда не требовал.

Но особенно Федор Михайлович был доволен, когда, за два года до кончины, ему удалось подарить мне серьги с бриллиантами, по одному камню в каждой. Стоили они около двухсот рублей, и по поводу покупки их муж советовался с знатоком драгоценных вещей П. Ф. Пантелеевым. Помню, я одела в первый раз подарок на литературный вечер, на котором читал муж. В то время, когда читали другие литераторы, мы с мужем сидели рядом вдоль стены, украшенной зеркалами. Вдруг я заметила, что муж смотрит в сторону и кому-то улыбается: затем

обратился ко мне и с восторгом прошептал: «Блестят, великолепно блестят!» Выяснилось, что при множестве огней игра моих камней оказалась хорошею, и муж был этим доволен как дитя…

Зная мою всегдашнюю скупость на мои наряды, он решился заняться этим делом сам: повез меня в меховой магазин Зезерина… и попросил старшего приказчика «на совесть» выбрать нам лисий мех на шубу и куний воротник. Приказчик (поклонник таланта мужа) накидал целую гору лисьих мехов и, указывая их достоинства и недостатки, выбрал, наконец, безукоризненный на назначенную (сто рублей) цену мех. Воротник из куницы почти на ту же цену оказался превосходным. У них же нашлись образчики черного шелкового атласа, которые Федор Михайлович просмотрел и на свет, и на цвет, и на ломкость. Когда зашел разговор о фасоне (ротонды только что начинали входить в употребление), Федор Михайлович попросил показать новинку и тотчас запротестовал против «нелепой» моды. Когда же приказчик, шутя, сообщил, что ротонду выдумал портной, желавший избавиться от своей жены, то муж мой объявил:

— А я вовсе не хочу избавляться от своей жены, а потому сшейте-ка ей вещь по-старинному, салоп с рукавами!

Видя, что заказ салопа так заинтересовал мужа, я не настаивала на ротонде. Когда через две недели салоп был принесен и я его надела, Федор Михайлович с удовольствием сказал:

— Ну, ты теперь у меня совсем замоскворецкая купчиха! Теперь я не буду бояться, что в нем ты простудишься…

18-го мая 1876 года произошел случай, о котором я вспоминаю почти с ужасом. Вот как было дело: в «Отечественных записках» того года печатался новый роман С. Смирновой под названием «Сила характера». Федор Михайлович был дружен с Софьей Ивановной Смирновой и очень ценил ее литературный талант. Заинтересовался он и последним ее произведением и просил меня доставлять ему книжки журнала по мере выхода их в свет. Я всегда выбирала те несколько дней, когда муж отдыхал от работы по «Дневнику писателя», и приносила ему «Отечественные записки». Но так как новые номера журналов обычно выдаются на два-три дня, то я всегда торопила мужа прочесть книжку, чтоб, во избежание штрафа, вовремя вернуть ее в библиотеку. То же случилось и с апрельской книжкой. Федор Михайлович прочел роман и говорил мне, как удался нашей милой Софии Ивановне (которую я тоже очень ценила) один из мужских типов этого романа. В тот же вечер муж уехал на какое-то собрание, а я,

уложив детей, принялась за чтение «Силы характера». В романе, между прочим, было помещено анонимное письмо, посланное каким-то негодяем герою романа. Оно заключалось в следующем:

«Милостивейший государь, благороднейший Петр Иванович!

Будучи совершенно незнакомой вам особой, но как я принимаю участие в ваших чувствах, то и осмеливаюсь прибегать к вам с сими строками. Ваше благородство мне достаточно известно, и мое сердце возмущалось от мысли, что, несмотря на ваше благородство, некая близкая вам особа так недостойно обманывает. Будучи от вас отпущена более, может быть, чем за тысячу верст, она, как голубица какая обрадованная, которая, распустивши свои крылья, возносится на поднебесье и не хочет вернуться в Дом отчий. Вы ее отпустили себе и ей на погибель, в когти человека, коего она трепещет; но очаровал он ее своей льстивой наружностью, похитил он ее сердце, и нет ей милее очей, как его очи. Дети малые и те ей постылы, коли не скажет он ей слова ласкового. Коли хотите вы знать, кто он — этот злодей ваш, то я вам имени его не скажу, а вы посмотрите сами, кто у вас чаще бывает, да опасайтесь брюнетов. Коли увидите брюнета, что любит ваши пороги обивать, поприсмотритесь. Давно вам этот брюнет дорогу перешиб, только вам-то не в догадку. А меня ничто, кроме вашего благородства, к этому не побуждает, чтобы вам эту тайну открыть. А коли вы мне не верите, так у вашей супруги на шее медальон повешен, то вы посмотрите, кого она в этом медальоне на сердце носит.

Вам навеки неизвестная, но доброжелательная особа».

Я должна сказать, что за последнее время я была в самом благодушном настроении: у мужа давно приступов эпилепсии не было, дети совершенно оправились от болезни, долги наши мало-помалу уплачивались, а успех «Дневника писателя» шел creszendo. Все это поддерживало во мне столь свойственное моему характеру жизнерадостное настроение, и вот под влиянием его, по прочтении анонимного письма у меня мелькнула в голове шаловливая мысль переписать это письмо (изменив и вычеркнув две-три строки, имя, отчество) и послать его на имя Федора

Михайловича. Мне представлялось, что он, только вчера прочитавший это письмо в романе Смирновой, тотчас же догадается, что это шутка, и мы вместе с ним посмеемся. Промелькнула и другая мысль, что муж примет письмо всерьез; в таком случае меня интересовало, как он отнесется к полученному анонимному письму: покажет ли мне или бросит в корзину для бумаг? По моему обыкновению, что задумано, то и сделано. Сначала я хотела написать письмо своим почерком, но ведь я каждый день переписывала для Федора Михайловича стенограммы «Дневника», и почерк мой был ему слишком знаком. Следовало несколько замаскировать шутку, и вот я принялась переписывать письмо другим, более круглым, чем мой, почерком. Но это оказалось довольно трудно, и мне пришлось испортить несколько почтовых лист ков, прежде чем письмо было написано однообразно. Назавтра утром я бросила письмо в ящик, и оно среди дня было доставлено нам почтою вместе с другой корреспонденцией.

В этот день Федор Михайлович где-то замешкался и вернулся домой ровно к пяти; не желая заставить детей ждать обеда, он, переодевшись в домашнее платье и не разбирая писем, пришел в столовую. За обедом было шумно и весело. Федор Михайлович был в хорошем настроении, много говорил и смеялся, отвечая детям на их вопросы. После обеда муж со стаканом чаю, по обыкновению, пошел к себе в кабинет, я же ушла в детскую и только минут через десять отправилась узнать об эффекте, который произвело мое анонимное письмо.

Я вошла в комнату, села на свое обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чем-то таком, на что требовался ответ Федора Михайловича. Но он угрюмо молчал и тяжелыми, точно пудовыми, шагами расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен, и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила:

— Что ты такой хмурый, Федя?

Федор Михайлович гневно посмотрел на меня, проделся еще раза два по комнате и остановился почти вплоть против меня.

— Ты носишь медальон? — спросил он каким-то сдавленным голосом.

— Ношу.

— Покажи мне его!

— Зачем? Ведь ты много раз его видел.

— По-ка-жи ме-даль-он! — закричал во весь голос Федор Михайлович; я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтобы успокоить его, стала расстегивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальон: Федор Михайлович не выдержал

обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая, им же самим купленная в Венеции. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошел письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Федор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец муж справился с пружиной, открыл медальон и увидел с одной стороны — портрет нашей Любочки, с другой — свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал.

— Ну, что нашел? — спросила я. — Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?

Федор Михайлович живо повернулся ко мне:

— А ты откуда знаешь об анонимном письме?

— Как откуда? Да я тебе сама его послала!

— Как сама послала, что ты говоришь! Это невероятно!

— А я тебе сейчас докажу!

Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка «Отечественных записок», порылась в ней и достала несколько почтовых листов, на которых вчера упражнялась в изменении почерка. Федор Михайлович даже руками развел от изумления.

— И ты сама сочинила это письмо?

— Да и не сочиняла вовсе! Просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал: я думала, что ты сразу догадаешься.

— Ну где же тут вспомнить! Анонимные письма все в таком роде пишутся. Не понимаю только, зачем ты мне его послала?

— Просто хотела пошутить, — объясняла я.

— Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился в эти полчаса!

— Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену.

— В этих случаях не рассуждают! Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности.

— Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю «истинной ревности», так уж в этом ты сам виноват, зачем ты мне не изменяешь? — смеялась я, желая рассеять его настроение, — пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя: я бы тебя не тронула, но уж зато *ей,* злодейке, выцарапала бы глаза!!

— Вот ты все смеешься, Анечка, — заговорил виноватым

голосом Федор Михайлович, — а подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя! Вот уж именно можно сказать: Бог спас, пожалел наших деток! И подумай, хоть бы я и не нашел портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю!

Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком, и на нем оказалась полоска крови: очевидно, сорванная с силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришел в отчаяние.

— Боже мой, что я наделал! Анечка, дорогая моя, прости меня! Я тебя поранил! Тебе больно, скажи, тебе очень больно?

Я стала его успокаивать, что никакой «раны» нет, а только простая царапина, которая завтра же заживет. Федор Михайлович был не на шутку обеспокоен, а главное, пристыжен своею вспышкою. Весь вечер прошел в его извинениях, сожалениях и самой дружеской нежности. Я и сама была бесконечно счастлива, что моя нелепая шутка кончилась так благополучно. Я искренно раскаивалась, что заставила помучиться Федора Михайловича, и дала себе слово никогда в жизни не шутить с ним в таком роде, узнав по опыту, до какого бешеного, почти невменяемого состояния способен в эти минуты ревности доходить мой дорогой муж.

Привычки, обычаи

Любовь Федоровна Достоевская:

Достоевский писал до 4–5 часов утра и вставал только после одиннадцати. Спал он в своем кабинете на диване. Тогда в России это было принято, и столяры делали турецкие диваны с большим выдвижным ящиком, куда убирали на день подушки, простыни и одеяло. Таким образом, спальня в один миг превращалась в жилую комнату или кабинет. На стене, над диваном, висела большая великолепная фотокопия Сикстинской мадонны, подаренная моему отцу друзьями, знавшими о его любви к картине Рафаэля. Первое, что видел Достоевский, просыпаясь, был кроткий лик этой мадонны, которую он считал идеалом женщины.

Встав, отец сначала делал гимнастику, а потом мылся в своей туалетной комнате. Мылся он тщательно, используя много воды, мыла и одеколона. У Достоевского была истинная страсть к чистоте… Ногти Достоевского никогда не были черными. Как бы ни был он занят, время для тщательного ухода за ногтями всегда находилось. Моясь, он обычно пел. Его туалетная комната находилась рядом с нашей детской, и каждое утро я слышала, как он пел мягким голосом одну и ту же короткую песенку:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит!
Утро дышит у ней на груди,
Ярко дышит на ямках ланит…

Потом отец шел в свою комнату и оканчивал там свой туалет. Я никогда не видела его в халате или домашних туфлях, в которых русские ходят большую часть дня. С самого утра он был в сапогах, при галстуке и в красивой белой рубашке с накрахмаленным воротником. (Тогда только народ носил у нас цветные рубашки.)

Отец всегда носил хорошо сшитые костюмы; даже тогда, когда он был беден, он одевался у лучшего портного города. Он тщательно ухаживал за своей одеждой, всегда сам ее чистил и владел секретом долго сохранять ее новой. Утром отец надевал короткую куртку. Если ему случалось, переставляя свечи, капнуть на нее воском, он сразу же снимал ее и просил служанку удалить пятна. «Пятна мешают мне, — жаловался он. — Я не могу работать, если они есть. Я все время буду думать о них, вместо

того чтобы сосредоточиться на моей работе». Закончив туалет и помолившись, он шел в столовую пить чай. Теперь мы могли пожелать ему доброго утра и поговорить с ним о наших детских делах. Отец любил сам разливать чай и всегда пил очень крепкий чай. Он выпивал два стакана и брал третий с собой в кабинет, где пил его во время работы небольшими глотками.

Михаил Александрович Александров:

Сидя за чаем, Федор Михайлович или пробегал газеты, или набивал себе папиросы-пушки из желтой маисовой бумаги… Курил он довольно много…

Анна Григорьевна Достоевская:

Курил папиросы, которые набивал сам, смешивая два сорта, Саатчи и Мангуби Дивес средний и Лаферм. $^1/_4$ фунта 80 коп. После поездки в Москву на Пушкинское торжество он бросил папиросы и курил сигары, уверяя, что гораздо меньше теперь кашляет. Сигары были хорошие, дорогие, 25 штук 6 руб. и дороже.

Любовь Федоровна Достоевская:

Во время завтрака служанка проветривала и убирала его кабинет. Там было мало мебели, все вещи стояли вдоль стены и всегда должны были оставаться на своем месте. Когда к отцу приходило сразу несколько друзей, и стулья и кресла стояли в беспорядке, он сам расставлял их по местам после ухода гостей. На его письменном столе тоже царил величайший порядок. Газеты, коробка с папиросами, письма, полученные им, книги, которыми он пользовался для справок, — все должно было находиться на своем месте. Малейший беспорядок раздражал отца. Зная, какое значение он придает этому педантично соблюдаемому порядку, моя мать каждое утро самолично проверяла письменный стол мужа. Потом она устраивалась рядом с ним и приготавливала на маленьком столике свою тетрадь и карандаши. Окончив завтрак, отец возвращался в свою комнату и сразу же начинал диктовать главу, сочиненную им ночью…

Покончив с диктовкой, Достоевский звал нас и угощал чем-нибудь сладким (это был наш полдник)… Когда Достоевский звал нас к себе, он щедро оделял нас сладким, распределяя все лакомства поровну между братом и мной…

В четыре часа отец выходил на свою ежедневную прогулку. Он шел всегда одной и той же дорогой, погруженный в свои мысли, и не узнавал друзей, встречавшихся ему. Иногда он заходил к кому-нибудь из приятелей побеседовать об

интересовавшей его политической или литературной работе.

Если у Достоевского были деньги, он покупал у Балле, в лучшей кондитерской Петербурга, коробку конфет или выбирал виноград и груши в лучшем гастрономическом магазине города. Он всегда покупал самое лучшее и ненавидел случайные или дешевые покупки. Отец сам приносил домой купленное и распоряжался подать это нам на десерт. Тогда обедали в шесть часов, а в девять пили чай. Достоевский посвящал эту часть вечера чтению и начинал работу только после чая, когда все спали. Перед этим он заходил еще в нашу детскую пожелать нам спокойной ночи, благословить и прочитать с нами короткую молитву Богородице, ту самую, которую его заставляли читать родители, когда он был ребенком. Потом он обнимал нас и возвращался в свою комнату, чтобы приняться за работу. Достоевский не любил ламп и предпочитал писать при свете двух свечей.

Анна Григорьевна Достоевская:

Обед кончался в 7, и он любил до 8 или $^1/_2$ 9-го просидеть один, а затем одевался и шел гулять, или пройтись куда-либо, или же поехать куда-нибудь в гости; но в гости не любил приезжать позже 9 и самое позднее в $^1/_2$ 10-го. Сидел в гостях до 12, иногда до $^1/_2$ 1-го, ночью в час ночи непременно был дома. Переодевался очень долго в свое старое пальто…

Прежде чем лечь спать, он долго приготовлялся, часа два, именно сажал детей, поил их, ужинал, осматривал, заперты ли все двери, ходил кое-куда, мыл зубы, проделывал гимнастику, молился, приготовлял воду, спички, свечку и часы недалеко от того места, где он спал, перестилал постель и затем уже ложился, закутываясь головой в простыню и покрываясь двумя одеялами, тканьевым и байковым, а сверху накрывая старым пальто только ноги. Спал на спине, если спал на левом боку, то очень кашлял.

Михаил Александрович Александров:

Я должен сказать, что Федор Михайлович все, что делал, делал заботливо и, насколько хватало его физических сил, старался делать аккуратно…

Анна Григорьевна Достоевская:

Когда куда уезжал, то последнюю ночь был очень занят, именно разбирал бумаги, откладывал их в разные пачки, которые надписывал: «текущие», «неважные» и т. д. и очень заботился о том, куда положить свою рукопись; вообще же успокаивался лишь тогда, когда укладывал свой маленький чемодан. А в чемодан

укладывал следующее: ночная и дневная рубашки, чулки и платки, свои галстуки и перчатки, туфли, пепельницу, свои портсигары (в них ножницы и ножик), щетку, газеты. А в нижнем этаже всегда укладывал свои папиросы в жестяном ящичке, свой эмский стакан и разные мелочи, подарки, которые привозил нам из-за границы…

Любовь Федоровна Достоевская:

Отец добросовестно исполнял религиозные обязанности, постился, дважды в день ходил в церковь и откладывал все литературные дела. Он любил также наши чудные богослужения Страстной недели, особенно пасхальную службу с ее излучающими радость песнопениями.

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская):

— Я всегда вспоминаю один рассказ, который мне довелось случайно услышать от почтенной старушки, вдовы священника, часто встречавшей Ф. М. Достоевского в Знаменской церкви.

Вот ее подлинные слова:

— Он всегда к заутрене или к ранней обедне в эту церковь ходил. Раньше всех, бывало, придет и всех позже уйдет. И станет всегда в утолок, у самых дверей, за правой колонкой, чтобы не на виду. И всегда на коленках и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоит; ни разу не встанет. Мы все так и знали, что это — Федор Михайлович Достоевский, только делали вид, что не знаем и не замечаем его. Не любил, когда его замечали. Сейчас отворотится и уйдет.

Увлечения, интересы, пристрастия

Александр Егорович Ризенкампф:

Из разных петербургских удовольствий более всех привлекал его театр. Можно сказать, что в 1841 и 1842 годах в Петербурге все театры без исключения процветали. Что касается балета, то я сам в нем почти никогда не бывал, но Федор Михайлович всегда с восхищением говорил о впечатлении, которое на него производили танцовщицы Тальони, Шлефахт, Смирнова, Андреянова и танцовщик Иогансон. Преимущественно процветал тогда Александринский театр. Такие артисты, как Каратыгины, Брянский, Мартынов, Григорьевы, г-жи Асенкова, Дюр и пр., производили неимоверное впечатление, тем более на страстную, поэтическую натуру Федора Михайловича. На французской сцене мы одинаково восторгались такими талантами, как супруги Алланы, Vernet и его сестра m-me Paul Ernest, Mondidier, Bressant (которого впоследствии заменил не менее даровитый Deschamps), Tetard, Dumenil, m-me Louisa Mayer, m-lle Mila, Malvina и пр. На немецком театре выдавались тогда двое: г. Кунст и г-жа Лилла Лёве. Впечатление, произведенное последней актрисою на Федора Михайловича в роли Марии Стюарт, было до той степени сильно, что он решился разработать этот сюжет для русской сцены, но не в виде перевода или подражания Шиллеру, но самостоятельно и согласно с данными истории. В 1841 и 1842 годах это была одной из главных его задач, и то и дело он нам читал отрывки из своей трагедии «Мария Стюарт».

Второе место в числе петербургских удовольствий занимала музыка. В 1841 году публика восхищалась концертами известного скрипача Оле-Буля. С 9 апреля 1842 года начались концерты гениального Листа и продолжались до конца мая. Несмотря на неслыханную до тех пор цену билетов (сначала по 25, после по 20 рублей ассигнациями), мы с Федором Михайловичем не пропускали почти ни одного концерта. Федор Михайлович нередко посмеивался над своими друзьями, носившими перчатки, шляпы, прическу, тросточки a la Liszt. После одного из концертов, в тесноте при выходе из залы, у него была оторвана кисточка от шпажного темляка, и с тех пор до самой отставки он ходил без этой кисточки, что, конечно, было замечено многими, но Федор Михайлович равнодушно отвечал на все замечания, что этот темляк без кисточки ему дорог, как память о концертах Листа. Впрочем, собственно к музыке Федор Михайлович никогда не относился с тем восторгом, как старший брат его… Кроме этих удовольствий молодые люди находили еще развлечение на

вечеринках в частных домах. Но Федор Михайлович имел мало знакомств и вообще чуждался их, чувствуя себя в семейных домах не в своей сфере. Оставались балы и маскерады в Дворянском собрании — в соединенном обществе, в немецком собрании. Наконец, для так называемой jeunesse doree[3] существовали еще танцклассы с шпицбалами: Марцынкевича, Буре, мадам Кестениг, Рейхардта и пр., и в летнее время загородные гулянья. Понятно, что Федор Михайлович, при своей страстной натуре, при своей жажде все видеть, все узнать, кидался без разбора в те и другие развлечения; но скорее всего он отказался от балов, маскерадов и пр., так как он вообще был довольно равнодушен к женскому полу и его приманкам. Непостижимы только были мне непомерные его расходы, несмотря на сравнительную умеренность в удовольствиях…

Степан Дмитриевич Яновский:

Федор Михайлович, искренно любя общество, любил и некоторые из его удовольствий и развлечений. Так, например…. он любил музыку, вследствие чего при всякой возможности посещал итальянскую оперу, а по временам, когда у Майковых устраивались по воскресеньям танцы, он не только любил смотреть на танцующих, но и сам охотно танцевал. Из опер особенное предпочтение он отдавал «Вильгельму Теллю», в котором трио с Тамберликом приводило его в восторг, с наслаждением слушал «Дон-Жуана» Моцарта, в котором роль Церлины ему нравилась всего более, и восхищался «Нормой», сначала с Джулиею Борз и, а потом с Гризи; когда же в Петербурге была поставлена опера Мейербера «Гугеноты», то Федор Михайлович положительно от нее был в восторге. Певицу Фрецколини и тенора Сальви недолюбливал, говоря, что первая — кукла с хорошим голосом, а второй ему казался очень уж слащавым и бездушным. Танцы Федор Михайлович любил как выражение душевного довольства и как верный признак здоровья, но никогда к ним не примешивал ни вопроса о сближении с женщиной благодаря возможности, танцуя, перекинуться с нею живым словом, ни вопроса о грации и ловкости танцующих.

Анна Григорьевна Достоевская:

Я, мои дети и наши старорусские друзья отлично помнят, как, бывало, вечером, играя с детьми, Федор Михайлович, под звуки органчика, танцевал с детьми и со мною кадриль, вальс и мазурку. Муж мой особенно любил мазурку и, надо отдать справедливость, танцевал ее ухарски, с воодушевлением, как «завзятый поляк», и он был очень доволен, когда я раз высказала

такое мое мнение.

Софья Васильевна Ковалевская:

Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения данной минуты. Подчас самая прекрасная, артистически исполненная музыка вызовет у них только зевоту; в другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит их до слез…

Он как-то раз говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит la sonate pathetique Бетховена и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений.

Николай Фон-Фохт:

Ф. М. Достоевский очень любил музыку, он почти всегда что-нибудь напевал про себя, и это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа. В этом отношении вторая дочь А. П. Иванова, Мария Александровна, ученица Московской консерватории, доставляла ему большое удовольствие своею прекрасною игрою. В одном только они расходились: Мария Александровна была большая поклонница Шопена (как и вообще все женщины), между тем как Федор Михайлович не особенно жаловал музыку польского композитора, называя ее «чахоточной». Он превыше всего ставил музыку Моцарта и Бетховена, а из русских композиторов очень любил произведения Глинки и Серова, в особенности оперу последнего «Рошеда».

Андрей Михайлович Достоевский (1825–1897), *младший брат писателя:*

Упомяну также здесь о случившихся раза три-четыре вечеринках у брата, на которые собирались несколько офицеров (товарищей брата), с целию игры в карты; не знаю, как было впоследствии, но в первое время своего офицерства брат очень увлекался игрою в карты, причем преферанс или вист были только началом игры, но вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс.

Е. А. Мамонтова (урожд. Мельчакова), *семипалатинская обывательница:*

Хорошо запомнилось мне одно обстоятельство, да как-то боюсь, не решаюсь его вам передать… Очень уж факт-то на первый взгляд невероятный… Как бы не упрекнули меня в лганье. Достоевский одно время как будто бы пристрастился к азартной

игре. Играли же здесь тогда сильно. Однажды Федор Михайлович утром зашел к дяде и сообщил ему, что вчера он видел небывалую игру. Эта игра произвела на него сильное впечатление: он, рассказывая про нее, быстро ходил по комнате и с волнением закончил:

— Ух, как играли… жарко! Скверно, что денег нет… Такая чертовская игра — это омут… Вижу и сознаю нею гнусность этой чудовищной страсти… а ведь тянет, так и всасывает!

Анна Григорьевна Достоевская:

Кстати о картах: в том обществе (преимущественно литературном), где вращался Федор Михайлович, не было обыкновения играть в карты. За всю нашу 14-летнюю совместную жизнь муж всего один раз играл в преферанс у моих родственников, и, несмотря на то что не брал в руки карт более 10 лет, играл превосходно и даже обыграл партнеров на несколько рублей, чем был очень сконфужен.

Владимир Михайлович Каченовский (1826–1892), *писатель, переводчик, сын историка, академика М. Т. Каченовского:*

Кроме отличной библиотеки, после Федора Михайловича осталась большая коллекция автографов наших замечательных писателей, художников и общественных деятелей. Это я знаю из написанного по поручению покойного А. Г. Достоевской письма ко мне от 18 октября, которым просил доставить для его коллекции какое-либо письмо моего отца, Михаила Трофимовича, «если возможно характерное, если же нельзя, то хотя записку или подпись». Я тотчас же выслал письмо.

Любимые блюда

Анна Григорьевна Достоевская:

Муж любил русскую кухню и нарочно заказывал для меня, петербургской жительницы, местные блюда, вроде московской селянки, расстегаев, подовых пирожков, и притворно ужасался моему молодом) аппетиту.

Александр Егорович Врангель:

Любители мы оба с Достоевским были и до фруктов, а Ф.М. и вообще до всякого лакомства. Но ни того, ни другого в Семипалатинске, бывало, не достанешь. Удивительно, что в то время во всей Западной Сибири не разводились ни яблони, ни груши, черешни же были редкостью. Зимою привозили из Ирбита замороженные яблоки и, как большую редкость, лимоны. Мы их оттаивали постепенно в очень холодной воде и ставили в холодную комнату; спустя некоторое время они были как свежие. Зато летом было изобилие ягод: малины, черной смородины, лесной земляники, мамуры, облепихи… Мед бочками привозили из Казани и Оренбургской губернии. Одно из любимых лакомств Ф.М. и мое были кедровые орехи с медом. Зато сушеных фруктов из Бухары и Коканда караваны доставляли для Ирбитской ярмарки массы, и Достоевский особенно любил угощаться кишмишем и шепталою.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

— Постойте, голубчик! — часто говорил он, останавливаясь среди разговора.

Он подходил к своему маленькому шкафику, отворял его и вынимал различные сласти: жестянку с королевским черносливом, свежую пастилу, изюм, виноград. Он ставил все это на стол и усиленно приглашал хорошенько заняться этими вещами. Он был большой лакомка…

Любовь Федоровна Достоевская:

Отец очень любил сладости; он всегда хранил в ящике книжного шкафа коробки с винными ягодами, финиками, орехами, изюмом и фруктовой пастилой, какую делают в России. Достоевский охотно ел их днем, а иногда и ночью. Этот «дастархан», как называют закуску, подаваемую гостям на Востоке, был, как я думаю, единственной восточной привычкой, унаследованной Достоевским от его русских предков; возможно также, что все эти сладости были необходимы для его слабого

организма.

Анна Григорьевна Достоевская:

Любил икру, швейцарс<кий> сыр, семгу, колбасу, а иногда балык; любил иногда ветчину и свежие горячие колбасы. Всегда покупал на углу Владимирского и Невского закуски и гостинцы и непременно заезжал к Филип<п>ову за калачом или за булкой к обеду, а иногда привозил детям баранков. Булку клал в карманы шубы, и иногда было очень трудно ее вытащить. Чай любил черный в 2 р. 40 и всегда его покупал у Орловского, против Гостиного Двора. Любил тульские пряники. Чтоб меня порадовать, приносил иногда мне копченого сига, а незадолго до своей смерти, недели за три, принес миног. Любил, чтобы спички были наготове, любил совершенно черные чернила и хорошую толстую бумагу. Любил пастилу белую, мед непременно покупал в посту, киевское варенье, шоколад (для детей), синий изюм, виноград, пастилу красную и белую палочками, мармелад и также желе из фруктов.

Пил красное вино, рюмку водки и перед сладким полрюмки коньяку. Любил очень горячий кофе, который бы кипел, и с своей чашкой уходил в свою комнату, в левой руке неся подсвечники и салфетку, а в правой — чашку. Любил оставаться с своей чашкой некоторое время один и был недоволен, когда его в это время тревожили разговорами.

Михаил Александрович Александров:

Чай Федор Михайлович пил крепкий и сладкий, по несколько стаканов, сидя за своим письменным столом, ходя за каждым стаканом через залу в столовую, где стоял самовар и чайный прибор, и наливая его себе сам…

Елена Андреевна Штакеншнейдер:

Надо сказать, что насчет чая Достоевский был так капризен, что сама Анна Григорьевна не могла на него угодить и отступилась наконец от делания для него чая: дома он всегда наливал его себе сам.

Анна Григорьевна Достоевская:

Заваривал чай, сначала споласкивал чайник горячею водой, клал 3 ложечки чаю (причем непременно требовал «свою» ложку, она так и называлась «папиной ложечкой») и наливал лишь $^1/_3$ чайника и закрывал салфеточкой; затем минуты через три дополнял чайник и тоже накрывал. И наливал чай лишь тогда, когда самовар переставал кипеть. Наливая себе чай, папа

непременно смотрел на цвет чая, и ему случалось очень часто то добавлять чаю, то сливать в полоск<ательную> чашку чай и добавлять кипятком; часто случалось, что унесет стакан в свой кабинет и опять вернется, чтоб долить или разбавить чай. Уверял: «Нальешь чай, кажется хорош цветом, а принесешь в кабинет, цвет не тот». Клал два куска сахару.

Михаил Александрович Александров:

Придя однажды к Федору Михайловичу во время его завтрака, я видел, как он употреблял простую хлебную водку: он откусывал черного хлеба и прихлебывал немного из рюмки водки, и все это вместе пережевывал. Он говорил мне, что это самое здоровое употребление водки.

Николай Николаевич Страхов:

Упомянув о вине, замечу вообще, что Федор Михайлович был в этом отношении чрезвычайно умерен. Я не помню во все двадцать лет случая, когда бы в нем заметен был малейший след действия выпитого вина. Скорее он обнаруживал маленькое пристрастие к сластям; но ел вообще очень умеренно.

Анна Григорьевна Достоевская:

Вино чрезвычайно вредно действовало на Федора Михайловича, и он никогда его не пил.

Е. А. Мамонтова (урожд. Мельчакова):

Про обильную выпивку в доме Пешехонова (в Семипалатинске. — *Сост.)* Достоевский говаривал:

— Э, друг, если хочешь напиться, иди к Пешехонову — будешь готов.

Сам же он почти не пил и всегда возмущался разнузданностью людей, частенько проявлявшуюся под влиянием обилия хмельного в доме, где все лилось через край, причем выражался, кажется, так:

— Кто пьет до безобразия, тот не уважает человеческого достоинства ни в себе, ни в других.

Жилище

1821–1837. Родительский дом. Квартира М. А. Достоевского при Мариинской больнице в Москве, на Божедомке

Андрей Михайлович Достоевский:

Квартира, занимаемая отцом во время моего рождения и младенчества, как выше помянуто, была в правом (при выходе из двора) каменном трехэтажном флигеле Московской Марьинской больницы, в нижнем этаже. Сравнивая теперешние помещения служащих лиц в казенных квартирах, невольно обратишь внимание на то, что в старину давались эти помещения гораздо экономнее. И в самом деле: отец наш, уже семейный человек, имевший в то время 4–5 человек детей, пользуясь штаб-офицерским чином, занимал квартиру, состоящую, собственно, из двух чистых комнат, кроме передней и кухни. При входе из холодных сеней, как обыкновенно бывает, помещалась *передняя* в одно окно (на чистый двор). В задней части этой довольно глубокой передней отделялось, помощию дощатой столярной перегородки, не доходящей до потолка, полутемное помещение для детской. Далее следовал зал, довольно поместительная комната о двух окнах на улицу и трех на чистый двор. Потом гостиная в два окна на улицу, от которой тоже столярною дощатою перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей. Вот и вся квартира! Впоследствии, уже в 30-х годах, когда семейство родителей еще увеличилось, была прибавлена к этой квартире еще одна комната с тремя окнами на задний двор, так что образовался и другой черный выход из квартиры, которого прежде не было. Кухня, довольно большая, была расположена особо, через холодные чистые сени; в ней помещалась громадная русская печь и устроены полати; что же касается до кухонного очага с плитою, то об нем и помину не было! Тогда умудрялись даже повара готовить и без плиты вкусные и деликатные кушанья. В холодных чистых сенях, частию под парадною лестницею, была расположена большая кладовая. Вот все помещение и удобства нашей квартиры!

Обстановка квартиры была тоже очень скромная: передняя с детской были окрашены темно-перловою клеевою краскою; зал — желто-канареечным цветом, а гостиная со спальной — темно-кобальтовым цветом. Обои бумажные тогда еще в употреблении не были. Три голландские печи были громадных размеров и сложены из так называемого ленточного изразца (с синими

каемками). Обмеблировка была тоже очень простая. В зале стояли два ломберных стола (между окнами), хотя в карты у нас в доме никогда не игрывали. Помню, что такое беззаконие у нас случилось на моей памяти раза два, в дни именин моего отца. Далее помещался обеденный стол на средине залы и дюжины полторы стульев березового дерева под светлою политурою и с мягкими подушками из зеленого сафьяна (клеенки для обивки мебели тогда еще не было. Обивали же мебель или сафьяном, или волосяною матернею). В гостиной помещался диван, несколько кресел, туалет маменьки, шифоньер и книжный шкаф. В спальне же размещались кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом маменьки. Я сказал, что стулья и кресла были с мягкими подушками, но это вовсе не значит, что они были с пружинами, совсем нет — тогда пружин еще не знали. Подушки же у стульев, кресел и диванов набивались просто чистым волосом, отчего при долгом употреблении на мебели этой образовывались впадины. Стулья и кресла, по тогдашней моде, были громадных размеров, так что ежели сдвинуть два кресла, то на них легко мог улечься взрослый человек. Что же касается до диванов, то любой из них мог служить двухспальной кроватью! Вследствие этого, сидя на стульях, креслах и диванах, никоим образом нельзя было облокотиться на спинку, а надо было всегда сидеть как с проглоченным аршином. Гардин на окнах и портьер при дверях, конечно, не было; на окнах же были прилажены простые белые коленкоровые шторы без всяких украшений.

Ясное дело, что при такой небольшой квартире не все члены семейства имели удобные помещения. В полутемной детской, которая расположена была в заду передней, помещались только старшие братья. Сестра Варя спала ночью в гостиной на диване. Что же касается до меня, а позднее до сестры Верочки, то мы, как младенцы, спали в люльках в спальне родителей. Няня же и кормилицы спали в темной комнатке, имевшейся при спальной родителей.

Елена Андреевна Штакеншнейдер:

Кто-то заметил, что Достоевский всегда любил квартиры со странными лестницами и переходами.

1843. На углу Владимирской улицы и Графского переулка в Петербурге

Константин Александрович Трутовский (1826–1893), *Живописец, график, соученик Достоевского по Главному*

инженерному училищу:

Квартира его была во втором этаже и состояла из четырех комнат: просторной прихожей, зальца и еще двух комнат; из них одну занимал Федор Михайлович, а остальные были совсем без мебели. В узенькой комнате, в которой помещался, работай и спал Федор Михайлович, был письменный стол, диван, служивший ему постелью, и несколько стульев. На столе, стульях и на полулежали книги и исписанные листы бумаги.

1854. Семипалатинск

Александр Егорович Врангель:

Хата Достоевского находилась в самом безотрадном месте. Кругом пустырь, сыпучий песок, ни куста, ни дерева. Изба была бревенчатая, древняя, скривившаяся на один бок, без фундамента, вросшая в землю, и без единого окна наружу, ради опасения от грабителей и воров. Два окна его комнаты выходили на двор, обширный, с колодцем и журавлем. На дворе находился небольшой огородик с парою кустов дикой малины и смородины. Все это было обнесено высоким забором с воротами и низкою калиткою, в которую я всегда влезал нагибаясь, — тоже исторически установившийся в то время расчет строить низкие калитки: делалось это, как мне говорили, для того, чтобы легче рубить наклоненную голову случайно ворвавшегося врага. Злая цепная собака охраняла двор и на ночь спускалась с цепи.

У Достоевского была одна комната, довольно большая, но чрезвычайно низкая; в ней царствовал всегда полумрак. Бревенчатые стены были смазаны глиной и когда-то выбелены; вдоль двух стен шла широкая скамья. На стенах там и сям лубочные картинки, засаленные и засиженные мухами. У входа налево от дверей большая русская печь. За нею помещалась постель Федора Михайловича, столик и, вместо комода, простой дощатый ящик. Все это спальное помещение отделялось от прочего ситцевою перегородкою. За перегородкой в главном помещении стоял стол, маленькое в раме зеркальце. На окнах красовались горшки с геранью и были занавески, вероятно когда-то красные. Вся комната была закопчена и так темна, что вечером с сальною свечою — стеариновые тогда были большою роскошью, а освещения керосином еще не существовало — я еле-еле мог читать. Как при таком освещении Федор Михайлович писал ночи напролет, решительно не понимаю. Была еще приятная особенность его жилья: тараканы стаями бегали по столу, стенам и кровати, а летом особенно блохи не давали покоя, как это

бывает во всех песчаных местностях.

1855. Семипалатинск

Зинаида Артемьевна Сытина (урожд. Гейбович), *дочь ротного командира 7-го линейного Сибирского батальона А. И. Гейбовича, под началом которого служил Достоевский в Семипалатинске:*

Памятен мне домик, где жил Достоевский в городе Семипалатинске. Он состоял из четырех комнат: первая маленькая комната была столовой, рядом спальня, налево из первой комнаты гостиная — большая угловая комната, а из гостиной налево дверь в кабинет. Меблированы комнаты были просто, но очень удобно: в гостиной диван, кресла и стулья были обиты тисненым дорогим ситцем, с красивыми букетами, перед диваном стоял стол, а возле кабинетной двери налево диванчик в виде французской буквы S и несколько маленьких столиков. У углового окна стояло кресло, на котором любил сидеть Федор Михайлович, и близ окна куст волкомерии в деревянной кадочке. На окнах и дверях висели занавеси; в остальных комнатах также было убрано мило, просто и уютно.

1866. Дом Алонкина в Петербурге, в Столярном переулке

Анна Григорьевна Достоевская:

Дом был большой, со множеством мелких квартир, населенных купцами и ремесленниками. Он мне сразу напомнил тот дом в романе «Преступление и наказание», в котором жил герой романа Раскольников.

Квартира № 13 находилась во втором этаже…

Служанка пригласила меня в комнату, которая оказалась столовою. Обставлена она была довольно скромно: по стенам стояли два больших сундука, прикрытые небольшими коврами. У окна находился комод, украшенный белой вязаной покрышкой. Вдоль другой стены стоял диван, а над ним висели стенные часы…

Кабинет Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два Окна, в тот солнечный день очень светлую, но в другое время производившую тяжелое впечатление: в ней было сумрачно и безмолвно; чувствовалась какая-то подавленность от этого сумрака и тишины.

В глубине комнаты стоял мягкий диван, крытый коричневой,

довольно подержанной материей; пред ним круглый стол с красной суконной салфеткой. На столе лампа и два-три альбома; кругом мягкие стулья и кресла. Над диваном в ореховой раме висел портрет чрезвычайно сухощавой дамы в черном платье и таком же чепчике. «Наверно, жена Достоевского», — подумала я, не зная его семейного положения.

Между окнами стояло большое зеркало в черной раме. Так как простенок был значительно шире зеркала, то, для удобства, оно было придвинуто ближе к правому окну, что было очень некрасиво. Окна украшались двумя большими китайскими вазами прекрасной формы. Вдоль стены стоял большой диван зеленого сафьяна и около него столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, был выдвинут письменный стол, за которым я потом всегда сидела, когда Федор Михайлович мне диктовал. Обстановка кабинета была самая заурядная, какую я видала в семьях небогатых людей.

1873. В Петербурге, в Измайловском полку, во 2-й роте

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Я прошел через темную комнату, отпер дверь и очутился в его кабинете. Но можно ли было назвать кабинетом эту бедную, угловую комнатку маленького флигелька, в которой жил и работал один из самых вдохновенных и глубоких художников нашего времени! Прямо, у окна, стоял простой старый стол, на котором горели две свечи, лежало несколько газет и книг… старая, дешевая чернильница, жестяная коробка с табаком и гильзами. У стола маленький шкаф, по другой стене рыночный диван, обитый плохим красноватым репсом; этот диван служил и кроватью Федору Михайловичу, и он же, покрытый все тем же красноватым, уже совсем вылинявшим репсом, бросился мне в глаза через восемь лет, на первой панихиде… Затем несколько жестких стульев, еще стол — и больше ничего…

На моих глазах, в эти последние восемь лет, он переменил несколько квартир, и все они были одна мрачнее другой, и всегда у него была неудобная комната, в которой негде было повернуться.

1876. На Греческом проспекте в Санкт-Петербурге

Михаил Александрович Александров:

Жил в то время Федор Михайлович на Греческом проспекте, в

доме, стоящем между греческою церковью и Прудками. Дом этот был такой же старый, как и тот, в котором он жил перед тем на Лиговке, на углу Гусева переулка. Квартира его находилась в третьем этаже и очень походила расположением приемных комнат на прежнюю; даже окнами эти комнаты выходили в одну и ту же сторону, именно на восток… Замечу кстати, что и следующая квартира Федора Михайловича была в старом же доме. Одно время меня занимал вопрос, отчего это Федор Михайлович предпочитает старые дома новым, представляющим гораздо более удобств и опрятности, и пришел к следующему заключению. Федору Михайловичу нужна была настолько объемистая квартира, что наем таковой в новом, комфортабельном доме не согласовался с его средствами… Он жил чисто литературным трудом исключительно, а существовать на заработок от такого труда, даже при таком колоссальном таланте и непомерном трудолюбии, каковыми отличался Федор Михайлович, у нас на Руси если иногда и можно, то пока лишь довольно скромно.

Кроме обычных кухни и прихожей, число комнат в виденных мною первых двух квартирах было не менее пяти, а именно: зала, служившая вместе и гостиною, маленькая столовая, такой же маленький кабинет, детская, всегда по возможности отдаленная от кабинета, и, наконец, комната Анны Григорьевны. Обстановка всех комнат была очень скромная; мебель в зале-гостиной была относительно новая, но так называемая рыночная; в остальных комнатах она была еще проще и притом старее.

Особенною простотою отличался кабинет Федора Михайловича. В нем и намека не было на современное шаблонное устройство кабинетов, глядя на которые обыкновенно нельзя определить — человеку какой профессии принадлежит данный кабинет.

Кабинет Федора Михайловича в описываемое мною время (1876 г.) была просто его комната, студия, келия… В этой комнате он проводил большую часть времени своего пребывания дома, принимал коротко знакомых ему людей, работал и спал в ней. Площадь комнаты имела около трех квадратных сажен. В ней стояли: небольшой турецкий диван, обтянутый клеенкою, служивший Федору Михайловичу вместе и кроватью; два простых стола, какие можно видеть в казенных присутственных местах, из коих один, поменьше, весь был занят книгами, журналами и газетами, лежавшими в порядке по всему столу; на другом, большом, находились чернильница с пером, записная книжка, довольно толстая, в формате четвертки писчей бумаги, в которую Федор Михайлович записывал отдельные мысли и факты для

своих будущих сочинений, пачка почтовой бумаги малого формата, ящик с табаком да коробка с гильзами и ватою — более на этом столе ничего не было, — все остальное необходимое для письма находилось в столе, то есть в низеньком выдвижном ящике, помещавшемся, по старинному обычаю, под верхнею доскою стола. На стене над этим столом висел фотографический портрет Федора Михайловича; перед столом стояло кресло, старое же, как и остальная мебель, без мягкого сиденья. В углу стоял небольшой шкаф с книгами. На окнах висели простые гладкие сторы… Вот и все убранство кабинета Федора Михайловича во время издания «Дневника писателя».

Людмила Христофоровна Симонова-Хохрякова:

Он жил тогда на Песках, у Греческой церкви, занимая скромную квартирку в третьем этаже. Как теперь вижу его кабинет, маленький, в одно окно; меблировку составляли кожаный диван, письменный стол, заваленный газетами и книгами, несколько плетеных стульев да небольшой столик у стены. Неизменными атрибутами этого столика были стакан холодного чая да пузырьки с какими-то лекарствами.

1877–1880. Дом в Старой Руссе («Дача Грибе»)

Любовь Федоровна Достоевская:

На сэкономленные с трудом во время военной службы средства полковник (Гриббе. — *Сост.*) построил домик во вкусе немцев балтийских провинций, полный сюрпризов, потайных стенных шкафчиков и опускающихся дверей, ведущих на темные и пыльные винтовые лестницы. В этом доме все было небольшого размера; низкие и тесные комнатки были заставлены старой ампирной мебелью, зеленоватые зеркала отражали искаженные лица тех, кто отваживался в них взглянуть. Наклеенные на полотно бумажные свитки, служившие картинами, являли нашим изумленным детским глазам уродливых китаянок с аршинными ногтями и втиснутыми в детскую обувь ногами. Крытая веранда с разноцветными стеклами была нашей единственной радостью, а маленький китайский биллиард со стеклянными шарами и колокольчиками развлекал нас в долгие дождливые дни, столь частые летом на севере. За домом был сад со смешными маленькими клумбами, засаженными цветами. В этом саду, пересеченном небольшими рвами, были всевозможные виды плодов. Полковник Гриббе сам копал эти рвы, чтобы защитить малину и смородину от весеннего разлива коварной Перерытицы,

на берегу которой был построен этот маленький дом. Полковник жил летом в двух комнатках первого этажа, а все остальное сдавал курортникам. Так было принято тогда в Старой Руссе, где в то время еще не было настоящих дач. Позднее, после смерти старого полковника, мои родители купили этот домик у наследников за бесценок.

Анна Григорьевна Достоевская:

Дача Гриббе стояла (и стоит) на окраине города близ Коломца, на берегу реки Перерытицы, обсаженной громадными вязами, посадки еще аракчеевских времен. По другие две стороны дома (вдоль сада) идут широкие улицы, и только одна сторона участка соприкасается с садом соседей. Федор Михайлович, боявшийся пожаров, сжигающих иногда целиком наши деревянные города (Оренбург), очень ценил такую уединенность нашей дачи. Мужу нравился и наш тенистый сад, и большой мощеный двор, по которому он совершал необходимые для здоровья прогулки в дождливые дни, когда весь город утопал в грязи и ходить по немощеным улицам было невозможно. Но особенно нравились нам обоим небольшие, но удобно расположенные комнаты дачи, с их старинною, тяжелою, красного дерева мебелью и обстановкой, в которых нам так тепло и уютно жилось.

Федор Михайлович считал нашу старорусскую дачу местом своего физического и нравственного покоя и, помню, чтение любимых и интересных книг всегда откладывал до приезда в Руссу, где желаемое им Уединение сравнительно редко нарушалось праздными посетителями.

1878–1881. Последняя квартира, в Кузнечном переулке, дом 5, в Санкт-Петербурге

Анна Григорьевна Достоевская:

Квартира наша состояла из шести комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни и находилась во втором этаже. Семь окон выходили на Кузнечный переулок, и кабинет мужа находился там, где прибита в настоящее время мраморная доска. Парадный вход (ныне заделанный) расположен под нашей гостиной (рядом с кабинетом)

Здоровье

Александр Егорович Ризенкампф:

Прежде всего он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез, также землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желез и в других частях, нередко образовались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь за чтением, а еще чаще за писанием разных проектированных рассказов. Утром он тогда был не в духе, раздражался каждой безделицей, ссорился с денщиком, отправлялся расстроенный в Инженерное управление, проклинал свою службу, жаловался на неблаговоливших к нему старших инженерных офицеров и только мечтал о скорейшем выходе в отставку…

Анна Григорьевна Достоевская:

Федор Михайлович страдал эмфиземой, катаром дыхательных путей. Дышал он тяжело, как через материю, сложенную вчетверо. По лестницам едва мог ходить. И вот, к примеру, поднимаемся мы к Полонскому на 5 этаж. Садится он и отдыхает на каждой площадке. Десяток знакомых проходит мимо, видит нас и раскланивается и, конечно, несет хозяевам весть: «идет Достоевский». Немудрено, что когда он входит, уже и хозяин и хозяйка в прихожей, и все наперебой начинают его раздевать, а он задыхается и не может сказать слова. Но чтобы не затруднять, и сам начинает помогать раздеванию, а всякое движение ему вредно. Дома был целый обряд его раздевания — минут десять…

Не любил, когда его спрашивали, как его здоровье, всегда сердился. Часто говорил: говорят про меня, что я угрюм и сердит, а они не знают того, что мне дышать нечем, что у меня воздуху не хватает, что я задыхаюсь. Я дышу как бы через платок.

Михаил Александрович Александров:

Федор Михайлович перед незнакомыми ему людьми любил выказать себя бодрым, физически здоровым человеком, напрягая для этого звучность и выразительность своего голоса…

«Священная болезнь»

Степан Дмитриевич Яновский:

Первая болезнь, для которой Федор Михайлович обратился ко мне за пособием, была чисто местною, но во время лечения он часто жаловался на особенные головные дурноты, подводя их под общее название кондрашки. Я же, наблюдая за ним внимательно и зная много из его рассказов о тех нервных явлениях, которые бывали с ним в его детстве, а также принимая во внимание его темперамент и телосложение, постоянно допускал какую-нибудь нервную болезнь.

Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912), *писатель, публицист, журналист, издатель:*

Падучая болезнь, которою он страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь. В последние годы она как будто ослабела, сделалась реже, но была постоянно в зависимости от напряжения в труде, от огорчений, от жизненных неудач, от той беспощадности, которой так много в нравах русской жизни и русской литературы. Приступы ее он чувствовал и начинал страдать невыразимо; невольно закрадывался в душу страх смерти во время припадка, болезненный, тупой страх, тот дамоклов меч, который висит над такими несчастными на самой тончайшей волосинке. Конечно, мы все знаем, что когда-нибудь умрем, что, может быть, завтра умрем, но это общее положение: оно не страшит нас или страшит только во время какой-нибудь опасности. У Достоевского эта опасность всегда присутствовала, он постоянно был как бы накануне смерти: каждое дело, которое он затевал, каждый труд, любимая идея, любимый образ, выстраданный и совсем сложившийся в голове, — все это могло прерваться одним ударом. Сверх обыкновенных болезней, сверх обыкновенных случаев смерти у него был еще свой случай, своя специальная болезнь; привыкнуть к ней почти невозможно — так ужасны ее припадки. Умереть в судорогах, в беспамятстве, умереть в пять минут — надобна большая воля, чтоб под этой постоянной угрозой так работать, как работал он.

Под влиянием этой вечной угрозы перейти из этой жизни в другую, неведомую, у него образовался какой-то панический страх смерти, и смерти страшной, именно в образе его болезни. Проходил припадок, и он становился необыкновенно жив и говорлив. Однажды я застал его именно в то время, когда он

только что освободился от припадка. Сидя за маленьким своим столом, он набивал себе папиросы и показался мне очень странным — точно он был пьян. «Не удивляйтесь, — глядя на меня, сказал он, — у меня сейчас был припадок».

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Мне хотелось узнать что-нибудь достоверное об ужасной болезни — падучей, которою, как я слышал, страдал Достоевский, но, конечно, я не мог решиться даже и издали подойти к этому вопросу. Он сам будто угадал мои мысли и заговорил о своей болезни. Он сказал мне, что недавно с ним был припадок. — Мои нервы расстроены с юности, — говорил он. — Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот, право — настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно — как только я был арестован — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири и никогда потом я ее не испытывал — я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен… Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мною до этого первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал, — я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого припадка, я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц…

Софья Васильевна Ковалевская:

Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне,

что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.

Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.

Говорили они о том, что обоим всего было дороже, — о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии.

Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть Бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, и больше ничего не помню.

— Вы все, здоровые люди, — продолжал он, — и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели как замагнетизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.

Николай Николаевич Страхов:

Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в

месяц, — таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще; бывало даже и по два припадка в неделю. За границею, то есть при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что месяца четыре проходило без припадка. Предчувствие припадка всегда было, но могло и обмануть. В романе «Идиот» есть подробное описание ощущений, которые испытывает в этом случае больной. Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок обыкновенной силы. Это было, вероятно, в 1863 году, как раз накануне Светлого воскресенья. Поздно, часу в одиннадцатом, он зашел ко мне, и мы очень оживленно разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это был очень важный и отвлеченный предмет. Федор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты.

Припадок на этот раз не был сильный. Вследствие судорог все тело только вытягивалось да на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя, и я проводил его пешком домой, что было недалеко.

Много раз мне рассказывал Федор Михайлович, что перед припадком у него бывают минуты восторженного состояния. «На несколько мгновений, — говорил он, — я испытываю такое счастие, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».

Следствием припадков были иногда случайные ушибы при падении, а также боль в мускулах от перенесенных ими судорог. Изредка появлялась краснота лица, иногда пятна. Но главное было то, что больной терял память и дня два или три чувствовал себя совершенно разбитым. Душевное состояние его было очень тяжело; он едва справлялся со своей тоскою и впечатлительностию. Характер этой тоски, по его словам, состоял в том, что он чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое

злодейство.

Анна Григорьевна Достоевская:

В последний день Масленицы (1867 г. — *Сост.)* мы обедали у родных, а вечер поехали провести у моей сестры. Весело поужинали (тоже с шампанским, как и давеча), гости разъехались, а мы остались посидеть. Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед. В то же время раздался громкий крик моей сестры, сидевшей рядом с моим мужем. Она вскочила с кресла и с истерическими рыданиями выбежала из комнаты. Мой зять бросился за нею.

Впоследствии мне десятки раз приходилось слышать этот «нечеловеческий» вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и путал. Но тогда, к моему удивлению, я в эту минуту нисколько не испугалась, хотя видела припадок эпилепсии в первый раз в жизни. Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силою посадила на диван. Но каков же был мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Отодвинув стул с горевшей лампой, я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол; сама я тоже опустилась и все время судорог держала его голову на своих коленях. Помочь мне было некому: сестра моя была в истерике, и зять мой и горничная хлопотали около нее. Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя; но сначала он не сознавал, где находится, и даже потерял свободу речи: он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его было невозможно. Только, может быть, через полчаса нам удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван. Решено было дать ему успокоиться, прежде чем нам ехать домой. Но, к моему чрезвычайному горю, припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силою, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное! Впоследствии двойные припадки бывали, но сравнительно редко, а на этот раз доктора объяснили чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским, выпитым Федором Михайловичем во время наших свадебных визитов и устроенных в честь «молодых» обедов и вечеров…

Пришлось нам остаться ночевать у моей сестры, так как Федор Михайлович чрезвычайно обессилел, да и мы боялись нового припадка. Какую ужасную ночь я провела тогда! Тут я впервые увидела, какою страшною болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его не прекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно непохожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль!

Но, славу Богу, Федор Михайлович, проспав несколько часов, настолько оправился, что мы могли уехать домой. Но то удрученное и подавленное настроение, которое всегда наступало после припадка, продолжалось более недели. «Как будто я потерял самое дорогое для меня существо в мире, точно я схоронил кого, — таково мое настроение» — так всегда определял Федор Михайлович свое послеприпадочное состояние. Этот двойной припадок навсегда остался тяжелым для меня воспоминанием.

Михаил Александрович Александров:

Я никогда не видел этих припадков, но мне рассказывала о них Анна Григорьевна. Она говорила, между прочим, что обыкновенно Федор Михайлович за несколько дней предчувствовал приближение их. При появлении известных предвестников принимались всевозможные предосторожности: так, между прочим, Федор Михайлович несколько дней не выходил из дома; днем домашние, то есть главным образом Анна Григорьевна, следили за ним, а на ночь возле его постели на диване стлалась другая постель на полу, на случай припадка во время сна. Благодаря этим предосторожностям, опасные последствия припадков предупреждались и тем самым смягчались, иначе легко могло случиться, что Федор Михайлович мог в припадке упасть на улице и разбиться о камни. При всем том, эти припадки так измучивали и обессиливали Федора Михайловича, что он потом оправлялся от каждого из них три-четыре дня; в эти дни он уже ничего не мог делать и никого не принимал, кроме Анны Григорьевны, которая одна в таких случаях умела ухаживать за ним…

Анна Григорьевна Достоевская:

Я вспоминаю о днях нашей совместной жизни как о днях великого, незаслуженного счастья. Но иногда я искупала его великим страданием. Страшная болезнь Федора Михайловича в

любой день грозила разрушить все наше благополучие. Четыре месяца это, пожалуй, был самый большой промежуток между его припадками. Но бывали они и через неделю. Бывали и такие ужасные полосы, когда на неделе случалось два припадка, бывало даже так, что через час после одного начинался второй. Начиналось это обычно страшным нечеловеческим криком, какого нарочно никогда не произнести. Очень Часто я еще успевала перебежать из своей комнаты через промежуточную, заваленную книгами, к нему и застать его, стоявшего с искаженным лицом и шатающегося. Я успевала обнять его сзади и потом опуститься на пол.

Большей частью катастрофа застигала ночью, но бывало это и днем. Он и спал не на постели, а на низеньком широком диване на случай падения. Он ничего не помнил, приходя в себя. Потом жалко и вопросительно произносил: «Припадок?» — «Да, — отвечаю я, — маленький!». — «Как часто! Кажется, был недавно». — «Нет, уж давно не было», — успокаивала я.

После припадка он впадал в сон, но от этого сна его мог пробудить листок бумаги, упавший со стола. Тогда он вскакивал и начинал говорить слова, которых постигнуть невозможно. Ни предотвратить, ни вылечить этой болезни, как вы знаете, нельзя. Все, что я могла сделать, это — расстегнуть ему ворот, взять его голову в руки. Но видеть любимое лицо, синеющее, искаженное, с налившимися жилами, сознавать, что он мучается, и ты ничем не можешь ему помочь, — это было таким страданием, каким, очевидно, я должна была искупать свое счастье близости к нему. Дня четыре после каждого приступа он был разбит физически и духовно — в особенности ужасно было его нравственное страдание.

Период жизни со мною был еще сравнительно более здоровым для Федора Михайловича. Раньше припадки были еще чаще. К концу жизни они стали реже. И каждый раз Федору Михайловичу казалось, что он умирает.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

По зимам 76–77 и 77–78 годов мы продолжали довольно часто видаться. И хотя мы жили на двух противоположных концах города, Достоевский иногда но проводил у меня вечера.

Он приезжал ко мне почти всегда после своих мучительных припадков падучей болезни, так что некоторые наши общие знакомые, узнавая, что у него был припадок, так и говорили, что его нужно искать у меня.

Бедный Федор Михайлович имел достаточно времени привыкнуть к своим припадкам, привыкали к ним и их

последствиям и его старые знакомые, которым все это уже не казалось страшным и считалось обыкновенным явлением. Но он бывал иногда совершенно невозможен после припадка; его нервы оказывались до того потрясенными, что он делался совсем невменяемым в своей раздражительности и странностях.

Придет он, бывало, ко мне, войдет как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и изыскивает всякие предлоги, чтобы побраниться, чтобы обидеть; и во всем видит и себе обиду, желание дразнить и раздражать его… Все-то у меня ему кажется не на месте и совсем не так, как нужно, — то слишком светло в комнате, то так темно, что никого разглядеть невозможно… Подадут ему крепкий чай, какой он всегда любил, — ему подают пиво вместо чая! Нальют слабый — это горячая вода!..

Пробуем мы шутить, рассмешить его — еще того хуже: ему кажется, что над ним смеются…

Впрочем, мне почти всегда скоро удавалось его успокоить. Нужно было исподволь навести его на какую-нибудь из любимых его тем. Он мало-помалу начинал говорить, оживлялся, и оставалось только ему не противоречить. Через час он уже бывал в самом милом настроении духа. Только страшно бледное лицо, сверкающие глаза и тяжелое дыхание указывали на болезненное его состояние.

Долги и доходы

Николай Николаевич Страхов:

Обыкновенно ему приходилось торопиться, писать к сроку, гнать работу и нередко опаздывать с работою. Причина состояла в том, что он жил одною литературою и до последнего времени, до последних трех или четырех лет, нуждался, поэтому забирал деньги вперед, давал обещания и делал условия, которые потом и приходилось выполнять. Распорядительности и сдержанности в расходах у него не было в той высокой степени, какая требуется при житье литературным трудом, не имеющим ничего определенного, никаких прочных мерок. И вот он всю жизнь ходил, как в тенетах, в своих долгах и обязательствах и всю жизнь писал торопясь и усиливаясь.

Анна Григорьевна Достоевская:

Я хочу объяснить, как именно явились эти столь замучившие нас обоих долги.

Лишь самая малая доля их, тысячи две-три, была сделана лично Федором Михайловичем. Главным же образом то были долги Михаила Михайловича по табачной фабрике и по журналу «Время». После неожиданной смерти Михаила Михайловича (он проболел лишь три дня) семья его, жена и четверо детей, привыкшие к обеспеченной, даже широкой жизни, остались без всяких средств. Федор Михайлович, к тому времени овдовевший и не имевший детей, счел своею обязанностью заплатить долги брата и поддержать его семью. Возможно, что ему и удалось бы исполнить свое благородное намерение, если бы он имел осторожный и практический характер. К сожалению, он слишком верил в людскую честность и благородство. Когда впоследствии я слышала рассказы очевидцев о том, как Федор Михайлович выдавал векселя, и из старинных писем узнавала подробности многих фактов, то поражалась его чисто детской непрактичностью. Его обманывали и брали от него векселя все, кому было не совестно и не лень. При жизни брата Федор Михайлович не входил в денежную часть журнала и не знал, в каком положении дела находятся. Когда же после смерти Михаила Михайловича мужу пришлось взять на себя издание журнала «Эпоха», то пришлось взять на себя и все оставшиеся неуплаченными долги по изданию журнала «Время», по типографии, бумаге, переплетной и проч. Но, кроме известных Федору Михайловичу сотрудников «Времени», к нему стали являться люди, большею частью совершенно ему неизвестные,

которые уверяли, что покойный Михаил Михайлович остался им должен. Почти никто не представлял тому доказательств, да Федор Михайлович, веривший в людскую честность, их и не спрашивал. Он (как мне передавали) обыкновенно говорил просителю:

— Сейчас у меня никаких денег нет, но, если хотите, я могу выдать вексель. Прошу вас только скоро с меня не требовать. Уплачу, когда будет можно.

Люди брали векселя, обещали ждать и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно.

Приведу случай, правдивость которого мне пришлось проследить по документам.

Один малоталантливый писатель Х., помещавший свои произведения во «Времени», явился к Федору Михайловичу с просьбою уплатить ему двести пятьдесят рублей за повесть, помещенную в журнале еще при жизни Михаила Михайловича. По обыкновению, денег у мужа не оказалось, и он предложил вексель. Х. горячо благодарил, обещал ждать, когда у Федора Михайловича поправятся дела, а вексель просил дать бессрочный, чтобы не иметь надобности по наступлении срока его протестовать. Каково же было изумление Федора Михайловича, когда через две недели с него потребовали по этому векселю деньги и хотели приступить к описи имущества. Федор Михайлович поехал к Х. за объяснением. Тот смутился, стал оправдываться, уверять, что хозяйка грозила прогнать его с квартиры, и он, доведенный до крайности, отдал ей вексель Федора Михайловича, взяв с нее слово, что она подождет взыскивать деньги. Обещал еще раз поговорить с нею, убедить ее и т. д. Разумеется, из переговоров ничего не вышло, и Федору Михайловичу пришлось за большие проценты занять деньги для уплаты этого долга.

Лет через восемь, пересматривая по какому-то случаю бумаги Федора Михайловича, я нашла записную книжку по редакции «Времени». Представьте мое удивление и негодование, когда я нашла в ней расписку писателя Х. в получении от Михаила Михайловича денег за эту же повесть! Я показала расписку мужу и услышала в ответ:

— Вот уж не думал, что Х. способен был меня обмануть! До чего доводит человека крайность!

По моему мнению, значительная часть взятых на себя Федором Михайловичем долгов была подобного рода. Их было около двадцати тысяч, а с наросшими процентами, к нашему возвращению из-за границы, оказалось около двадцати пяти. Уплачивать нам пришлось в течение тринадцати лет. Лишь за год

до смерти мужа мы, наконец, с ними расплатились и могли дышать свободно, не боясь, что нас будут мучить напоминаниями, объяснениями, угрозами описи и продажи имущества и проч.

Для уплаты этих фиктивных долгов Федору Михайловичу приходилось работать сверх сил и тем не менее отказывать и себе, и всей нашей семье не только в довольстве, в комфорте, но и в самых насущных наших потребностях. Как счастливее, довольнее и спокойнее могли бы мы прожить эти четырнадцать лет нашей супружеской жизни, если бы над нами не висела всегда забота об уплате долгов…

Эти взятые на себя долги были вредны Федору Михайловичу и в экономическом отношении: в то время когда обеспеченные писатели (Тургенев, Толстой, Гончаров) знали, что их романы будут наперерыв оспариваться журналами, и они получали по пятьсот рублей за печатный лист, необеспеченный Достоевский должен был *сам предлагать* свой труд журналам, а так как предлагающий всегда теряет, то в тех же журналах он получал значительно меньше. Так, он получил за романы «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы» по полтораста рублей за печатный лист; за роман «Подросток» — по двести пятьдесят рублей и только за последний свой роман «Братья Карамазовы» — по триста рублей.

Николай Николаевич Страхов:

«Дневник писателя» на 1876 год имел 1982 подписчика, и кроме того в розничной продаже каждый номер расходился в 2000–2500 экземплярах. Некоторые номера потребовали 2-го и даже 3-го издания, например январский.

В 1877 году было около 3000 подписчиков и столько же расходилось в розничной продаже.

Один номер, выпущенный в 1880 году (август) и содержавший в себе речь о Пушкине, был напечатан в 4000 экземплярах и разошелся в несколько дней. Было сделано новое издание в 2000 экз. и разошлось без остатка.

«Дневник» на 1881 год печатался в 8000 экземплярах и имел в январе, прежде выхода первого номера, 1074 подписчика. Все 8000 были распроданы в дни выноса и погребения. Сделано было второе издание в 6000 экземплярах и разошлось без остатка… В 1873 году 24-го января вышли «Бесы» в 3500 экземплярах.

В 1874 году, 24-го января «Идиот» в 2000 экземплярах, а 21-го декабря 1875 года «Записки из Мертвого дома» в 2000 экземплярах.

В 1876 году 18-го декабря «Преступление и наказание» в 2000

экземплярах.

В 1879 году 10-го ноября «Униженные и оскорбленные» в 2400 экземплярах. В конце 1880 года «Братья Карамазовы» в 4000 экземплярах.

Федор Михайлович необыкновенно радовался поправлению своих денежных дел. Он истинно гордился не только успехом своих сочинений, но и тем, что они дают ему хороший доход, позволили ему расплатиться с долгами и принесли ему достаток. Вспоминая о тех трудах, в которых он прожил свою жизнь, он иногда горько жаловался на свою судьбу и особенно мучился мыслью, что если скоро умрет (а плохое здоровье часто наводило на эти мысли), то оставит семью в бедности. Поэтому всякий успех в денежных делах был ему истинною отрадою, давал ему надежду на лучшую судьбу дорогих ему существ, утешал и оправдывал его в собственных его глазах. В одной из его записных книг сохранился листок, на котором он тщательно подводил итог чистого дохода, выручавшегося со всех его изданий. Вот эта записка:

В 1877 году

«Преступление и наказание» продано на — 487 р. 12 к.

Переплетенных экземпляров «Дневника» 1876 г. — 497 р. 80 к.

«Бесы», «Идиот», «Записки из Мертвого дома» — 561 р. 63 к.

От 1876 года — + 295 р. 40 к.

Итого — 1841 р. 95 к.

В 1878 году

«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» — 1199 р. 50 к.

«Преступление и наказание» — 548 р. 98 к.

Переплетенных экземпляров 1877 года — 346 р. 50 к.

Переплетенных экземпляров 1876 года — 281 р. 68 к.

Итого — 2376 р. 66 к.

В 1879 году

«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» — 1271 р. 99 к.
«Преступление и наказание» — 797 р. 16 к.
Переплетенных «Дневника» 1877 года — 121 р. 2 к.
Переплетенных «Дневника» 1876 года — 98 р. 61 к.
+ «Униженные и оскорбленные» — 227 р. 24 к.
Итого — 2516 р. 2 к.

В 1880 году

«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» — 1287 р. 20 к.
«Преступление и наказание» — 933 р. 99 к.
«Дневник» 1877 года — 219 р. 14 к.
«Дневник» 1876 года — 247 р. 6 к.
Итого — 2687 р. 39 к
+ «Униженные и оскорбленные — 548 р. 51 к.
+ «Дневник» 1880 года — 893 р. 87 к.
Итого — 4129 р. 77 к
«Братья Карамазовы» — 3681 р. 50 к.
Всего — 7811 р. 27 к.

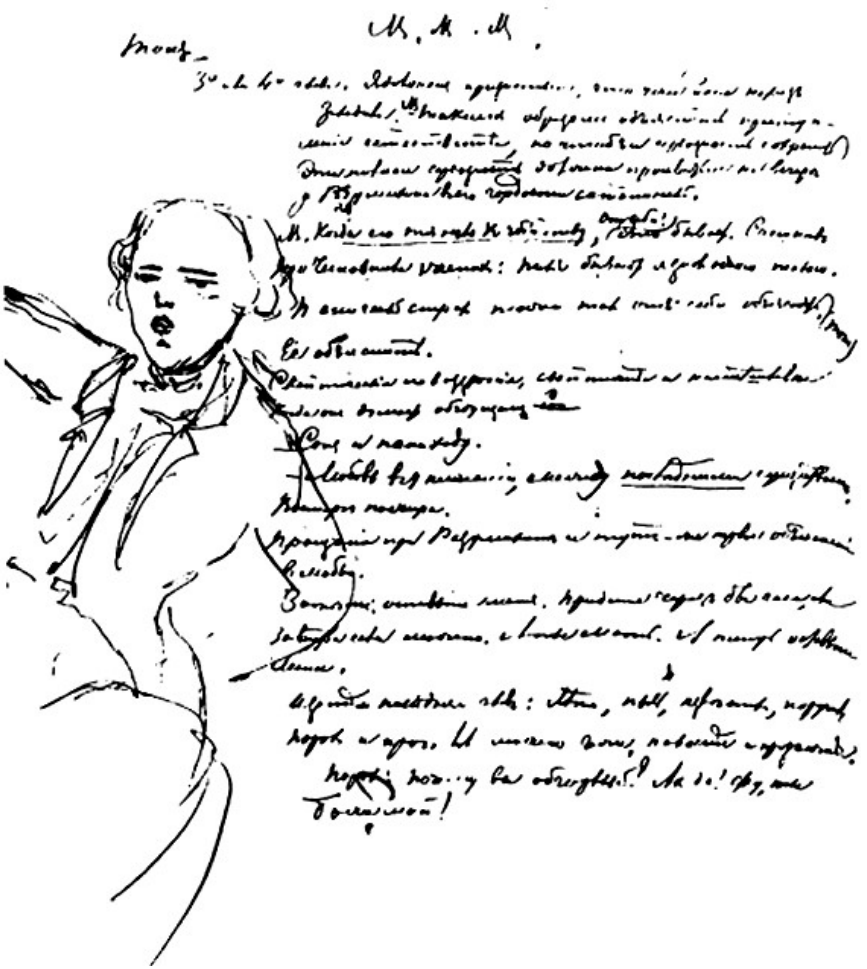
«Прибавим к этому для полного понятия о делах Федора Михайловича те суммы, какие получались за новые романы, печатавшиеся в журналах. За «Подростка», печатавшегося в «Отечественных записках», получалось по 250 р. с печатного листа; за «Братьев Карамазовых» по 300 р.

В 1878 году Федор Михайлович в последний раз обращался с просьбой о деньгах к редакции «Русского вестника», так долго и радушно поддерживавшей своего сотрудника и большими и малыми ссудами. После 1878 года уже никаких займов не делалось и началось собирание небольшого капитала.

Анна Григорьевна Достоевская:

Под Новый год, 30 и 31 дек<абря> он сводил счеты по продаже в том году наших изданий и был донельзя доволен, если книги шли хорошо.

Родные и близкие



Родители

Андрей Михайлович Достоевский:

Отец мой Михаил Андреевич Достоевский, окончив свою общественную деятельность, был коллежский советник и кавалер трех орденов. Он был уроженец Каменец-Подольской губернии. Фамилия Достоевских принадлежит к числу очень древних дворянских фамилий; по крайней мере в родословной книге кн. Долгорукова дворянская фамилия эта отнесена к существовавшим ранее 1600 года литовским фамилиям; однофамильцев же у нас не имелось и не имеется. Я слышал, что и по настоящее время в Каменец-Подольской губернии есть местечко Достоево, принадлежавшее когда-то нашим предкам. Из некоторых бумаг покойного отца, случайно перешедших ко мне, видно, что отец моего отца, то есть мой дед Андрей, по батюшке, кажется, Михайлович, был священник. Про мать же свою мой отец, сколько я могу упомнить, отзывался с особенным уважением, представляя ее женщиной не только умною, но и влиятельною в своем крае по своему родству; девической фамилии ее, впрочем, я не знаю.

Так как дед мой непременно хотел, чтобы его сын, а мой отец, пошел по его же стопам, то есть сделался священником, и так как отец мой не чувствовал к этой профессии призвания, то он, с согласия и благословения матери своей, удалился из отческого дома в Москву, где и поступил в Московскую Медико-хирургическую академию студентом. По окончании курса наук в Академии, он в 1812 году был командирован на службу лекарем, первоначально в Головинскую и Касимовскую временные военные госпитали, а затем в Бородинский пехотный полк, где получил звание штаб-лекаря. Из Бородинского полка был переведен ординатором в Московскую военную госпиталь в 1818 году. Затем был уволен из военной службы и назначен лекарем в Московскую Марьинскую больницу, со званием штаб-лекаря, в марте месяце 1821 года, где я и родился и где отец мой, покончив свою служебную деятельность в 1837 году, прослужил все двадцать пять лет. Из разговоров отца с моею матерью я усвоил себе то, что у отца моего в Каменец-Подольской губернии, кроме родителей его, остался брат, очень слабого здоровья, и несколько сестер; что после окончания курса наук и, вообще, сделавшись уже человеком и общественным деятелем, отец мой неоднократно писал на родину и вызывал оставшихся родных на отклик и даже, как кажется, прибегал к печатным о себе объявлениям; но никаких известий не получал от своих родных. <…> В заключение к сведениям об отце я могу добавить следующее: хотя, как выше я

высказал, дворянский род наш один из древних, но или вследствие того, что отец мой, оставив родину, скрылся из дому своих родителей, не имев при себе всех документов о своем происхождении, или по другим каким причинам, он, дослужившись до чина коллежского асессора и получив орден (что давало тогда право на потомственное дворянство), зачислил себя и всех сыновей к дворянству Московской губернии и записан в 3-ю часть Родословной книги. Помню то, что когда ему говорили, зачем он не хлопотал о доказательствах своего древнего дворянского происхождения, то он с улыбкой отвечал, что он не принадлежит к породе *Гусей* (басня Крылова «Гуси» тогда была в большой моде). Но собственно-то он не хлопотал оттого, что это стоило бы больших денег.

Теперь расскажу все, что я знаю о происхождении и родстве моей матери.

Мать моя — Марья Федоровна, урожденная Нечаева. Родители ее были купеческого звания. Отец ее Федор Тимофеевич Нечаев, которого я еще помню в своем детстве как дорогого и любимого баловника-дедушку, до 1812 года, то есть до Отечественной войны, был очень богатый человек и считался, то есть имел тогдашнее звание именитого гражданина. Во время войны он потерял все свое состояние, но, однако же, не сделался банкротом, а уплатил все свои долги до копейки. Помню как сквозь сон рассказы моей матери, как она, бывши девочкой двенадцати лет, в сопровождении своего отца и всего его семейства, выбрались из Москвы только за несколько дней до занятия ее французами; как отец ее, собравши, сколько мог, свои деньги, которые, как у коммерческого человека, находились в различных оборотах, вез их при себе; что все эти капиталы были в бумажных деньгах (ассигнациях); что, проезжая брод через какую-то речку, карета их чуть не утонула со всеми пассажирами и лошадьми, и что они все спаслись каким-то чудом, выпрыгнувши или быв вытащенными из экипажа посторонними лицами; что, вследствие того, что карета долгое время оставалась в воде, все ассигнации до того промокли, что оказались вовсе потерянными; что, Приехавши на место, они долгое время старались сколь возможно *отделять* ассигнации друг от друга и просушивать их на подушках, но что из этого ничего не вышло. Равным образом, не удалось им этого сделать и по просушке пачек ассигнаций. Таким образом весь наличный капитал деда был тоже потерян…

Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностию детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это

считалось отцом за неприличное, между тем как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже семнадцать, а брату Федору почти шестнадцать. В пансион они всегда ездили на своих лошадях и точно так же и возвращались. Родители наши были отнюдь не скупы, скорее даже тороваты; но, вероятно, по тогдашним понятиям считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги. Я не помню, чтобы братья имели в своем распоряжении хотя несколько мелких монет, и, вероятно, они ознакомились с деньгами только тогда, когда отец оставил их в Петербурге.

Я упоминал выше, что отец не любил делать нравоучений и наставлений; но у него была одна, как мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертию его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину! Я припоминаю еще и другие слова отца, которые служили не нравоучением, а скорее остановкою и предостережением. Я уже говорил неоднократно, что брат Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька неоднократно говаривал: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе… быть тебе под красной шапкой!» Привожу слова эти, вовсе не ставя их за пророческие, — пророчество есть следствие предвидения: отец же никогда и предположить не хотел и не мог, чтобы дети его учинили что-нибудь худое, так как он был в детях своих уверен. Привел же слова эти в удостоверение пылкости братнина характера во время его юности.

В заключение не могу не упомянуть о том мнении какое брат Федор Михайлович высказал мне о наших родителях. Это было не так давно, а именно в конце 70-х годов; я как-то, бывши в Петербурге, разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: «Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые… и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами… нам с тобою не быть, брат!..»

Няня Алёна Фроловна

Андрей Михайлович Достоевский:

Говоря о нашем семействе, я не могу не упомянуть об личности, которая входила в него всею своею жизнию, всеми своими интересами. Это была няня Алёна Фроловна. — Алёна Фроловна была действительно замечательная личность, и, как я начинаю себя помнить, не только была в уважении у моих родителей, но даже считалась как бы членом нашего дома, нашей семьи! Она не была нашею крепостною, но была московская мещанка, и званием этим очень гордилась, говоря, что она не из простых. Поступила она к нам в няни еще к сестре Вареньке, следовательно до моего рождения, и потом вынянчила всех нас. Нянчить или смотреть за нами она начинала не со дня нашего рождения, но с отнятием нас от груди от кормилицы. Меня Алёна Фроловна считала почему-то первым и настоящим своим пестуном, игнорируя в этом отношении сестру Варю, и это служило предметом частых наших детских споров. С того времени, как я начинаю ее помнить, ей было уже лет под пятьдесят. Она была для женщины довольно высокого росту и притом очень толста, так что живот ее почти висел до колен. Ела она страшно много, но только два раза в день; чай же пила без хлеба вприкуску. Кроме обязанности няни, и то только чистой няни, так как стирка детского белья ею не производилась, она занимала еще обязанность ключницы, которую приняла на себя добровольно и постепенно, чтобы помочь маменьке по хозяйству. Она заведовала кладовою и отчасти погребом, выдавая кухарке всю провизию, а также и всеми закусками и десертом. Мы все называли ее нянюшкою и говорили ей «ты», но зато и она всем нам говорила тоже «ты» не только во время нашего детства, но и впоследствии, когда мы были уже совершенно взрослыми. Отец и мать называли ее всегда Алёной Фроловной, или просто Фроловной, а она их (единственная из прислуг) называла по имени и отчеству, то есть Михаилом Андреевичем и Марьею Федоровною. Вся же прочая прислуга называла их барином и барыней. Алёна Фроловна как поступила в дом наш на жалованье в 5 рублей ассигнациями (ныне 1 р. 43 к.), так и оставила наше семейство после смерти родителей, прожив более пятнадцати лет, получая то же жалованье. Но, впрочем, собственно говоря, она не получала его, говоря, что у родителей оно будет сохраннее; и затем, после смерти их, опека должна была уплатить Алёне Фроловне до 200 рублей серебром. Она была девицей и называла себя Христовой невестой. Никогда и никто не помнил, чтобы она

засиживалась в кухне, объясняя это тем, что в кухне бывают различные разговоры, которые ей, как Девице, слушать непристойно. Родители улыбались, слушая это, но сами были очень довольны такими поступками Алёны Фроловны. Обедала и ужинала она всегда в детской, куда ей приносили всех кушаньев прямо со стола нашего…

Постов Алёна Фроловна очень строго не придерживалась, говоря, что она человек подневольный и что с нее за это не взыщется, но зато она почитала страшным грехом есть что-нибудь без хлеба. По ее мнению, только кашу, и то гречневую, да пироги можно есть без хлеба, потому что это тот же хлеб; но при этом прибавляла, что греха большого не будет, ежели ошибкою поешь каши и пирога с хлебом. — «Ты, батюшка, откуси сперва хлебца, а потом возьми в рот кушанье… так Бог велел!» — это было всегдашнее ее поучение. Помню, что я, бывши уже почти готовым к общему столу, евши суп или щи, заявил ей свое мнение, что я покрошу хлеб в суп и буду так есть. На это она сказала: «Ты покрошить-то покроши, оно вкусно бывает; а в ручку-то все-таки возьми хлеба, и употребляй как всегда, а то грешно будет, значит ты пренебрегаешь хлебом…»

Одну слабость имела нянюшка, и эта слабость была причиною еженедельных трат ее на целый пятачок!.. Она нюхала табак. К ней, я помню, всякую неделю, в один и тот же день, ходил табачник, у которого она приобретала недельный запас табаку. Табачник этот, как теперь помню, был очень невзрачный и неопрятный старикашка, но, производя у него покупку, няня всегда вступала с ним в разговоры, и это послужило поводом к тому, что папенька в шутку называл его женихом Фроловны. — «Тьфу, Господи прости! — возражала она на это, — мой жених — Христос, царь небесный, а не какой-нибудь табачник!» — Но, впрочем, за эту шутку на папеньку не сердилась, и он продолжал называть табачника женихом ее…

Со двора, то есть в гости, Фроловна почти никогда не ходила. Раз в год или в полтора года она получала известие о приезде в Москву родной сестры своей Натальи Фроловны, которая была монахиней в Коломенском женском монастыре и во время приездов своих в Москву останавливалась в каком-нибудь московском женском монастыре. Тогда нянюшка с раннего утра наряжалась и ехала к сестре в гости на целый день до вечера, и маменька в то время бывала (как говаривала сама) как бы без рук. Через несколько дней сестра отплачивала няне визит, также проводя целый день в нашем доме. И этим и кончались все выезды и приемы нашей Алёны Фроловны.

Одевалась Фроловна всегда очень чисто и ежедневно была в

белых кисейных чепцах, а по праздникам и в тюлевых. Отличались эти чепцы громадными оборками; бывало, как она идет несколько скорее обыкновенного, то оборки эти так и поднимаются вверх.

Время от времени с няней по ночам случались оказии, — она во сне начинала кричать. Не знаю, как и выразиться, — это не был крик, а был какой-то неистовый вой… и тогда-то отец должен был сам вставать с постели и насилу-насилу удавалось ему привести в сознание Фроловну. На другой день всегда было отец спрашивает: «Что это опять случилось с тобою ночью, Фроловна?» — «Да что, Михаило Андреевич, опять домовой душил, такой страшный, с рогами» и т. д. — «Да ты бы, Фроловна, поменьше ела за ужином», — говорил папенька. — «Пробовала, по вашему совету, батюшка, — отвечала она, — да еще хуже… все цыгане снятся, и всю ночь не спится… более все ходишь». — «Ну, уж как себе хочешь, — отвечал папенька, — но предупреждаю тебя, ежели опять ты завоешь, я велю выпустить из тебя фунта три крови!» — И, действительно, почти ежегодно ей кидали кровь, и день, в который это совершалось, был самым постным для Фроловны днем, потому что в этот день сам папенька следил за питанием Фроловны, и после этого она всегда говаривала, что *она исчезает,* желая высказать этим, что она похудела и отощала.

Брат Михаил

Александр Егорович Ризенкампф:

Влияние старшего брата на Федора Михайловича было огромное, и жизнь их почти постоянно находилась в тесной связи, скрепившейся их неизменной дружбой и братскою любовью. Замечательно, что оба брата отличались в значительной степени друг от друга сложением, характером и типом физиономии. Михаил Михайлович на шестнадцатом году был таков же, каковым он остался во всю жизнь: невысокого роста, худощав, с несколько впалою грудью, лицо его было очень красивое, умное, продолговатое, слегка смуглое, осененное длинными каштановыми волосами; несмотря на постоянную бледность, цвет его был здоровый; глаза темно-голубые, открытые, весьма выразительные, часто оживленные, почти огненные; нос продолговатый, слегка сгорбленный; губы тонкие, подвижные, нередко сжимавшиеся в виде насмешки. Разговор его был при первой встрече, особенно в кругу незнакомых людей, сдержанный, осторожный; затем, коль скоро удалось возбудить его сочувствие или затронуть живую нотку по которому-нибудь из любимых предметов, например литературе, музыке, он делался более сообщительным и, наконец, вдохновлялся; в декламации не было ему подобных…

Михаила Михайловича я никогда не видел сердитым; в минуту неудовольствия он разве пустит, бывало, какую-нибудь тонкую, нередко едкую насмешку; это был человек общества, не увлекавшийся, большею частью ласковый, хотя часто и холодный, обходительный, вследствие природной доброты всегда склонный к оптимизму.

Федор Михайлович Достоевский. *Из статьи «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском»:*

Это был человек, с уважением относившийся к своему делу, всегда сам занимавшийся им, никому не доверявший даже на время своих редакторских обязанностей и работавший беспрерывно. Он был человек образованный, развитый, уважавший литературу и сам литератор, страстно любивший поэзию, и сам поэт. С жаждой идеала и с потребностью нравственного убеждения он принимал свои убеждения самостоятельно и не прежде, как пережив их в себе, так сказать, органически.

Наблюдательность и вдумчивость в жизненные явления во многом обеспечивали его от ошибок и придавали всегдашнюю

трезвость взгляду его. Он горячо, с страстным участием следил за движением современной общественной жизни и, сколько я помню, почти всегда составлял себе о нем точное мнение. Он был знаток европейских языков и литератур, много читал и всегда умел угадать то, что надо читателю и чем наиболее интересуется русский читатель в данный момент. Состав книжек журнала, выбор статей, выбор вопросов, о которых именно теперь нужно бы говорить и о чем журналу надо Дать свое мнение, — все это почти вполне принадлежало самому Михаилу Михайловичу. Он охотно высушивал советы, охотно сам спрашивал их, во многом не признавая себя судьею; но, выслушав совет. Почти всегда поступал самостоятельно. Это был человек скромности даже необыкновенной, но в высшей степени полной самого благородного самоуважения, о чем особенно знали все наиболее близкие к нему люди. Но он редко с кем сходился близко; для этого ему надо было сойтись с человеком вполне, любовно, сердцем, а сердца своего он не отдавал легко, без разбору; те же, кого он любил, знают, как он умел любить. Мнения свои он высказывал осторожно, не любил длить споров, метко отличал убеждение серьезное от болтовни или от напускного увлечения. Сотрудника он оценял с первого разу и почти всегда безошибочно. Я сказал, что он сам был поэтом и литератором. Когда-то, в молодости своей, он занимался даже художественной литературой. Он написал несколько повестей и рассказов. Их хвалили, и в них, действительно, были признаки таланта, особенно в одном небольшом рассказе, помещенном в «Отечественных записках» в 48 году. Но некоторый успех, приобретенный им с первого разу, не соблазнил Михаила Михайловича. Всегда строгий и требовательный к самому себе и не признавая в себе решительного творчества, он перестал писать. Этот трезвый и даже несколько гордый взгляд на свои литературные труды весьма редко встречается в молодых начинающих писателях; а Михаил Михайлович, по моему личному мнению, был уж слишком строг к трудам своим. Несколько более ценил он свои переводы из Шиллера и Гете. Самые значительные из этих переводов: «Дон Карлос» Шиллера, появившийся сначала в «Отечественных записках» и потом в издании г-на Гербеля, и «Рейнеке-Лис» Гете, изданный года три назад отдельною книгой, тоже вторым изданием. Впрочем, брат мой никогда и ни с кем не заговаривал сам о литературных трудах своих…

Михаил Михайлович был человек настойчивый и энергический. Он принадлежал к разряду людей деловых, разряду весьма между нами немногочисленному, к разряду людей, не

только умеющих замыслить и начать дело, но и умеющих довести его до конца, несмотря на препятствия. К несчастию, характер покойного был в высшей степени восприимчивый и впечатлительный. При этой восприимчивости впечатлений он мало доверял их другим, хранил их в глубине себя, мало высказывался, особенно в несчастьях и неудачах. Когда он страдал, то страдал один и не обременял других своею экспансивностью. Только удачу, радость любил он делить добродушно с своими домашними и близкими; в такие минуты он не мог и не хотел быть один. Это определение его характера почти слово в слово совпадает с тем, что накануне его смерти было высказано консилиумом докторов о свойствах характера Михаила Михайловича.

Первая жена Мария Дмитриевна

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914), *государственный и общественный деятель, ученый-географ и статистик:*

Молодая еще женщина (ей не было и тридцати лет), Исаева была женой человека достаточно образованного, имевшего хорошее служебное положение в Семипалатинске и скоро, по водворении Ф. М. Достоевского, ставшего к нему в приятельские отношения и гостеприимно принимавшего его в своем доме. Молодая жена Исаева, на которой он женился еще во время своей службы в Астрахани, была астраханская уроженка, окончившая свой курс учения с успехом в Астраханской женской гимназии, вследствие чего она оказалась самой образованной и интеллигентной издам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Ф. М. Достоевский, она была «хороший человек» в самом высоком значении этого слова. Сошлись они очень скоро. В своем браке она была несчастлива. Муж ее был недурной человек, но неисправимый алкоголик, с самыми грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости. Поднять его нравственное состояние ей не удалось, и только заботы о своем ребенке, которого она должна была ежедневно охранять от невменяемости отца, поддерживали ее. И вдруг явился на ее горизонте человек с такими высокими качествами души и с такими тонкими чувствами, как Ф. М. Достоевский. Понятно, как скоро они поняли друг друга и сошлись, какое теплое участие она приняла в нем и какую отраду, какую новую жизнь, какой духовный подъем она нашла в ежедневных с ним беседах и каким и она в свою очередь служила для него ресурсом во время его безотрадного пребывания в не представлявшем никаких духовных интересов городе Семипалатинске.

Александр Егорович Врангель:

Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже

привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падучая болезнь, что У него нужда в средствах крайняя, да и человек он «без будущности», говорила она. Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости.

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская):

<Как-то Достоевский> поразил меня нежданным признанием:

— А знаете, какой я вам сейчас скажу комплимент? наверное вы такого ни от кого не слыхали. — И, помолчав, он прибавил: — Вы мне чрезвычайно напоминаете мою первую жену. Я ведь женат вторично, и от второй жены у меня уже двое детей. А впервые я женился еще в Сибири. И первая жена — вы и лицом и фигурой удивительно на нее похожи, — она, бедная, умерла от чахотки…

— Комплимент вам тут, конечно, не потому, что это была жена моя, — продолжал Федор Михайлович, — что же это за комплимент! — а потому, что была это женщина души самой возвышенной и восторженной. Сгорала, можно сказать, в огне этой восторженности, в стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова — да! — и чиста, и наивна притом была совсем как ребенок. Хотя, когда я женился на ней, у нее был уже сын. Я женился уже на вдове. Ну, что же, довольны вы моим комплиментом? — закончил он тоном шутки.

Николай Николаевич Фон-Фохт:

Первую супругу нашего знаменитого писателя я видел только один раз в Москве, у Ивановых, и она на меня произвела впечатление в высшей степени болезненной и нервно-расстроенной женщины.

Николай Николаевич Страхов:

Помню, как я в первый раз увидел, почти мельком, его первую жену, Марью Дмитриевну; она произвела на меня очень приятное впечатление бледностию и нежными чертами своего лица, хотя эти черты были неправильны и мелки; видно было и расположение к болезни, которая свела ее в могилу.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма А. Е. Врангелю 31 марта–14 апреля 1865 г.:*

О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Все расскажу Вам при свидании, — теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному,

мнительному и болезненно фантастическому характеру), — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, а чувство все то же, не уменьшается..

Пасынок Павел Александрович Исаев

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Н. Майкову 21–22 марта 1868 г.:*

Пашу мне бедная Марья Дмитриевна на смертном одре оставила! Как можно совсем бросить?.. Нет-нет, а все-таки надо помочь, тем более, что я его искренно люблю; я ведь его в моем доме больше 10 лет растил! Все равно что сын. Мы с ним жили вместе. И в таких ранних летах, и одного, на свои собственные руки оставить — да разве это возможно!.. Ветрогон он большой, правда; да ведь я, может быть, в его лета, еще хуже его был (я помню). Тут-то и поддержать. Доброе, хорошее впечатление в его сердце теперь оставить, — это ему при дальнейшем развитии пригодится.

Анна Григорьевна Достоевская:

Не скажу, чтобы Павел Александрович Исаев был глупый или недобрый человек. Главная его беда заключалась в том, что он никогда не умел понимать своего положения. Привыкнув с детства видеть от всех родных и друзей Федора Михайловича доброту и любезность, он принимал это как должное и никогда не понимал, что это дружелюбное к нему отношение проявляется не столько ради его самого, сколько ради Федора Михайловича. Вместо того чтобы ценить и заслужить любовь расположенных к нему лиц, он поступал так необдуманно, относился ко всем так небрежно и свысока, что только огорчал и раздражал этим людей. Особенно много неприятностей перенес от Павла Александровича (ради Федора Михайловича, конечно) глубокоуважаемый Аполлон Николаевич Майков, старавшийся в хорошую сторону направить его мысли и поступки, но, к сожалению, безуспешно.

Точно так же небрежно и свысока относился он и к своему отчиму, хотя постоянно называл его «отцом», а себя «сыном» Достоевского. Сыном Федора Михайловича он не мог быть потому, что родился в 1845 году в Астрахани, а Федор Михайлович до 1849 года не выезжал из Петербурга.

Живя с двенадцати лет у Федора Михайловича и видя его к себе доброту, Павел Александрович был глубоко убежден, что «отец» должен жить исключительно для него, для него же работать и доставлять деньги; сам же он не только не помогал Федору Михайловичу в чем-либо и не облегчал ему жизнь, но, напротив, своими необдуманными поступками и легкомысленным поведением часто его очень раздражал и даже доводил, как говорили близкие, до припадка. Самого Федора

Михайловича Павел Александрович считал «отжившим стариком», и его желание личного счастья казалось ему «нелепостью», о чем он открыто говорил родным.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к И. Майкову 18 мая 1868 г.:*

Что с ним будет, не знаю, — только Богу молюсь за него… Он смотрит на меня единственно только как на обязанного посылать ему деньги…

Анна Григорьевна Достоевская:

Он не просил, а *требовал* и был глубоко убежден, что имеет на это право.

При каждой крупной получке денег Федор Михайлович непременно давал пасынку значительную сумму. Но у того постоянно являлись экстренные нужды, и он приходил к отчиму за деньгами, хотя отлично знал, как тяжело нам живется в материальном отношении.

— Ну, что папа? Как его здоровье? — спрашивал он меня, входя. — Мне необходимо с ним поговорить: до зарезу нужны сорок рублей.

— Ведь вы знаете, что Катков ничего еще не прислал и у нас денег совсем нет, — отвечала я. — Сегодня я заложила свою брошь за двадцать пять рублей. Вот квитанция, посмотрите!

— Ну, что ж! Заложите еще что-нибудь.

— Но у меня все уже заложено.

— Мне необходимо сделать такую-то издержку, — настаивал пасынок.

— Сделайте ее тогда, когда мы получим деньги.

— Я не могу отложить.

— Но у меня нет денег!!

— А мне что за дело! Достаньте где-нибудь.

Я принималась уговаривать Павла Александровича просить у отчима не сорок рублей, которых у меня нет, а пятнадцать, чтобы у меня самой осталось хоть пять рублей на завтрашний день. После долгих упрашиваний Павел Александрович уступал, видимо считая, что делает мне этим большое одолжение. И я давала мужу пятнадцать рублей для пасынка, с грустью думая, что на эти деньги мы спокойно бы прожили дня три, а теперь завтра опять придется идти закладывать какую-нибудь вещь. Не могу забыть, сколько горя и неприятностей причинил мне этот бесцеремонный человек!

Любовь Федоровна Достоевская:

Хотя Павел Исаев, сын офицера, происходил из хорошей семьи (его отец был потомственным дворянином), воспитывался в кадетском корпусе с вежливыми и благонравными мальчиками, а каникулы проводил всегда у моего дяди Михаила, принимавшего весь цвет литературы того времени, вел он себя точно так, как, вероятно, вели себя его предки по материнской линии в каком-нибудь оазисе Сахары; мне редко приходилось видеть столь странный атавизм. Злой и бесстыдный, он говорил всем дерзости и всех обижал. Наши родные возмущались и жаловались на него отцу. Достоевский сердился и выставлял своего пасынка за дверь; но, подобно самой природе, Павел Исаев вновь появлялся через окно. Он продолжал цепляться за своего «папу», ничего не делал и требовал денег. Друзья Достоевского ненавидели его пасынка и никогда не приглашали к себе. Они хотели убрать этого тунеядца с шеи моего отца и предлагали ему отличные места в частных банках. В министерстве он служить не мог, так как не окончил государственную школу. Всякий разумный человек сделал бы все возможное, чтобы удержаться на предложенном месте и обеспечить свое будущее. Но Павел Исаев нигде долго не задерживался. Он не только с коллегами, но и с начальниками обращался как с рабами, беспрестанно говорил о своем отчиме, известном писателе Достоевском, среди друзей которого есть великие князья и министры, и угрожал своим коллегам его всемогущей местью. Сначала над этой манией величия смеялись; но, потеряв терпение, выставляли Павла Исаева за дверь, и тогда он опять возвращался к Достоевскому, как «фальшивая монета».

Аполлинария Суслова

Елена Александровна Штакеншнейдер:

8 апреля, 1862. Мама шла к Сусловой в полной уверенности, что девушка с остриженными волосами, в костюме, издали похожем на мужской, девушка, везде являющаяся одна, посещающая (прежде) университет, пишущая, одним словом — эмансипированная, должна непременно быть не только умна, но и образованна. Она забыла, что желание учиться еще не ученость, что сила воли, сбросившая предрассудки, вдруг ничего не дает. Суслова могла быть чрезвычайно умна, чрезвычайно тонко образованна, но совершенно не потому, что она эмансипированная девушка: пламенная охота учиться и трудиться не обязывает к тому же… Суслова, еще недавно познакомившаяся с анализом, еще не пришедшая в себя, еще удивленная, открывшая целый хаос в себе, слишком занята этим хаосом, она наблюдает за ним, за собой; за другими наблюдать она не может, не умеет. Она — Чацкий, не имеющий соображения. Грибоедова напрасно бранят за эту черту в характере его Чацкого, она глубоко подмечена, она присуща известной степени развития.

Вторая жена Анна Григорьевна

Александр Петрович Милюков (1817–1897), *историк литературы, критик, педагог:*

Второй брак Достоевского был вполне счастлив, и он приобрел в Анне Григорьевне и любящую жену, и практическую хозяйку дома, и умную ценительницу своего таланта. Если Федор Михайлович, при своей житейской непрактичности, успел выплатить более двадцати пяти тысяч своих и братниных долгов, то это могло сделаться только при распорядительности и энергии его жены, которая умела и вести дело с кредиторами, и поддерживать мужа в тяжелые дни.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. И. Майкову 26 октября 1868 г.:*

Характер Анны Григорьевны восприимчивый, деятельный.

Варвара Андреевна Савостьянова (урожд. Достоевская):

Жизнерадостная, любезная, говорливая…

Мария Николаевна Стоюнина (1846–1940), *общественный деятель, педагог, гимназическая подруга А. Г. Достоевской:*

Раз только Достоевский мне пожаловался: «Вот, когда холостой-то был, все у меня было, и большой диван — тахта, маленькая, и занавески… Вот, Ане это все равно, ей ничего не составляет, есть ли это, или нет!.. Да и денег теперь нет». А он (Достоевский т. е.) все это любил и ценил. Но они в общем жили душа в душу, обожание даже у них какое-то взаимное было. Тридцать пять лет жизни своей после смерти мужа она все посвятила его памяти, пропаганде его идей и распространению его славы, с письмами Достоевского она не расставалась ни днем ни ночью и всюду их с собой возила.

Раз, помню, заработал Достоевский 350 или 500 рублей, побежал тотчас в Гостиный двор, купил у Морозова браслет золотой и подарил Анне Григорьевне. Она мне подробно рассказывала о том, как ей удалось-таки избавиться от этого подарка. — «Подумай, — говорит, — у детей обуви, башмаков нет, одежды нет, а он браслеты вздумал дарить!» — Он спит в кабинете, она, т. е. Анна Григорьевна, в спальне. Улеглись они спать, а она мучится, что будет делать с браслетом и что деньги-то нужны на другое. Наконец не выдерживает моя Анна Григорьевна, идет в кабинет к мужу: «Знаешь, я не могу, отдадим его в магазин, ну на что он мне?» — Он: «Я мечтал: заработаю там

немного и куплю; мне такое счастье, что заработал и могу жене купить!» Он в отчаянии. Она уходит: «Ну хорошо, хорошо!» Опять не может лежать спокойно, соскакивает с постели и летит к мужу: «Нет, нельзя, надо отдать, Федя, детям нужнее, да и зачем он мне?» Соглашается тут он. Проходит минута-другая. Слышит Анна Григорьевна вздохи, охи, ворочается муж с боку на бок. Вдруг срывается с дивана и в спальню: «Нет, Аня, я умоляю, пусть останется он у тебя!» Уходит. Но опять драма — она мучится: «Федя, ведь триста, подумай, триста пятьдесят рублей!» И так у них «нежная драма» всю ночь. После, наутро все-таки она побежала к Морозову и вернула браслет. Так здесь ее мучение взяло верх, и Достоевский уступил. Но все же раз и ему удалось победить.

Надо сказать, что самой Анне Григорьевне ничего не нужно было. И вот приезжает Федор Михайлович раз из заграничной поездки и привозит подарки, а ей привозит вдруг, совершенно неожиданно, рубашки. Анна Григорьевна мне их показала, да и говорит: «Нет, ты посмотри, посмотри, что он мне привез: ведь шелковые!» Она, может быть, готова была хоть дерюгу носить, что угодно, а это дюжина или полдюжины рубашек, и все шелковые, голубые, разовые, белые. Часто Достоевский и тратился вот на этакие глупости. Ну, а тут-то, когда купил рубашки, вернуть их было нельзя. Так и остались они у Анны Григорьевны…

Она за ним как нянюшка, как самая заботливая мать ходила. Ну, и правда, было у них взаимное обожание, как я и сказала. Она была полной его противоположностью: веселая такая, чуть, бывало, на улицу выйдет — уж целый короб новостей и ворох смеху принесет. Хохотушка она долго была.

В конце 1870-х годов, кажется, в 1879 году явилась у меня идея открыть свою женскую гимназию. Решилась я на это, видя полную недостаточность и неудовлетворенность женского тогдашнего образования. А все мы жаждали труда и просвещения. Чуть открылись в то время при Мариинской гимназии естественно-исторические курсы, уж мы — я и Анна Григорьевна — на них стали ходить, а она так и записалась. Я-то их не окончила. Она все тогда смеялась: «Вот как умру, — говорит, — так за мною-то все-все Дипломы мои и понесут». Она там еще несколько курсов разных кончила, да вот и на стенографические курсы к Ольхину записалась. Все это и для самообразования, и чтобы самостоятельность приобрести, и независимее быть.

Анна Григорьевна Достоевская:

Из робкой, застенчивой девушки я выработалась в женщину с решительным характером, которую уже не могла испугать борьба

с житейскими невзгодами, вернее сказать, с долгами… Моя веселость и жизнерадостность остались при мне, но проявлялись только в семье, среди родных или друзей. При посторонних и особенно в обществе мужчин я держала себя донельзя сдержанно, ограничиваясь в отношении их холодною вежливостью, и больше молчала и внимательно слушала, чем высказывала свои мысли. Приятельницы мои уверяли меня, что я страшно состарилась за эти четыре года, и упрекали, зачем я не обращаю внимания на свою внешность, не одеваюсь и не причесываюсь по моде. Соглашаясь с ними, я тем не менее не хотела ни в чем изменяться. Я твердо была убеждена, что Федор Михайлович любит меня не за одну внешность, а и за хорошие свойства моего ума и характера, и что мы успели за это время «срастись душой», как говорил Федор Михайлович. Моя же старомодная внешность и видимое избегание мужского общества мог ли только благоприятно действовать на моего мужа, так как не давали поводов для проявления с его стороны дурной черты его характера — ни на чем не основанной ревности.

Михаил Александрович Александров:

Вообще Анна Григорьевна умело и с любящею внимательностию берегла хрупкое здоровье своего мужа, держа его, по ее собственному выражению, постоянно *«в хлопочках»* как малое дитя, а в обращении с ним проявляла мягкую уступчивость, соединенную с большим, просвещенным тактом, и я с уверенностию могу сказать, что Федор Михайлович и его семья, а равно и многочисленные почитатели его обязаны Анне Григорьевне несколькими годами его жизни.

Анна Григорьевна Достоевская:

Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образования была среднего (гимназического). И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение.

Эта загадка для меня несколько выяснилась, когда я прочла примечание В. В. Розанова к письму Н. Н. Страхова от 5 января 1890 года в книге «Литературные изгнанники». Выписываю это

примечание (стр. 208):

«Никто, ни даже «друг», исправить нас не сможет; но великое счастье в жизни встретить человека совсем другой конструкции, другого склада, других всех воззрений, который, всегда оставаясь собою и нимало не вторя нам, не подделываясь (бывает!) к нам и не впутываясь своею душою (и тогда притворною Душою!) в нашу психологию, в нашу путаницу, в нашу мочалку, — являл бы твердую стену и отпор нашим — «глупостям» и «безумиям», какие у всякого есть. Дружба — в противоречии, а не в согласии. Поистине, Бог наградил меня, как учителем, Страховым: и дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую — я чувствовал, что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет».

Действительно, мы с мужем представляли собой людей «совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений», но «всегда оставались собою», нимало не вторя и не подделываясь друг к другу, и не впутывались своею душою — я — в его психологию, он — в мою, и таким образом мой добрый муж и я — мы оба чувствовали себя свободными душой. Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких вопросах человеческой души, вероятно, ценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне: «Ты единственная из женщин, которая поняла меня!» (то есть то, что для него было важнее всего). Его отношения ко мне всегда составляли какую-то «твердую стену, о которую (он чувствовал это), что он может на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет».

Этим объясняется, по-моему, и то удивительное доверие, которое муж мой питал ко мне и ко всем моим действиям, хотя все, что я делала, не выходило за пределы чего-нибудь необыкновенного.

Эти-то отношения с обеих сторон и дали нам обоим возможность прожить все четырнадцать лет нашей брачной жизни в возможном для людей счастье на земле.

Жизнь и судьба



Московское детство

Анна Григорьевна Достоевская:
Когда был маленький, мать звала его Федашей.

Андрей Михайлович Достоевский:
Наш день и времяпровождение. День проходил в нашем семействе по раз заведенному порядку, один как другой, очень однообразно. Вставали утром рано, часов в шесть. В восьмом часу отец выходил уже в больницу, или в Палату, как у нас говорилось. В это время шла уборка комнат, топка печей по зимам и проч. В девять часов утра отец, возвратившись из больницы, ехал сейчас же в объезд своих Довольно многочисленных городских пациентов, или, как у нас говорилось, *на практику*. В его отсутствие мы, дети, занимались уроками. В более же позднее время два старшие брата бывали в пансионе. Возвращался отец часов около двенадцати, а в первом часу дня мы постоянно обедывали. Исключения были только в дни масленицы, когда в десятом часу утра накрывали стол и к приходу отца из Палаты подавались блины, после которых отец ехал уже на практику. В эти дни обед бывал часу в четвертом Дня и состоял только из рыбного. Блины на масленице елись ежедневно, не так как теперь, ибо считались какою-то непременной принадлежностию масленицы. Сейчас же после обеда папенька уходил в гостиную, двери из залы затворялись, и он ложился на диван, в халате, заснуть после обеда. Этот отдых его продолжался часа полтора-два, и в это время в зале, где сидело все семейство, была тишина невозмутимая, говорили мало и то шепотом, чтобы не разбудить папеньку; и это, с одной стороны, было самое скучное время дня, но, с другой стороны, оно было и приятно, так как все семейство, кроме папеньки, было в одной комнате, в зале. В дни же летние, когда свирепствовали мухи, мое положение в часы отдыха папеньки было еще худшее!.. Я должен был липовою веткою, ежедневно срываемою в саду, отгонять мух от папеньки, сидя на кресле возле дивана, где спал он. Эти полтора-два часа были мучительны для меня! Так как я, уединяясь от всех, должен был проводить их в абсолютном безмолвии и сидя без всякого движения на одном месте! К тому же, Боже сохрани, ежели, бывало, прозеваешь муху и дашь ей укусить спящего!.. А из залы слышишь шепотливые разговоры, сдерживаемые смехи!.. Как, казалось, было там весело! Но, наконец, папенька вставал, и я покидал свое уединение!..

В четыре часа дня пили вечерний чай, после которого отец

вторично шел в Палату к больным. Вечера проводились в гостиной, освещенной двумя сальными свечами. Стеариновых свечей тогда еще не было и в помине; восковые же жглись только при гостях и в торжественные семейные праздники. Ламп у нас не было, отец не любил их, а у кого они и были, то освещались постным маслом, издававшим неприятный запах. Керосину и других горных масел тогда не было еще и в помине. Ежели папенька не был занят скорбными листами, то по вечерам читали вслух; о чтениях этих помяну подробнее ниже.

В праздничные же дни, в особенности в Святки, в той же гостиной, иногда игрывали при участии родителей в карты, в короли. И это было такое удовольствие, такой праздник, что помнилось об этом долго! Упомяну здесь кстати, что в Пасху практиковалась особая игра — катание яиц. В зале раскладывались ковры, или, попросту, ватные одеяла, и по ним с особых лубков катались яйца. Иногда к нам, детям, присоединялись и взрослые, посторонние, так что играющих было человек до десяти, следовательно, на кону яиц гораздо более. В девятом часу вечера, не раньше не позже, накрывался обыкновенно ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образом, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. Подобное препровождение времени повторялось ежедневно. Посторонние, или так называемые гости, у нас появлялись очень редко, в особенности по вечерам. Все знакомство родителей ограничивалось большею частию утренними визитами. Впрочем, в более позднее время, когда я оставался с родителями один (братья и сестра были уже в пансионах), по вечерам очень хаживал Федор Антонович Маркус… Я постоянно при этом торчал в гостиной и слушал разговоры их. Когда же изредка случалось, что и родители выедут из дому вечером в гости, то наши детские игры делались более шумными и разнообразными. Это случалось вовсе не оттого, что мы, дети, стеснялись в своих играх присутствием родителей, но оттого, что прислуга наша, конечно, стеснялась ими. С отъездом же родителей начиналось пение песен, затем начинались хороводы, Игры в жмурки, в горелки и тому подобные увеселения, каковым способствовала наша большая зала и каковых при родителях не бывало. Но, впрочем, отсутствие родителей никогда не бывало продолжительным; в девять-десять часов вечера они непременно уже возвращались. Мы же постоянно на другой день сообщали маменьке, с которою, конечно, были более откровенны, о вчерашних играх во время их отсутствия; и я помню, что маменька всегда, бывало, говаривала, уезжая: «Уж ты, Алёна

Фроловна, позаботься, чтобы дети повеселились!» Дни семейных праздников, в особенности дни именин отца, всегда были для нас очень знаменательными. Начать с того, что старшие братья, а впоследствии и сестра Варенька, обязательно должны были приготовить утреннее приветствие имениннику. Приветствие это было всегда на французском языке, тщательно переписанное на почтовой бумаге, свернутое в трубочку, подавалось отцу и говорилось наизусть. Помню даже, что один раз было что-то сказано из «Генриады» (единый Бог знает, для какой причины). Отец умилялся и горячо целовал приветствующих. В этот день бывало всегда много гостей, преимущественно на обед; впоследствии же, когда мы, дети, подросли, то помню, что раза два устраивались и вечерние приемы гостей на танцы. Но сколько запомню, ни один из нас, мальчиков, не танцевал охотно, а был выдвигаем, как на какую-то необходимую и тяжелую работу.

Летние прогулки и прочие увеселения. В летнюю пору в домашнем препровождении времени появлялись некоторые разнообразия, а именно — совершались семейные вечерние прогулки. Дом Московской Марьинской больницы находился на Божедомке, между зданиями двух женских институтов: Екатерининского и Александровского, и в недальнем расстоянии от Марьиной рощи. Эта роща была всегдашнею целию наших летних прогулок. Часу в седьмом вечера, когда палящая жара уже спадет, мы все, дети с родителями, и по большей части с другими обитателями Марьинской больницы (преимущественно Щировскими), отправлялись на эту прогулку. Проходя мимо часового, стоявшего неизвестно для каких причин при ружье и в полной солдатской форме у ворот Александровского института, принято было за непременную обязанность подавать этому часовому грош или копейку. Но подача эта делалась не в руку, а просто бросалась под ноги. Часовой находил удобный случай нагнуться и поднять копейку. Это вообще было в обычае у москвичей того времени. Прогулки происходили весьма чинно, и дети, даже за городом, в Марьиной роще, не позволяли себе поразвлечься, побегать. Это считалось неприличным и допускалось только в домашнем саду. В прогулках этих отец всегда разговаривал с нами, детьми, о предметах, могущих развить нас. Так, помню неоднократные наглядные толкования его о геометрических началах, об острых, прямых и тупых углах, кривых и ломаных линиях, что в московских кварталах случалось почти на каждом шагу.

К числу летних разнообразий нужно отнести также ежегодные посещения Троицкой лавры. Но это должно быть отнесено к самому раннему нашему детству, так как с покупкой

родителями в 1831 году своего имения поездки к Троице прекратились. Я помню только одно такое путешествие к Троице, в котором участвовал и я. Эти путешествия были, конечно, для нас важными происшествиями и, так сказать, эпохами в жизни. Ездили обыкновенно на долгих и останавливались по целым часам почти на тех же местах, где ныне поезда железной дороги останавливаются на две-три минуты. У Троицы проводили дня два, посещали все церковные службы и, накупив игрушек, тем же порядком возвращались домой, употребив на все путешествие дней пять-шесть. Отец по служебным занятиям в этих путешествиях не участвовал, а мы ездили только с маменькой и с кем-нибудь из знакомых.

В театрах родители наши бывали очень и очень редко, и я помню всего один или два раза, когда на масленицу или большие праздники, преимущественно на дневные спектакли (а не вечерние), бралась ложа в театре, и мы, четверо старших детей с родителями, ездили в театр; но при этом пьесы выбирались с большим разбором. Помню, что один раз мы виде ли пьесу «Жако, или Бразильская обезьяна». Не совсем помню сюжет этой пьесы, но в памяти моей сохранилось только то, что артист, игравший обезьяну, был отлично костюмирован (настоящая обезьяна) и был замечательным эквилибристом. Но ежели мы редко бывали в театрах, то зато в балаганах московских (у так называемых Петрушек) бывали по праздникам и на масленицу с дедушкой Василием Михайловичем Котельницким…

Родители наши были люди весьма религиозные, в особенности маменька. Всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной. Исполнять это нам было весьма удобно, так как при больнице была очень большая и хорошенькая церковь.

При больнице находился большой и красивый сад, с многочисленными липовыми аллеями и отлично содержимыми широкими дорожками. Этот-то сад и был почти нашим жилищем в летнее время. Там мы или чинно прогуливались с нянею, или, усевшись на скамейках, проводили целые часы, делая различные *кушанья* из песку, смоченного водою. Играть же позволялось только в лошадки. Игры же в мяч, и в особенности при помощи палок, как, например, в лапту, — строго воспрещались как игры «опасные и неприличные». В больнице, кроме нас, было много жильцов, то есть докторов и прочих служащих. Но замечательно, что детей, нам сверстников, ни у кого не было, кроме Петеньки Рихтер, которого в больничный сад гулять не пускали. А потому мы поневоле должны были довольствоваться только играми между собою, которые и были очень однообразны. Раз нам

удалось видеть на каком-то гулянье *бегуна,* который за деньги показывал свое искусство бегать; причем, бегая, он во рту держал конец платка, напитанного каким-то спиртным веществом. И вот, подражая ему, мы все начали бегать по аллеям сада, держа во рту тоже концы своих носовых платков. И это долгое время служило нам как бы игрою.

В саду этом также прогуливались и больные или в суконных верблюжьего цвета халатах, или в тиковых летних, смотря по погоде, но всегда в белых, как снег, колпаках, вместо фуражек, и в башмаках или туфлях без задников, так что они должны были шмыгать, а не шагать. Но, впрочем, присутствие больных нисколько не стесняло наших прогулок, так как больные вели себя очень чинно. Нам же, равно как и няне, строго было запрещено приближаться к ним и вступать с ними в какие-либо разговоры.

Со слов Анны Павловны Философовой (1837–1912), *общественного деятеля, участницы женского движения:*

Достоевский рассказал эпизод из своего детства. «Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, — рассказывал Достоевский, — где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, — рассказывал Достоевский, — меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах»».

Владимир Михайлович Каченовский:

Отец Федора Михайловича был врачом Мариинской для бедных больницы в Сущеве, в Москве. В той же местности отец мой, М. Т. Каченовский, имел свой дом, в котором и жила наша семья. Нашим домашним врачом был врач той же больницы Козьма Алексеевич Щировский, супруга которого Аграфена Степановна была очень близка с моею матерью. Отец мой, весь преданный своим ученым занятиям, имел очень мало семейных знакомств, и тем более мы ценили их. Чаще всего мать моя видалась с княгиней А. Ф. Шаликовой, а затем с Агр. Степ. Щировской.

Летом раза два в неделю мать водила меня с сестрой к Щировским… Едва успев войти в их квартиру, мы, дети, спешили в тенистый сад больницы и вмешивались в группы играющих детей местных медиков и служащих. Как теперь помню в числе их двух белокурых мальчиков; один из них был немного старше меня, другой — лет на пять. Для игр они выбирали себе более подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был заметен и для меня, ребенка. Эти дети были Федор и Михаил Достоевские… Прошло года два, в течение которых я ближе сошелся с обоими братьями, которые мне и сообщили, что они уже учатся в пансионе.

Из опасения быть не точным, я не определяю годов этих детских воспоминаний, которые становятся точными лишь с 1834 года. В этот год я поступил в пансион Леонтия Карловича Чермака, пользовавшийся лучшею репутацией как по бдительному надзору за учащимися, так и по составу преподавателей. Достаточно сказать, что в числе их были Д. М. Перевощиков, А. М. Кубарев, К. М. Романовский, лучшие учителя того времени.

В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во-время рекреации послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос… Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреаций облегчал занимательными рассказами тоску мою по родительском доме.

Он был ко мне очень приветлив и ласков.

В это время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона — А. М. Ломовским, Ф. и Ал. Мильгаузенами, Д. и А. Шумахерами и П. Перевощиковым.

В 1835 году Достоевские оставили пансион и поступили в Инженерное училище в Петербурге, унося — по крайней мере Федор Михайлович — в себе теплое воспоминание о месте их первоначального образования.

Андрей Михайлович Достоевский:

Выше я упомянул о семейных чтениях, происходивших в гостиной. Чтения эти существовали, кажется, постоянно в кругу родителей. С тех пор как я начинаю себя помнить, они уже происходили.

Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья, еще до поступления их в пансион; впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители. Читались по преимуществу произведения исторические: «История Государства Российского» Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще читались последние томы — IX, X, XI и XII, так что из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений; «Биография» Мих. Вас. Ломоносова Ксенофонта Полевого и многие другие. Из чисто литературно-беллетристических произведений, помню, читали Державина (в особенности оду «Бог»), Жуковского и его переводные статьи в прозе; Карамзина «Письма русского путешественника», «Бедную Лизу», «Марфу Посадницу» и проч., Пушкина преимущественно прозу. Впоследствии начали читать и романы: «Юрий Милославский», «Ледяной дом», «Стрельцы» и сентиментальный роман «Семейство Холмских». Читались также сказки и казака Луганского[4]. Все эти произведения остались у меня в памяти не по одному названию, потому что чтения эти часто прерывались рассуждениями родителей, которые и были мне более памятны. Перечитывая впоследствии все эти произведения, я всегда вспоминал наши семейные чтения в гостиной дома родительского. Выше я говорил уже, что старшие братья читали во всякое свободное время. В руках брата Феди я чаще всего видал Вальтер Скотта — «Квентин Дорварда» и «Веверлея»; у нас были собственные экземпляры, и вот их-то он перечитывал неоднократно, несмотря на тяжелый и старинный перевод. Такому же чтению и перечитыванию подвергались и все произведения Пушкина. Любил также брат Федор и повести Нарежного, из которых «Бурсака» перечитывал неоднократно. Не помню наверное, читал ли он тогда что-нибудь из Гоголя, а потому не могу об этом и говорить. Помню только, что он тогда восхищался романом Вельтмана «Сердце и думка», «История» же Карамзина была его настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького. Я потому перечисляю названия некоторых литературных произведений, читавшихся тогда братьями (хотя далеко и не все), что с этими названиями и именами их авторов мне пришлось еще ребенком познакомиться со слов братьев. Появились в нашем доме и книжки издававшейся в то время «Библиотеки для чтения». Как теперь помню эти

книжки, менявшие ежемесячно цвет своих обложек, на которых изображался загнутый верхний уголок с именами литераторов, поместивших статьи в этой книжке. Эти книги уже были исключительным достоянием братьев. Родители их не читали.

Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные, а также и попадавшиеся романы. Брат же Михаил любил поэзию и сам пописывал стихи, бывши в старшем классе пансиона (чем брат Федор не занимался). Но на Пушкине они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали наизусть, конечно, только то, что попадалось им в руки, так как полного собрания сочинений Пушкина тогда еще не было. Надо припомнить, что Пушкин тогда был еще современник. Об нем, как о современном поэте, мало говорилось еще с кафедры; произведения его еще не заучивались наизусть по требованию преподавателей. Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского. Даже между преподавателями словесности; она была менее и во мнении наших родителей, что вызывало неоднократные горячие протесты со стороны обоих братьев. Помню, что братья как-то одновременно выучили наизусть два стихотворения: старший брат «Графа Габсбургского», а брат Федор, как бы в параллель тому, — «Смерть Олега». Когда эти стихотворения были произнесены ими в присутствии родителей, то предпочтение было отдано первому, — вероятно, вследствие большей авторитетности сочинителя. Маменька наша очень полюбила два эти произведения и часто просила братьев произносить их; помню, что даже во время своей болезни, уже лежа в постели (она умерла чахоткой), она с удовольствием прислушивалась к ним.

Даровое

Федор Михайлович Достоевский. *Из «Дневника писателя» 1847 г.:*

…Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь.

Андрей Михайлович Достоевский:

Название деревеньки, которую приобрели наши родители, было *сельцо Даровое,* куплено оно было, как выше упомянуто, у помещика Ивана Петровича Хотяинцева. Это *сельцо Даровое* составляло одну малую частичку целого гнезда селений, принадлежащих родоначальнику — вероятно, весьма богатому человеку» — Хотяинцевых. Так, в двух верстах в одну сторону от Дарового находилось село *Моногарово,* принадлежащее, кажется, старшему в роде Хотяинцевых, уставному майору Павлу Петровичу Хотяинцеву; а в полутора верстах в другую сторону от с. Дарового, находилась *деревня Черемошня,* принадлежащая Хотяинцеву. Эта последняя деревня Черемошня продавалась, об чем не знали наши родители, покупая сельцо Даровое…

Местность в нашей деревне была очень приятная Живописная. Маленький плетневый, связанный глиною на манер южных построек, флигелек для нашего приезда состоял из трех небольших комнаток и был расположен в липовой роще, довольно большой и тенистой. Роща эта через небольшое поле примыкала к березовому леску, очень густому и с довольно мрачною и дикою местностию, изрытою оврагами. Лесок этот назывался *Брыково.* С другой стороны помянутого поля был расположен большой фруктовый сад десятинах на пяти. Вход в этот сад был тоже из липовой рощи. Сад был кругом огорожен глубоким рвом, по насыпям которого густо были рассажены кусты крыжовника. Задняя часть этого сада примыкала тоже к березовому лесочку Брыково. Эти три местности: липовая роща, сад и Брыково были самыми ближайшими местами к нашему домику, а потому и составляли место нашего постоянного пребывания и гулянья. Около помянутого выше нашего домика, который был крыт соломою, были расположены два кургана, или две небольшие насыпи, на которых росло по четыре столетних липы, так что курганы эти, защищенные каждый четырьмя вековыми липами, были лучше всяких беседок и служили нам во все лето столовыми, где мы постоянно обедали и пили утренний и вечерний чай. Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он

назывался Фединою рощею. Впрочем, маменька неохотно дозволяла нам гулять в этом леску, так как ходили слухи, что в тамошних оврагах попадаются змеи и забегают часто волки. В заду фруктового сада и лесочка Брыково находилась громадная ложбина, простирающаяся вдоль на несколько верст. Эта ложбина представляла собой как будто ложе бывшей когда-то здесь реки. В ложбине этой находились и ключи. Это обстоятельств во подало повод вырыть в этой ложбине пруд, которого в деревне не имелось. В первое же лето маменька распорядилась вырытием довольно большого пруда и запрудить его близь проезжей усадебной улицы. В конце же лета образовался пруд довольно глубокий, с очень хорошею водою. Крестьяне были очень довольны этим, потому что прежний затруднительный водопой скота очень этим упростился. В ту же осень папенька прислал из Москвы бочонок с живыми маленькими карасиками, и карасики эти были пущены в новый пруд. Чтобы не было преждевременной ловли и истребления вновь насаженных карасей в пруде, староста Савин Макаров посоветовал маменьке заказать пруд. Это значило обойти пруд крестным ходом с духовенством, хоругвями и образами, что и было исполнено. В последующие годы в пруде этом была устроена купальня, и мы летом ежедневно по три, по четыре раза купывались. Одним словом, летние пребывания наши в деревне были очень гигиеничны для нас, детей; мы, как дети природы, жили все время на воздухе и в воде. На этом же пруду в последующие годы мы часто лавливали удочкою рыбу, но все же попадались небольшие *карасики* и *гольцы;* откуда взялись последние — решительно недоумеваю! Но года через два от большого паводка немного прорвало и повредило плотину нашего пруда, и мы увидели, что в воде, переброшенной через плотину, было много золотистых карасей громадного размера. Это подало повод маменьке распорядиться закидыванием невода (который был уже давно изготовлен). И можно себе представить нашу радость, когда в неводе вытащили громадную массу карасей, и все золотистых. Маменька велела отобрать несколько рыб для себя. Сотню или более велела распределить между крестьянами, а остальную велела пустить опять пруд. С этого времени мы начали усердно заниматься ловлею на удочки. Рыбы попадались иногда очень большие, и это занятие было тоже одно из любимых нами. Но при этом ловля на удочку производилась всегда с раннего утра, так часу в пятом и не позже пяти; у всякого из нас было для этого занятия по своему адъютанту, то есть крестьянском) — мальчику, который должен был нарыть в земле червячков и насаживать их на удочный крючок… Одним словом, барство было *препротивное!*

В липовой роще, с перебегами через поле в Брыково, происходили все наши детские игры. Из них опишу некоторые. Брат Федя, тогда уже много читавший, вероятно, ознакомился с описанием жизни дикарей. *Игра в диких* и была любимою нашею игрою. Она состояла в том, что, выбравши в липовой роще место более густое, мы строили там шалаш, укрывали хворостом и листьями и делали вход в него незаметным. Шалаш этот делался главным местопребыванием *диких племен;* раздевались донага и расписывали себе тело красками на манер татуировки; делали себе поясные и головные украшения из листьев и выкрашенных гусиных перьев и, вооружившись самодельными луками и стрелами, производили воображаемые набеги на Брыково, где, конечно, были находимы нарочно помещенные там крестьянские мальчики и девочки. Их забирали в плен и держали, до приличного выкупа, в шалаше. Конечно, брат Федор, как выдумавший эту игру, был всегда главным предводителем племени. Брат Миша редко участвовал непосредственно в этой игре, она была не в его характере; но он, как начинавший в то время рисовать и имевший в то время краски, был нашим костюмером и размалевывал нас. Особый интерес в этой игре был тот, чтобы за нами, дикими, не было присмотра старших и чтобы, таким образом, совершенно уединиться от всего обычного — не дикого. Раз, помню, что в отличную сухую погоду маменька, желая продлить нашу игру и наше удовольствие, решилась не звать нас к обеду и велела отнести дикарям обед на воздух в особой посуде и поставить его где нибудь под кустом. Это доставило нам большое удовольствие, и мы поели без помощи вилок и ножей, а просто руками, как приличествовало диким. Но по пословице: «Ежели мед — так и ложкой», когда мы преднамеривались было провести и ночь в диком состоянии, то этого нам не дозволили и, обмывши нас, уложили спать по обыкновению.

Другая игра, тоже выдуманная братом Федею, была игра в Робинзона. В эту игру мы играли с братом вдвоем; и, конечно, брат Федя был Робинзоном, а мне приходилось изображать Пятницу. Мы усиливались воспроизвести в нашей липовой роще все те лишения, которые испытывал Робинзон на необитаемом острове.

Практиковалась также и простая игра в лошадки; но мы умудрялись делать ее более интересною. У каждого из нас была своя тройка лошадей, состоящая из крестьянских мальчиков и при нужде и издевочек, которые, как кобылки, были допускаемы к упряжи впристяжку. Эти тройки были всегдашнею нашею заботою, состоящею в том, чтобы получше и посытнее накормить

их. А потому всякий день, обедая, мы оставляли большую часть порции различных блюд каждый для своей тройки и после обеда отправлялись в свои конюшни под каким-нибудь кустом и выкармливали приносимое. Езда на этих тройках происходила уже не в липовой роще, но по дороге из нашей деревни в деревню Черемошню, и часто бывали устраиваемые *пари* с каким-нибудь призом для обогнавшей тройки. При этом мы, наглядевшись в городе Зарайске, куда часто ездили на ярмарки и большие базары, как барышники продавали своих лошадей, устраивали и у себя продажу и мену их со всеми приемами барышников, то есть смотрели воображаемым лошадям в зубы, поднимали ноги и рассматривали воображаемые копыта, и т. д. и т. д.

Вспоминаю еще игру, а скорее непростительную шалость. За липовой рощей было кладбище, и вблизи него стояла ветхая деревянная часовня, в которой на полках помещались иконы. Дверь в эту часовню никогда не запиралась. Гуляя однажды в сопровождении горничной девушки Веры, которая была очень веселая и разбитная личность, мы зашли в эту часовню и, долго не думая, подняли образа и с пением различных церковных стихов и песней, под предводительством Веры, начали обход по полю. Эта непростительная проделка удалась нам раза два-три, но кто-то сообщил об этом маменьке, и нам досталось за это порядком…

В деревне, как и сказано выше, мы постоянно были на воздухе и, кроме игр, проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным полевым работам. Все крестьяне, в особенности женщины, очень всех нас любили и, не стесняясь нисколько, вступали с нами в разговоры. Мы, с своей стороны, старались тоже угодить им всевозможными средствами. Так, однажды брат Федя, увидев, что одна крестьянка пролила запасную воду, вследствие чего ей нечем было напоить ребенка, немедленно побежал версты за две домой и принес воды, чем заслужил большую благодарность бедной матери. Да, крестьяне нас любили! Сцена, с таким талантом описанная впоследствии братом Федором Михайловичем в «Дневнике писателя» с крестьянином Мареем, достаточно рисует эту любовь! Кстати о Марее (вероятно, Марке); это лицо не вымышленное, а действительно существовавшее. Это был красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидною черною бородою, в которую пробивалась уже седина. Он считался в деревне большим знатоком рогатого скота: и когда приходилось покупать на ярмарках коров, то никогда не обходилось без Марея…

Я выше уже упоминал, что вслед за покупкой первой деревни, Даровой, была куплена и деревня Черемошня. В эту деревню мы

очень часто хаживали по вечерам с маменькой, всем семейством.

Прощание с детством

Андрей Михайлович Достоевский:

С осени 1836 года в семействе нашем было очень печально. Маменька с начала осени начала сильно хворать. Отец, как доктор, конечно, сознавал ее болезнь, но видимо утешал себя надеждою на продление и поддержание ее. Силы ее падали очень быстро, так что в скором времени она не могла расчесывать своих очень густых и длинных волос. Эта процедура начала ее сильно утомлять, а предоставить свою голову в чужие руки она считала неприличным, а потому и решила остричь свои волосы почти под гребенку. Вспоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно сильно меня поразило. С начала нового 1837 года состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель. В это время квартира наша сделалась как бы открытым домом: постоянно у нас были посетители. С девяти часов утра приходили доктора во главе с Александром Андреевичем Рихтером. Из сочувствия к отцу, как к своему товарищу, они, навещая маменьку, каждый день делали консилиум. Склянки с лекарствами и стаканы с различными извержениями загромождали все окна и ежедневно убирались, сменяясь новыми….

В конце февраля доктора заявили отцу, что их старания тщетны и что скоро произойдет печальный исход. Отец был убит окончательно! Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки, то есть с 26-го на 27-е февраля. Маменька, вероятно перед смертною агонией, пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и все мы рыдали. Вскоре после этого началась агония, и маменька впала в беспамятство, а в седьмом часу утра 27 февраля она скончалась на тридцать седьмом году своей жизни. Это было в субботу Сырной недели. Все приготовления к похоронам, троекратные в день панихиды, шитье траура и проч. и проч. были очень прискорбны и утомительны, а в понедельник 1 марта, в первый день Великого поста, состоялись похороны. Спустя несколько времени после смерти маменьки отец наш начал серьезно подумывать о поездке в Петербург (в котором ни разу еще не бывал), чтобы от везти туда двух старших сыновей для помещения их в Инженерное училище…

Не знаю, вследствие каких причин известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон

маменьки. Вероятно, наше собственное горе и сидение всего семейства постоянно дома были причиною этому.

Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыша об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине. Конечно, до нас не дошло еще тогда стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина, но братья где-то достали другое стихотворение неизвестного мне автора. Они так часто произносили его, что я помню и теперь его наизусть. Вот оно:

Нет поэта, рок свершился.
Опустел родной Парнас!
Пушкин умер, Пушкин скрылся
И навек покинул нас.

Север, Север, где твой гений?
Где певец твоих чудес?
Где виновник наслаждений?
Где наш Пушкин? — Он исчез!

Да, исчез он, дух могучий,
И земле он изменил!
Он вознесся выше тучей.
Он взлетел туда, где жил!

…Папенька, по возвращении своем из Петербурга, намеревался совсем переселиться в деревню (он подал уже в отставку), а потому до поездки в Петербург желал поставить памятник на могиле нашей маменьки. Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтоб было только обозначено имя, фамилия, день рождения и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра…» И эта прекрасная надпись была исполнена.

Федор Михайлович Достоевский. *Из «Дневника писателя» 1876 г.:*

Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю.

Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух.

В Инженерном училище

Александр Иванович Савельев (1816–1907), *в годы учения Достоевского в Главном инженерном училище ротный офицер при училище:*

Ф. М. Достоевский, по конкурсному экзамену (1838 г.), поступил в Главное инженерное училище при мне, и с первых годов его пребывания в нем и до выпуска из верхнего офицерского класса (1843 г.) на службу он настолько был непохожим на других его товарищей во всех поступках, наклонностях и привычках и так оригинальным и своеобычным, что сначала все это казалось странным, ненатуральным и загадочным, что возбуждало любопытство и недоумение, но потом, когда это никому не вредило, то начальство и товарищи перестали обращать внимание на эти странности. Федор Михайлович вел себя скромно, строевые обязанности и учебные занятия исполнял безукоризненно, но был очень религиозен, исполняя усердно обязанности православного христианина. У него можно было видеть и Евангелие, и «Die Stunden der Andacht»[5] Цшокке, и др. После лекций из закона Божия о. Полуэктова Федор Михайлович еще долго беседовал со своим законоучителем. Все это настолько бросалось в глаза товарищам, что они его прозвали монахом Фотием. Невозмутимый и спокойный по природе, Федор Михайлович казался равнодушным к удовольствиям и развлечениям его товарищей; его нельзя было видеть ни в танцах, которые бывали в училище каждую неделю, ни в играх в «загонки, бары, городки», ни в хоре певчих. Впрочем, он принимал живое участие во многом, что интересовало остальных кондукторов, его товарищей. Его скоро полюбили и часто следовали его совету или мнению. Нельзя забыть того, что в то время, в замкнутом военно-учебном заведении, где целую неделю жили сто с лишком (125) человек, не было жизни, не кипели страсти у молодежи. Училище тогда представляло из себя особенный мирок, в котором были свои обычаи, порядки и законы.

Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1899), *писатель, близкий друг Достоевского со времени обучения в Главном инженерном училище:*

Комплект учащихся состоял из ста двадцати воспитанников, или кондукторов, как их называли, чтоб отличать от кадет. В мое время треть из них составляли поляки, треть — немцы из прибалтийских губерний, треть — русские. В старших двух

классах были кондукторы, давно брившие усы и бороду, они Держали себя большею частию особняком, присоединяясь к остальным в крайних только случаях. От тех, которые были моложе, новичкам положительно житья не было. С первого дня поступления новички получали прозвище *рябцов* — слово, производимое, вероятно, от рябчика, которым тогда военные называли штатских. Смотреть на рябцов как на парий было в обычае. Считалось особенною доблестью подвергать их всевозможным испытаниям унижениям.

Новичок стоит где-нибудь, не смея шевельнуться; к нему подходит старший и говорит задирающим голосом: «Вы, рябец, такой-сякой, начинаете, кажется, кутить?» — «Помилуйте… я ничего…» — «То-то, ничего… Смотрите вы у меня!» — и затем щелчок в нос, или повернут за плечи и ни за что ни про что угостят пинком. Или: «Эй вы, рябец, как вас?.. Ступайте в третью камеру; подле моей койки лежит моя тетрадь, несите сюда, да, смотрите, живо, не то расправа!» Крайне забавным считалось налить воды в постель новичка, влить ему за воротник ковш холодной воды, налить на бумагу чернил и заставить его слизать, заставить говорить непристойные слова, когда замечали, что он конфузлив и маменькин сынок.

В классах, во время приготовления уроков, как только дежурный офицер удалялся, поперек двери из одного класса в другой ставился стол; новички должны были на четвереньках проходить под ним, между тем как с другой стороны их встречали крученными жгутами и хлестали куда ни попало. И Боже упаси было заплакать или отбиваться от такого возмутительного насилия. Сын доктора К., поступивший в одно время со мною, начал было отмахиваться кулаками; вокруг него собралась ватага, и так исколотили, что его пришлось снести в лазарет; к его счастью, его научили сказать, что он споткнулся на классной лестнице и ушибся. Пожалуйся он, расскажи, как было дело, он, конечно, дорого бы поплатился.

Александр Иванович Савельев:

Он умел отклонять товарищей от задуманных шалостей (так называемых отбоев, бенефисов и пр., но были случаи, где его авторитет не помогал, так, нередко, когда проявлялось своеволие товарищей его над «рябцами» (новичками) или грубое их обращение с служителями, Федор Михайлович был из тех кондукторов, которые строго сохраняли законы своей almae mater, поддерживали во всех видах честность и дружбу между товарищами, которая впоследствии между ними сохранялась целую жизнь. Это был род масонства, имевшего в себе силу

клятвы и присяги. Федор Михайлович был тоже врагом заискивания и внимания у высшего начальства и не мог равнодушно смотреть на льстецов даже и тогда, когда лесть выручала кого-либо из беды или составляла благополучие. Судя по спокойному, невозмутимому его лицу, можно было догадываться об его грустном, может быть, наследственном настроении души, и если вызывали его на откровенность, то он отвечал часто на это словами Монтескье: «Ne dites jamais la verité aux depéns de votre vertu»[6]…

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к отцу 4 февраля 1838 г.:*

Вообразите, что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минутки, чтобы следить хорошенько на досуге днем слышанное в классах. Нас посылают на фрунтовое ученье, нам дают уроки фехтованья, танцев, пенья, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец, ставят в караул, и в этом проходит все время… Слава Богу, я привыкаю понемногу к здешнему житью; о товарищах ничего не могу сказать хорошего. Начальники обо мне, надеюсь, очень хорошего мненья… В воскресенье и в другие праздники я никуда не хожу; ибо за всякого кондуктора непременно должны расписаться родственники в том, что они его будут брать к себе.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к отцу 5 июня 1838 г.:*

У нас начались… третные экзамены, которые продолжались по крайней мере месяц. Надобно было работать день и ночь; особенно чертежи доконали нас. У нас 4 предмета рисований: 1) рисованье фортификационное, 2) ситуационное, 3) архитектурное, 4) с натуры. Я плохо рисую, как Вам известно. Только в фортификационном черченье я довольно хорош, что ж делать с этим? и это мне много повредило. Во-первых, тем, что я стал средним в классе, тогда как я мог быть первым. Вообразите, что у меня почти из всех умственных предметов полные баллы, так что у меня 5 баллов больше 1-го ученика из всех предметов, кроме рисованья. А на рисованье смотрят более математики. Это меня очень огорчает. Вторая причина моего долгого молчанья есть фрунтовая служба. Вообразите себе. Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардиею маршировали церемониальным маршем, делали эволюции и перед всяким смотром нас мучили в роте на ученье, на котором мы приготовлялись заранее. Все эти смотры

предшествовали огромному, пышному, блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская и находилось 140 000 войска. Этот день нас совершенно измучил. — В будущих месяцах мы выступаем в лагери. Я по моему росту попал в роту застрельщиков, которым теперь двойное ученье — баталионное и застрельщиков. Что делать, не успеваем приготавливаться к классам.

Александр Иванович Савельев:

Таким был Ф. М. Достоевский. Он и в юности был по виду таким же стариком, каким он был в зрелом возрасте. И в юности он не мог мириться с обычаями, привычками и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне несколько человек, искренно ему сочувствовавших, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, Бережецкого, тоже кондуктора, хотя старшего класса. Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже, как Достоевский, любящий уединение, как говорится, человек замкнутый, особняк (homme isolé). Бывало, на дежурстве мне часто приходилось видеть этих двух приятелей. Они были постоянно вместе или читающими газету «Северная пчела», или произведение тогдашних поэтов: Жуковского, Пушкина, Вяземского, или литографированные записки лекций, читанных преподавателями. Можно было видеть двух приятелей, Бережецкого и Достоевского, гуляющих по камерам, когда их товарищи танцевали во вторник в обычном танцклассе или играли на плацу. То же можно было видеть и летом, когда они были в лагере, в Петергофе. Кроме строевых и специальных занятий, в которых они обязательно участвовали, оба приятеля избегали подчиненности; в то время когда отправляли командами при офицере гулять в саду «Александрии» или водили купаться, они никогда не были. Точно так же их нельзя было видеть в числе участвовавших на штурме лестниц Сампсониевского фонтана и пр. Занятия и удовольствия летом у двух приятелей были те же, что и зимою.

Не нужно было особенного наблюдения, чтобы заметить в этих друзьях особенно выдающихся душевых качеств, например их сострадания к бедным, слабым и беззащитным, которое у Достоевского и Бережецкого проявлялось чаще всего зимою, нежели летом, когда они видели грубое обращение товарищей со служителями и с *рябцами* (только что поступившими в училище кондукторами). Достоевский и Бережецкий употребляли все средства, чтобы прекратить эти обычные насилия, точно так же старались защищать и сторожей и всякого рода служащих в училище. Достоевского и Бережецкого возмущали и всякого рода

демонстрации, проделки кондукторов с учителями иностранных языков, особенно немцев. Пользуясь большим авторитетом у товарищей, они, Достоевский и Бережецкий, или прекращали задуманные проделки с учителями, или останавливали…

Константин Александрович Трутовский:

Добр и мягок он был всегда, но мало с кем сходился из товарищей. Было только два лица, с которыми он подолгу беседовал и вел длинные разговоры о разных вопросах. Эти лица были Бережецкий и, кажется, А. Н. Бекетов. Такое изолированное положение Федора Михайловича вызывало со стороны товарищей добродушные насмешки, и почему-то ему присвоили название «Фотия». Но Федор Михайлович мало обращал внимания на такое отношение товарищей. Несмотря на насмешки, к Федору Михайловичу вообще товарищи относились с некоторым уважением. Молодость всегда чувствует умственное и нравственное превосходство товарища — только не удержится, чтоб иногда не подсмеяться над ним.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Федор Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места; вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было там найти, и всегда с книгой.

С неумеренною пылкостью моего темперамента и вместе с тем крайнею мягкостью и податливостью характера, я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением. До него я и большинство остальных наших товарищей читали специальные учебники и лекции, и не только потому, что посторонние книги запрещалось носить в училище, но и вследствие общего равнодушия к литературе…

Первые литературные сочинения, читанные мной на русском языке, были мне сообщены Достоевским; это были: перевод «Кот Мур» Гофмана и «Исповедь англичанина, принимавшего опиум» Матюрена — книга мрачного содержания и весьма ценимая тогда Достоевским. «Астролог» Вальтер Скотта и особенно «Озеро

Онтарио» Купера окончательно пристрастили меня к чтению.

Александр Иванович Савельев:

Будни в Инженерном училище проходили в известном установленном порядке: классные занятия были два раза в день, от восьми часов до двенадцати и о трех часов до шести. От семи часов до восьми кондукторы занимались повторением уроков, а от восьми до девяти часов были или гимнастика, фехтование или танцы. В эти условные часы занятий Федор Михайлович или участвовал, а в некоторых его не видно было. В то время, когда кондукторы, его товарищи, каждый, сидя у своего столика, занимался подготовкою к следующему дню, Федор Михайлович с кем-либо из товарищей (Бережецким или Григоровичем) гулял по рекреационной зале или беседовал с дежурным офицером. Нередко можно было видеть его у кого-либо из товарищей, которому он объяснял какую-либо формулу или рисунок из начертательной геометрии, которым, как Шидловский и др., эти чертежи были, что называется, китайской грамотой. Всего чаще можно было видеть Федора Михайловича, подготовлявшего товарищу сочинение на заданную тему.

Дмитрий Васильевич Григорович:

Достоевский, сколько помнится, учился также неважно; он приневоливал себя с тем, чтобы окончить курс и переходить из класса в класс без задержки. Последнее не удалось ему, однако ж; при переходе в один из классов он не выдержал экзамена и должен был в нем остаться еще год; неудача эта потрясла его совершенно; он сделался болен и пролежал несколько времени в лазарете.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к отцу 4 февраля 1838 г.:*

Наш экзамен приближался к концу; я гордился своим экзаменом, я экзаменовался отлично, и что же? Меня оставили на другой год в классе. Боже мой! Чем я прогневал Тебя? Отчего не посылаешь Ты мне благодати своей, которою мог бы я обрадовать нежнейшего из родителей? О, скольких слез мне это стоило. Со мной сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли (по протекции). Что делать, видно, сам не прошибешь дороги. Скажу одно: ко мне не благоволили некоторые из преподающих и самые сильные своим голосом на конференцной.

С двумя из них я имел личные неприятности. Одно слово их, и я был оставлен. (Все это я услышал после.) Судите сами, каков

был мой экзамен, когда я Вам скажу мои баллы; ничего не скрою — буду откровенен:

При 10-ти полных баллах (из алгебры и фортификации 15 полных) я получил:

Из алгебры — 11 (преподающий хотел непременно, чтоб я остался, он зол на меня более всех)

Фортификации — 12.

Русск<ий> язык — 10.

Артиллерия — 8.

Французский — 10.

Геометрия — 10.

Немецкий — 10.

История — 10.

З<акон> Божий — 10.

География — 10.

Теперь судите сами, каково мне было, когда я услышал, что я остался в классе при таких баллах.

Александр Иванович Савельев:

Еще с юных лет Федор Михайлович не имел расположения к военной службе, хотя очень любило его училищное начальство (некто А. Ч. Фере), которое готовило его на «ординарца». Раз даже Достоевский, будучи ординарцем, представлялся великому князю Михаилу Павловичу, подходя к которому и сделав на караул, он оробел и вместо следующей фразы: «К вашему императорскому высочеству» — громко сказал: «К вашему превосходительству». Этого было довольно, чтобы за это досталось и начальству, и самому ординарцу. Возмущало Федора Михайловича на службе многое, и когда он был инженерным офицером в Кронштадте, и те домашние и судебные расправы. Он не мог видеть крепостных арестантов в кандалах на работах его дистанции, Ни расправы, которые происходили в войсках, содержавших караулы в Кронштадте. Разрушали в чувствах Федора Михайловича и расположение к техническим работам. Нередко его чертежи (планы и фасады зданий, караульни с их платформами и пр.), составленные им неправильно, без масштаба, возвращались обратно в инженерную команду с выговором или с саркастической заметкой… их автору. Все это тревожило молодого инженера и охлаждало его к военной службе, и как ни старались я и товарищи его успокоить, помирить с испытываемыми им неудачами, а тут еще и удручающая его болезнь окончательно его свалили. Федор Михайлович подал в отставку.

Семейная трагедия

Андрей Михайлович Достоевский:

Время с кончины матери до возвращения отца из Петербурга было временем большой его деятельности, так что он за работою забывал свое несчастие или по крайней мере переносил его нормально, ежели можно так выразиться. Затем сборы и переселение в деревню тоже много его занимали. Но наконец вот он в деревне, в осенние и зимние месяцы, когда даже и полевые работы прекращены…

После очень трудной двадцатипятилетней деятельности отец увидел себя закупоренным в две-три комнаты деревенского помещения, без всякого общества! Овдовел он в сравнительно не старых летах, ему было сорок шесть — сорок семь лет. По рассказам няни Алены Фроловны, он в первое время даже доходил до того, что вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой, и отвечая себе ее обычными словами!.. От такого состояния, в особенности в уединении, не далеко и до сумасшествия! Независимо от всего этого, он понемногу начал злоупотреблять спиртными напитками. В это время он приблизил к себе бывшую у нас в услужении еще в Москве девушку Катерину. При его летах и в его положении кто особенно осудит его за это?! Все эти обстоятельства, которые сознавал и сам отец, заставили его отвезти двух старших дочерей, Варю и Верочку, в Москву к тетушке. Варя поселилась там жить с весны 1838 года, а Верочка в то же время отдана была в пансион, что при церкви лютеранской Петра и Павла, то есть туда же, где воспитывалась и Варенька. Во время пребывания моего в последний раз в деревне, то есть летом 1838 года, я ничего ненормального в жизни отца не заметил, несмотря на свою наблюдательность. Да, может быть, и отец несколько стеснялся меня. Но вот он опять остался один на глубокую осень и долгую зиму. Пристрастие его к спиртным напиткам видимо увеличилось, и он почти постоянно бывал не в нормальном положении. Настала весна, мало обещавшая хорошего. Припомним почти отчаянные выражения отца в письме к брату Федору от 27 мая 1839 года, то есть за несколько дней до его смерти, и мы поймем, в каком положении находился он!.. Вот в это-то время в деревне Черемошне на полях под опушкою леса работала артель мужиков, в десяток или полтора десятка человек; дело, значит, было вдали от жилья! Выведенный из себя каким-то неуспешным действием крестьян, а может быть, только казавшимся ему таковым, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик

сильною грубостию и вслед за тем, убоявшись последствия этой грубости, крикнул: «Ребята, карачун ему!..» — и с этим возгласом все крестьяне, в числе до пятнадцати человек, кинулись на отца и в одно мгновенье, конечно, покончили с ним!..

Как стая коршунов, наехало из Каширы так называемое Временное отделение. Первым его делом, конечно, было разъяснить, сколько мужики могут дать за сокрытие этого преступления! Не знаю, на какой сумме они порешили, и не знаю также, где крестьяне взяли вдруг, вероятно, немаловажную сумму денег, знаю только, что Временное отделение было удовлетворено, труп отца был анатомирован, причем найдено, что смерть произошла от апоплексического удара, и тело было предано земле в церковном погосте села Моногарова.

1840-е. Петербургская молодость

Александр Егорович Ризенкампф:

Скажу несколько слов об обыкновенном ежедневном препровождении времени Федора Михайловича. Не имея никаких знакомств в семейных домах, навещая своих бывших товарищей весьма редко, он почти все время, свободное от службы, проводил дома. Служба ограничивалась ежедневным (кроме праздников) хождением в Инженерный замок, где он с 9 часов утра до 2-х часов пополудни занимался при Главном инженерном управлении. После обеда он отдыхал, изредка принимал знакомых, а затем вечер и большую часть ночи посвящал любимому занятию литературой. Какую ему принесет выгоду это занятие, о том он мало думал. «Ведь дошел же Пушкин до того, что ему за каждую строчку стихов платили по червонцу, ведь платили же Гоголю, — авось и мне заплатят что-нибудь!» — так выражался он часто.

Когда были деньги, он брал из кондитерской последние вышедшие книжки «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения» или другого журнала, нередко абонировался в которой-нибудь библиотеке на русские и французские книги. У меня были из новейших немецких беллетрических сочинений творения Карла Бека, Фрейлиграта, Рюккерта, Ник. Ленау, Эм. Гейбеля, Ан. Грюна, Иммермана, Ферстера, Гервега, Ланге, Г. фон Фаллерслебена, Гейне и Берне и пр. Федор Михайлович считал истраченные на эти сочинения деньги брошенными; единственные интересовавшие его стихи были: «Es kamen nach Frankreich zwei Grenadier»[7] Гейне и «Janko, der ungarische Rosshirt»[8] К. Бека. Во время безденежья (т. е. всего чаще) он сам сочинял, и письменный стол его был всегда завален мелко, но четко исписанными цельными или изорванными листами бумаги. Как жаль, что он в хранении своих листков не соблюдал порядка и аккуратности своего старшего брата!

Я старался познакомить его в некоторых семейных домах. Первым в том числе был дом почтенного бельгийца Монтиньи, служившего механиком при арсенале… Но будучи не совершенно тверд во французском разговоре, Федор Михайлович часто разгорячался, начинал плевать и сердиться, и в один вечер разразился такой филиппикой против иностранцев, что изумленные швейцарцы его приняли за какого-то «enrage»[9] и почли за лучшее ретироваться. Несколько дней сряду Федор Михайлович просил меня убедительно оставить всякую попытку к сближению его с иностранцами. «Чего доброго, — женят меня еще

на какой-нибудь француженке, и тогда придется проститься навсегда с русскою литературой!»

Гораздо лучше Федор Михайлович сошелся с некоторыми товарищами моими из поляков. Первое место в том числе занимал… незабвенный друг мой Станислав Осипович Сталевский… Разговор его был увлекательный, но всегда обдуманный и осторожный. Опытность жизни отличала его перед товарищами, которые все были моложе его летами. Он был одинаково любим и уважаем равно своими товарищами, как и начальниками. Посещения его были Федору Михайловичу особенно приятны, так что, услышав голос его, он нередко бросал свои занятия, чтобы наслаждаться умною и приятною беседою. Сталевский знакомил нас обоих с сочинениями Мицкевича…

Вернувшись в Петербург в сентябре 1843 года… застал Федора Михайловича без копейки, кормящимся молоком и хлебом, да и то в долг из лавочки. На поверку… оказалось, что громадные счеты, подававшиеся в конце месяца даже одним булочником, зависят… от того, что его денщик Семен, находясь в интимных отношениях с прачкой, прокармливал не только ее, но и всю ее семью и целую компанию ее друзей на счет своего барина. Мало того: вскоре раскрылась и подобная же причина быстрого таяния белья, ремонтировавшегося каждые три месяца, то есть при каждой получке денег из Москвы. Но точно так же, как в денщике, пришлось разочаровывать Федора Михайловича в его портном, сапожнике, цирюльнике и т. д., а равным образом доводить его до сознания, что и в числе угощаемых им посетителей далеко не все заслуживали участия.

Крайнее безденежье Федора Михайловича продолжалось около двух месяцев. Как вдруг, в ноябре, он стал расхаживать по зале как-то не по-обыкновенному — громко, самоуверенно, чуть не гордо. Оказалось, что он получил из Москвы тысячу рублей. Но на другой же день утром он опять своею обыкновенною тихою, робкою походкою вошел в мою спальню с просьбою одолжить ему пять рублей. Оказалось, что большая часть полученных денег ушла на уплату за различные заборы в долг, остальное же частию проиграно на бильярде, частию украдено каким-то партнером, которого Федор Михайлович доверчиво зазвал к себе и оставил на минуту одного в кабинете, где лежали незапертыми последние пятьдесят рублей.

По всей вероятности, зазванный Федором Михайловичем незнакомец в свою очередь показался ему любопытным субъектом для наблюдений. Особенное его внимание остановил на себе один молодой человек… брат фортепьянного мастера Келера. Это был вертлявый, угодливый, почти оборванный немчик, по

профессии комиссионер, а в сущности — приживалка. Заметив беззаветное гостеприимство Федора Михайловича, он сделался одно время ежедневным его посетителем — к чаю, обеду и ужину, и Федор Михайлович терпеливо выслушивал его рассказы о столичных пролетариях. Нередко он записывал слышанное, что кое-что из келеровского материала отразилось потом на романах «Бедные люди», «Двойник», «Неточка Незванова» и т. д.

В декабре 1843 года Федор Михайлович опять дошел до крайнего недостатка в деньгах. Дело дошло до займа у одного отставного унтер-офицера, бывшего прежде приемщиком мяса у подрядчиков во 2-м Сухопутном госпитале и дававшего деньги под заклад. Федору Михайловичу пришлось дать ростовщику доверенность на получение вперед жалованья за январскую треть 1844 года, с ручательством казначея Инженерного управления. При этой операции вместо трехсот рублей ассигнациями Федору Михайловичу доставалось всего двести, а сто рублей считались процентами за четыре месяца. Понятно, что при этой сделке Федор Михайлович должен был чувствовать глубокое отвращение к ростовщику…

К 1-му февраля 1844 года Федору Михайловичу выслали опять из Москвы тысячу рублей, но уже к вечеру в кармане у него оставалось всего сто. На беду, отправившись ужинать к Доминику, он с любопытством стал наблюдать за биллиардной игрой. Тут подобрался к нему какой-то господин, обративший его внимание на одного из участвующих в игре — ловкого шулера, которым была подкуплена вся прислуга в ресторане. «Вот, — продолжал незнакомец, — домино так совершенно невинная, честная игра». Кончилось тем, что Федор Михайлович туг же захотел выучиться новой игре, но за урок пришлось заплатить дорого: на это понадобились целых двадцать пять партий и последняя сторублевая Достоевского перешла в карман партнера-учителя.

На другой день новое безденежье, новые займы, нередко за самые варварские проценты, чтобы только было на что купить сахару, чаю и т. п.

Дмитрий Васильевич Григорович:

В течение этого времени я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить вместе, каждый на свой счет. Матушка посылала мне ежемесячно пятьдесят рублей; Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. По тогдашнем) — времени, денег этих было бы за глаза для двух молодых людей; но деньги у нас не держались и расходились обыкновенно в первые две недели; остальные две

недели часто приходилось продовольствоваться булками и ячменным кофеем, который тут же подле покупали мы в доме Фридерикса. Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери — я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами.

Степан Дмитриевич Яновский:

Федор Михайлович как в то время, когда познакомился со мною, так и после, когда возвратился из Сибири и жил своим домом, даже и тогда, когда Михаил Михайлович действительно имел хорошие средства и, по-видимому, брату ни в чем не отказывал, Федор Михайлович все-таки был беден и в деньгах постоянно нуждался. Когда же вспомнишь то, что плату за труд Федор Михайлович получал постоянно хорошую, что жизнь он вел, в особенности когда был холостым, чрезвычайно скромную и без претензий, то невольно задаешься вопросом: *куда же он девал деньги?* На этот вопрос я могу отвечать положительно верно, так как в этом отношении Федор Михайлович был со мною откровеннее, чем с кем-либо: он все почти свои деньги раздавал тем, кто был хоть сколько-нибудь беднее его; иногда же и просто таким, которые были хотя и не беднее его, но умели выманить у него деньги как у добряка безгранично-то. В карты Федор Михайлович не только не играл, но не имел понятия ни об одной игре и ненавидел игру. Вина и кутежа он был решительный враг; притом же, будучи от природы чрезвычайно мнительным… и состоя под страхом кондрашки, он всячески воздерживался от всего возбуждающего…

Единственное, что любил Федор Михайлович, это устройство изредка обедов в Hotel de France, в Малой Морской, целою компанией близких ему людей. Обеды эти обыкновенно обходились не дороже двух рублей с человека; но веселья и хороших воспоминаний они давали каждому чуть не на все время до новой сходки. Обед заказывался всегда Федором Михайловичем и стоил рубль с персоны; из напитков допускались: пред обедом рюмка, величиною с наперсток, водки… и по два бокала шампанского за обедом, да чай а discretion[10] после обеда.

Федор Михайлович в то время водки не пил, шампанского ему наливали четверть бокала, и он прихлебывал его по одному глоточку после спичей, которые любил говорить и говорил с увлечением. Чаепитие же продолжалось до поздней поры и

прекращалось с уходом из гостиницы. Обеды эти Федор Михайлович очень любил; он на них вел задушевные беседы, и они составляли для него действительно праздник. Вот как он сам объяснял мне причину его любви к этим сходкам: «Весело на душе становится, когда видишь, что бедный пролетарий (пролетарием он называл каждого живущего поденным заработком, а не рентой или иным каким-нибудь постоянным доходом, например службой) сидит себе в хорошей комнате, ест хороший обед и запивает даже шипучкою, и притом настоящею». По окончании этого праздничного обеда Федор Михайлович с каким-то особенным удовольствием подходил ко всем, жал у каждого руку и приговаривал: «А ведь обед ничего, хорош, рыба под соусом была даже очень и очень вкусная»…

Припоминая себе те часы, которые я проводил каждодневно с незабвенным Федором Михайловичем, я не могу пройти молчанием бесед о литературе, которые он вел со мною иногда один на один, а иногда и в присутствии других общих наших приятелей. Само собою разумеется, что Пушкина и Гоголя он ставил выше всех и часто, заговорив о том или другом из них, цитировал из их сочинений на память целые сцены или главы. Лермонтова и Тургенева он тоже ставил очень высоко; из произведений последнего особенно хвалил «Записки охотника». Чрезвычайно уважительно отзывался о всех произведениях, хотя по числу в то время незначительных, И. А. Гончарова, которого отдельно напечатанный «Сон Обломова» (весь роман в то время напечатан еще не был) цитировал с увлечением. Из писателей эпохою постарше он рекомендовал Лажечникова. О других же наших беллетристах, как, например, о гр. Соллогубе, Панаеве (Ив. Ив.), он отзывался не особенно одобрительно и, не отказывая им в даровании, не признавал в них художественных талантов. У меня в то время была порядочная библиотечка, и я часто, возвратясь домой, заставал Федора Михайловича за чтением вынутой из шкафа книги, и чаще всего с Гоголем в руках. Гоголя Федор Михайлович никогда не уставал читать и нередко читал его вслух, объясняя и толкуя до мелочей. Когда же он читал «Мертвые души», то почти каждый раз, закрывая книгу, восклицал: «Какой великий учитель для всех русских, а для нашего брата писателя в особенности! Вот так настольная книга! Вы ее, батюшка, читайте каждый день понемножку, ну хоть по одной главе, а читайте; ведь у каждого из нас есть и патока Манилова, и дерзость Ноздрева, и аляповатая неловкость Собакевича, и всякие глупости и пороки».

Кроме сочинений беллетристических, Федор Михайлович часто брал у меня книги медицинские, особенно те, в которых

трактовалось о болезнях мозга и нервной системы, о болезнях душевных и о развитии черепа по старой, но в то время бывшей в ходу системе Галла. Эта последняя книга с рисунками занимала его до того, что он часто приходил ко мне вечером потолковать об анатомии черепа и мозга, о физиологических отправлениях мозга и нервов, о значении черепных возвышенностей, которым Галл придавал важное значение. Прикладывая каждое мое объяснение непременно к формам своей головы и требуя от меня понятных для Него разъяснений каждого возвышения и углубления в сто черепе, он часто затягивал беседу далеко за полночь…

Федор Михайлович и в первое время знакомства со мною был очень небогат и жил на трудовую копейку; но потом, когда знакомство наше перешло в дружбу, он до самого ареста постоянно нуждался в деньгах. Но так как он по натуре своей был честен до щепетильности и притом деликатен до мнительности, то не любил надоедать другим своими просьбами о займе. Он часто, бывало, и мне говорит: «Вот ведь знаю, что у вас я всегда могу взять рублишко, а все-таки как-то того… ну да у вас возьму, вы ведь знаете, что отдам». Но так как нужда пришибала его часто, да притом и не его одного, а и многих других ему близких людей, то раз он заговорил со мною о том: «Как бы нам составить такой капиталец, ну хоть очень маленький, рублей в сотняжку, из которого можно было заимствоваться в случае крайности, как из своего кошелька?» Я согласился на это его предложение, но с условием сформировать запас в течение четырех месяцев, для чего я буду откладывать из моего жалованья и дохода от практики по двадцать пять рублей в месяц… Федор Михайлович тотчас написал правила, которыми должны были руководиться те, кто заимствовался из этой кассы, и мы их сообщили другим…

Общая касса хранилась у меня; помещалась она в одном из ящиков моего письменного стола, ключ от которого висел над столом. В ящике же лежал лист бумаги, на котором были написаны рукой Федора Михайловича правила: сколько каждый может взять денег, когда и в каком расчете взятая сумма должна была быть возвращена, и, наконец, было оговорено, что нарушивший хоть раз правила взноса мог пользоваться ссудой не иначе как с ручательством другого; если же кто и после этого оказывался неаккуратным, таковому кредит прекращался. Многие пользовались этим оборотным капиталом и признавали помощь от него существенною. Бывшая у меня библиотечка подведена была под подобного же рода правила общего пользования…

Кроме главной кассы с капиталом во сто рублей, у нас была еще маленькая копилка, в которую мы опускали попадавшиеся

нам серебряные пятачки; эти деньги предназначались, собственно, для тех нищих, которые отказывались брать билеты в существовавшие тогда в Петербурге общие столовые…

Федор Михайлович очень любил общество, или, лучше сказать, собрание молодежи, жаждущей какого-нибудь умственного развития, но в особенности он любил такое общество, где чувствовал себя как бы на кафедре, с которой мог проповедовать. С этими людьми Федор Михайлович любил беседовать, и так как он по таланту и даровитости, а также и по знаниям, стоял неизмеримо выше многих из них, то он находил особенное удовольствие развивать их и следить за развитием талантов и литературной наметки этих молодых своих товарищей. Я не помню ни одного из известных мне товарищей Федора Михайловича (а я их знал почти всех), который не считал бы своею обязанностию прочесть ему свой литературный труд…

Здесь же кстати я позволю себе сказать слово о том, что во все время моего знакомства с Федором Михайловичем и во всех моих беседах с ним я никогда не слыхал от него, чтоб он был в кого-нибудь влюблен или даже просто любил бы какую-нибудь женщину страстно. До ссылки Федора Михайловича в Сибирь я никогда не видал его даже «шепчущимся», то есть Штудирующим и анализирующим характер которой-либо из знакомых нам дам или девиц, что, однако же, по возвращении его в Петербург из Сибири, составляло одно из любимых его развлечений.

Литературный дебют

Дмитрий Васильевич Григорович:

Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». Бальзак был любимым нашим писателем; говорю «нашим» потому, что оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей… Не могу припомнить, каким образом, через кого перевод «Евгении Гранде» попал в журнал «Библиотека для чтения»; помню только, когда книга журнала попала к нам в руки, Достоевский глубоко огорчился, и было отчего: «Евгения Гранде» явилась едва ли не на треть в сокращенном виде против подлинника. Но таков уж, говорили, был обычай у Сенковского, редактора «Библиотеки для чтения»…

Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера, точно бисер, точно нарисованные. Такой почерк видел я впоследствии только у одного писателя: Дюма-отца. Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время очень пристрастился к романам Ф. Сулье, особенно восхищали его «Записки демона». Усиленная работа и упорное сиденье дома крайне вредно действовали на его здоровье; они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но, прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три.

Раз утром (это было летом) Достоевский зовет меня в свою комнату; войдя к нему, я застал его сидящим на диванё, служившем ему также постелью; перед ним, на небольшом письменном столе, лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата, с загнутыми полями и мелко исписанная.

— Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай, — сказал он с необычною живостью. Го, что он прочел мне в один присест и почти не останавливаясь, явилось вскоре в печати под названием «Бедные люди».

Я был всегда высокого мнения о Достоевском; его начитанность, знание литературы, его суждения, серьезность характера действовали на меня внушительно; мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части? С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями.

Результат этого чтения более или менее известен читающей публике. История о том, как я силой почти взял рукопись «Бедных людей» и отнес ее Некрасову, рассказана самим Достоевским в его «Дневнике».

Федор Михайлович Достоевский. *Из «Дневника писателя» 1877 г.:*

Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их, в который раз не помню… Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах,

чтоб его!» Это про вас-то, и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!»…

Дмитрий Васильевич Григорович:

Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа.

Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся, и мы отправились.

Должен признаться, я поступил в настоящем случае очень необдуманно. Зная хорошо характер моего сожителя, его нелюдимость, болезненную впечатлительность, замкнутость, мне следовало бы рассказать ему о случившемся на другой день, но сдержанно, а не будить его, не тревожить неожиданною радостью и вдобавок не приводить к нему чуть ли не ночью незнакомого человека; но я сам был тогда в возбужденном состоянии, в такие минуты здраво рассуждают более спокойные люди.

На стук наш в дверь отворил Достоевский; увидав подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнет бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность; но этого не случилось; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал, лежа на своем диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа.

Федор Михайлович Достоевский. *Из «Дневника писателя» 1877 г.:*

Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитируя из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к

нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна… Ах хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь… Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними, наверно уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». — «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему, вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!»

Иван Иванович Панаев (1812–1862), *писатель, журналист, издатель:*

Белинский принял ее (рукопись «Бедных людей». — *Сост.)* не совсем доверчиво. Несколько дней он, кажется, не принимался за нее.

Он в первый раз взялся за нее, ложась спать, думая прочесть немного, но с первой же страницы рукопись заинтересовала его… Он увлекался ею более и более, не спал всю ночь и прочел ее разом, не отрываясь.

Утром Некрасов застал Белинского уже в восторженном, лихорадочном состоянии.

В таком положении он обыкновенно ходил по комнате в беспокойстве, в нетерпении, весь взволнованный. В эти минуты ему непременно нужен был близкий человек, которому бы он мог передать переполнявшие его впечатления…

Нечего говорить, как Белинский обрадовался Некрасову.

— Давайте мне Достоевского! — были первые слова его.

Потом он, задыхаясь, передал ему свои впечатления, говорил, что «Бедные люди» обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдет далее Гоголя, и прочее…

Когда к нему привезли Достоевского, он встретил его с нежною, почти отцовскою любовью и тотчас же высказался перед ним *весь,* передал ему вполне свой энтузиазм.

Федор Михайлович Достоевский. *Из «Дневника писателя» 1877 г.:*

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к

нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим — «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», — подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей, — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Все это он тогда говорил мне… Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был

тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о к ним, с ними!»

Павел Васильевич Анненков (1812–1887), *литературный критик, историк литературы, мемуарист:*

В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его у окна гостиной с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: «Идите скорее, сообщу новость…» «Вот от этой самой рукописи, — продолжал он, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит. Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, — а какая драма, какие типы! Да, я и забыл вам сказать, что художника зовут Достоевский, а образцы его мотивов представлю сейчас». И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места, наиболее поразившие его, сообщая им еще большую окраску своей интонацией и нервной передачей. Так встретил он первое произведение нашего романиста.

Дмитрий Васильевич Григорович:

После знакомства с Некрасовым и через него с Белинским, который прочел рукопись «Бедных людей», с Достоевским произошла заметная перемена. Во время печатания «Бедных людей» он постоянно находился в крайне нервном возбуждении.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма брату Михаилу 1 февраля 1846 г.:*

Теперь посылаю тебе альманах. «Бедные люди» вышли еще 15-го. Ну, брат! Какою ожесточенною бранью встретили их везде! В «Иллюстрации» я читал не критику, а ругательство. В «Северной пчеле» было черт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина. Даже публика в остервенении: ругают $^3/_4$ читателей, но (да и то нет) хвалит отчаянно. Debais пошли ужаснейшие. Ругают, ругают, ругают, а все-таки читают. (Альманах расходится неестественно, ужасно. Есть надежда, что через 2 недели не останется ни одного экземпляра.) Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его, ругали — ругали, а все-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить. Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся — мне славу дурачье строят. До того осрамиться, как «Северная пчела» своей критикой, есть верх посрамления. Как неистово-глупо! Зато какие похвалы слышу я, брат! Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя. В «Библиотеке для чтения», где критику пишет Никитенко, будет огромнейший разбор «Бедных людей», в мою пользу. Белинский подымает в марте месяце трезвон. Одоевский пишет отдельную статью о «Бедных людях». Соллогуб, мой приятель, тоже. Я, брат, пустился в высший свет и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения.

В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. Им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может. Роман находят растянутым, а в нем слова лишнего нет.

Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь. А у меня будущность преблистательная, брат!

Владимир Александрович Соллогуб, граф (1813–1882), *писатель, мемуарист:*

В 1845 или году я прочел в одном из тогдашних ежемесячных изданий повесть, озаглавленную «Бедные люди». Такой оригинальный талант сказывался в ней, такая простота и сила, что повесть эта привела меня в восторг. Прочитавши ее, я тотчас

же отправился к издателю журнала, кажется Андрею Александровичу Краевскому, осведомиться об авторе; он назвал мне Достоевского и дал мне его адрес. Я сейчас же к нему поехал и нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц, кажется на Песках, молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми, рукавами. Когда я себя назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое старомодное кресло. Я сел, и мы разговорились; правду сказать, говорил больше я — этим я всегда грешил. Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная И самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать.

Достоевский просто испугался.

— Нет, граф, простите меня, — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, — но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться…

— Да кто вам говорит о большом свете, любезнейший Федор Михайлович, — мы с женой действительно принадлежим к большому свету, ездим туда, но к себе его не пускаем!

Достоевский рассмеялся, но остался непреклонным и только месяца два спустя решился однажды появиться в моем зверинце.

Авдотья Яковлевна Панаева:

По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно

втягивал в спор Достоевского и доводил его До высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался…

Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского? Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского. Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя «Бедных людей», будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому, что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто «маточка».

С этого вечера Достоевский уже более не показывался к нам и даже избегал встречи на улице с кем-нибудь из кружка. Раз, встретив его на улице, Панаев хотел остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевский быстро перебежал на другую сторону.

В кружке Петрашевского

Степан Дмитриевич Яновский:

Его любовь, с одной стороны, к обществу и к умственной деятельности, а с другой — недостаток знакомства в других сферах, кроме той, в какую он попал, оставив Инженерное училище, были причиной того, что он легко сошелся с Петрашевским. Когда я, бывало, заводил речь с Федором Михайловичем, зачем он сам так аккуратно посещает пятницы у Покрова и отчего на этих собраниях бывает так много людей, Федор Михайлович отвечал мне всегда: «Сам я бываю оттого, что у Петрашевского встречаю и хороших людей, которые у других знакомых не бывают; а много народу у него собирается потому, что у него тепло и свободно, притом же он всегда предлагает ужин, наконец, у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности когда выпьет рюмочку винца; а его Петрашевский тоже дает, правда кислое и скверное, но все-таки дает. Ну, вот к нему и ходит всякий народ; но вы туда никогда не попадете — я вас не пущу» — и не пустил, за что я ему, как истинному моему другу и учителю, во всю мою жизнь был и до сих пор остаюсь душой и сердцем благодарен.

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский:

…Главным местом и временем нашего общения были определенные дни (пятницы), в которые мы собирались у одного из лицейских товарищей брата и Данилевского — Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского. Там мы и перезнакомились с кружком петербургской интеллигентной молодежи того времени, в среде которой я более других знал из пострадавших в истории Петрашевского — Спешнева, двух Дебу, Дурова, Пальма, Кашкина и избегших их участи — Д. В. Григоровича, А. М. Жемчужникова, двух Майковых, Е. И. Ламанского, Беклемишева, двух Мордвиновых, Владимира Милютина, Панаева и др. Все эти лица охотно посещали гостеприимного Петрашевского главным образом потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать подобные очень интересные для нас вечера, хотя сам Петрашевский казался нам крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Как лицеист, он числился на службе, занимая должность переводчика в министерстве иностранных дел; единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в качестве переводчика при процессах иностранцев, а еще более при составлении описей их

выморочного имущества, особливо библиотек. Это последнее занятие было крайне на руку Петрашевскому: он выбирал из этих библиотек все запрещенные иностранные книги, заменяя их разрешенными, а из запрещенных формировал свою библиотеку, которую дополнял покупкою различных книг и предлагал к услугам всем своим знакомым, не исключая даже и членов купеческой и мещанской управ и городской думы, в которой сам состоял гласным. Будучи крайним либералом и радикалом того времени, атеистом, республиканцем И социалистом, он представлял замечательный тип прирожденного агитатора: ему нравились именно пропаганда и агитаторская деятельность, которую он старался проявить во всех слоях общества. Он проповедовал, хотя и очень несвязно и непоследовательно, какую-то смесь антимонархических, даже революционных и социалистических идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи, но и между сословными избирателями городской думы. Стремился он для целей пропаганды сделаться учителем и в военно-учебных заведениях, и на вопрос Ростовцева, которому он представился, какие предметы он может преподавать, он представил ему список одиннадцати предметов; когда же его допустили к испытанию в одном из них, он начал свою пробную лекцию словами: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения» — и действительно изложил все двадцать, но в учителя принят не был. В костюме своем он отличался крайней оригинальностью: не говоря уже о строго преследовавшихся в то время длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, стараясь обратить на себя внимание публики, которую он привлекал всячески — например, пусканием фейерверков, произнесением речей, раздачею книжек и т. п., а потом вступал с нею в конфиденциальные разговоры. Один раз он пришел в Казанский собор переодетый в женское платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся, но его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на него внимание соседей, и когда наконец подошел к нему квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина», он ответил ему: «Милостивый государь, а мне кажется, Что вы переодетая женщина». Квартальный смутился, а Петрашевский воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал домой.

Весь наш приятельский кружок, конечно не принимавший самого Петрашевского за сколько-нибудь серьезного и основательного человека, посещал, однако же, его по пятницам и

при этом видел каждый раз, что у него появлялись все новые лица. В пятницу на Страстной неделе он выставлял на столе, на котором обыкновенно была выставляема закуска, — кулич, пасху, красные яйца и т. п. На пятничных вечерах, кроме оживленных разговоров, в которых в особенности молодые писатели выливали свою душу, жалуясь на цензурные притеснения, в то время страшно тяготевшие над литературою, производились литературные чтения и устные рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем либеральным освещением, которое недоступно было тогда печатному слову.

Степан Дмитриевич Яновский:

Все собрания Петрашевского и Дурова представляли собою такое незначительное число людей, что оно положительно терялось в Петербурге, как капля воды в быстротекучей Неве. Небольшая кучка этих людей была такою разнокалиберною смесью званий, сословий, профессий и возрастов, что одна уже эта пестрота состава показывала, что они не имели, да и не могли иметь, никакого влияния на массу общества. Денежных средств у этой кучки не было никаких, так как, за исключением Спешнева, Петрашевского, Дурова и Григорьева, все ее члены были бедняки; оружия, за исключением носимого свирепыми по виду черкесами и злосчастного с кремневым курком пистолета, который носил с собой постоянно излюбленный друг Петрашевского — Ханыков, у этой кучки тоже не было. Многие, крайней мере в конце сороковых годов, старались придать какое-то особенное значение тому, что в сходках Петрашевского участвовали некоторые офицеры гвардии, говоря при этом, что одно это обстоятельство придавало их делу серьезное значение. Но едва ли несколько единиц из двух полков гвардейской пехоты и одного кавалерийского, безо всякой связи и единомыслия ни с другими товарищами, ни с нижними чинами, представляли собой что-либо серьезное. Я и теперь помню, как сам Федор Михайлович критически и с полным недоверием относился к подобного рода рассуждению. Более же опытные и умные товарищи по полкам, например капитан Московского полка М. Н. Ханыков, штабс-капитан конно-гренадерского полка Власовский, Зволянский и др., просто смеялись над увлечением товарищей и называли их сумасшедшими. Сам Федор Михайлович сходкам у Петрашевского не придавал никакого значения. Он начал свое посещение их, а потом продолжал единственно по тем причинам, которые я уже указал, то есть благодаря тому, что его там слушали. Бывая постоянно у Петрашевского, он не стеснялся

высказывать многим из близких своих приятелей его неуважение к Петрашевскому, причем обыкновенно называл его агитатором и интриганом; над широкою шляпой Ханыкова и над его фигурой, завернутою всегда в альмавиву, и особенно над его пистолетом с кремневым курком он постоянно смеялся. Все это я говорю положительно и с уверенностию, так как все это я слышал от самого Федора Михайловича.

Спешнев

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский:

Петрашевскому было в то время двадцать семь лет. Почти ровесником ему был Н. А. Спешнев, очень выдающийся по своим способностям, впоследствии приговоренный к смертной казни. Н. А. Спешнев отличался замечательной мужественной красотою. С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя. Замечательно образованный, культурный и начитанный, он воспитывался в Лицее, принадлежал к очень зажиточной дворянской семье и был сам крупным помещиком. Романическое происшествие в его жизни заставило его провести несколько лет во Франции в начале и середине сороковых годов. Когда ему был 21 год, он гостил в деревне у своего приятеля, богатого помещика С., и влюбился в его молодую и красивую жену. Взаимная страсть молодых людей начала принимать серьезный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть внезапно дом С-х, оставив предмету своей страсти письмо, объясняющее причины его неожиданного отъезда. Но госпожа С. приняла не менее внезапное решение: пользуясь временным отсутствием своего мужа, она уехала из своего имения, разыскала Спешнева и отдалась ему навсегда… Уехали они за границу без паспортов и прожили несколько лет во Франции, до той поры, пока молодая и страстная беглянка не умерла, окруженная трогательными попечениями своего верного любовника.

Эта жизненная драма наложила на Спешнева неизгладимый отпечаток: Спешнев обрек себя на служение гуманитарным идеям. Всегда серьезный и задумчивый, он поехал после этого прежде всего в свое имение, где приложил заботы к улучшению быта своих крестьян, но скоро убедился, что главным средством к такому улучшению может служить только освобождение от крепостной зависимости и что такая крупная реформа может осуществиться не иначе как по инициативе верховной власти.

Шестилетнее пребывание во Франции выработало из него типичного либерала сороковых годов: освобождение крестьян и народное представительство сделались его идеалами. Обладая прекрасным знанием европейских языков и обширною эрудицией, он уже во время своего пребывания во Франции увлекался не только произведениями Жорж Занда и Беранже, философскими учениями Огюста Конта, но и социалистическими теориями Сен-Симона, Овена и Фурье; однако, сочувствуя им как гуманист, Спешнев считал их неосуществимыми утопиями. Получив амнистию за свой беспаспортный побег за границу, он прибыл в

Петербург и, найдя в кружке Петрашевского много лиц, с которыми сходился во взглядах и идеалах, сделался одним из самых выдающихся деятелей этого кружка. Будучи убежден, что для воспринятия идеи освобождения крестьян и народного представительства необходимо подготовить русское общество путем печатного слова, он возмущался цензурным его притеснением и первый задумал основать свободный заграничный журнал на русском языке, не заботясь о том, как он попадет в Россию. Спешнев непременно бы осуществил его предприятие, если бы не попал в группу лиц, осужденных за государственное преступление.

Пробыв шесть лет в каторге и потеряв свое имение, перешедшее при лишении его всех прав состояния к его сестре, Спешнев был помилован с возвращением ему прав состояния только при вступлении на престол императора Александра II. Верный своим идеалам, он с восторгом следил за делом освобождения крестьян и после 19 февраля 1861 года сделался одним из лучших мировых посредников первого призыва. В этом звании я видел его в 1863 году в первый раз после его осуждения: он казался, несмотря на то что был еще в цвете лет (ему было сорок два года), глубоким, хотя все еще величественным старцем.

Степан Дмитриевич Яновский:

Теперь я приступлю к характеристике того Федора Михайловича, который явился и предо мною в конце 1848 года как будто иным *если не по существу,* то, по крайней мере, *по внешности.* В чем заключалась эта перемена? как она совершилась и что было ее причиной? Вот вопросы, на которые я постараюсь дать по возможности близкие к истине ответы. Вся перемена Федора Михайловича, по крайней мере в моих глазах, заключалась в том, что он сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как-то особенно часто жалующимся на дурноты.

Совершилась эта перемена если не вдруг и не неожиданно, то и не в очень длинный промежуток времени, а так примерно в течение двух-трех недель. Причиной же всего этого было, как впоследствии он сам мне это сказал, сближение со Спешневым, или, лучше сказать, заем у него денег. До этого обстоятельства Федор Михайлович, разговаривая со мною о лицах, составлявших кружок Петрашевского, любил с особенным сочувствием отзываться о Дурове, называя его постоянно человеком очень умным и с убеждениями, нередко указывал на Момбелли и Пальма, но о Спешневе или ничего не говорил, или отделывался

лаконическим: «Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому». Я знал, как Федор Михайлович был самолюбив, и, объяснив себе это нерасположение тем, что, знать, нашла коса на камень, не настаивал на подробностях. Даже и в то время, когда я видел, что совершившаяся перемена в характере Федора Михайловича, а особенно его скучное расположение духа должны иметь какую-нибудь причину, я не обнаруживал желания прямо узнать ее, а говорил только, что я не вижу никакого органического расстройства, а следовательно, старался и его уверить в том, что это пройдет. Но на эти-то мои успокоения однажды Федор Михайлович мне и ответил: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей серебром) и теперь я *с ним* и *его*. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад; такой уж он человек». Вот разговор, который врезался в мою память на всю мою жизнь, и так как Федор Михайлович, ведя его со мною, несколько раз повторил: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель», то я невольно ему и теперь даю такое же фатальное значение, какое он заключал в себе и в то время.

Аполлон Николаевич Майков:

Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на мою квартиру в дом Аничкова, — приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение.

— Вы, конечно, понимаете, — говорит он, — что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы… (Это Федор-то Михайлович меня упрекал в самолюбии!)

— Как так?

— А вы не признаете авторитетов, вы, например, не соглашаетесь со Спешневым (проповедовавшим фурьеризм).

— Полит<ической> эконом<ией> особенно не интересуюсь. Но, действительно, мне кажется, что Спешнев говорит вздор; но что же из этого?

— Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов,

Григорьев, Владимир Милютин и я — мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?

— Но с какою целию?

— Конечно, с целию произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок; его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; все готово.

— Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом.

Мы спорили долго, наконец устали и легли спать. Поутру Достоевский спрашивал:

— Ну, что же?

— Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю, и, повторяю, — если есть еще возможность, — бросьте их и уходите.

— Ну, это уж мое дело. А вы знайте. Обо всем вчера <сказанном> знают только семь человек. Вы восьмой — девятого не должно быть!

— Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду молчать.

Вот какой у нас был разговор.

Арест, следственное дело и приговор

Федор Михайлович Достоевский:

Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 года) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос: «Вставайте!»

Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

— Что случилось? — спросил я, привстав с кровати.

— По повелению…

Смотрю: действительно «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля…

«Эге! Да это вот что!» — подумал я.

— Позвольте ж мне… — начал было я.

— Ничего, ничего! одевайтесь… Мы подождем-с, — прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику.

— Уж не фальшивый ли? — спросил я.

— Гм… Это, однако же, надо исследовать… — бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сел солдат, я, пристав и полковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада.

Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин,

статский, но в большом чине, принимал… беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал мне кто-то на ухо.

23 апреля был действительно Юрьев день. Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. В списке перед именем господина Антонелли написано было карандашом: «агент по найденному делу».

«Так это Антонелли!» — подумали мы. Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек семнадцать…

Вошел Леонтий Васильевич… (Дубельт).

Но здесь я прерываю мой рассказ. Долго рассказывать. Но уверяю, что Леонтий Васильевич был преприятный человек.

Александр Петрович Милюков:

Двадцать третьего апреля 1849 года, возвратясь домой с лекции, я застал у себя М. М. Достоевского, который давно ожидал меня. С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен.

— Что с вами? — спросил я.

— Да разве вы не знаете! — сказал он.

— Что такое?

— Брат Федор арестован.

— Что вы говорите! когда?

— Нынче ночью… обыск был… его увезли… квартира опечатана…

— А другие что?

— Петрашевский, Спешнев взяты… кто еще — не знаю… меня тоже не сегодня, так завтра увезут.

— Отчего вы это думаете?

— Брата Андрея арестовали… он ничего не знает, никогда не бывал с нами… его взяли по ошибке вместо меня.

Мы уговорились идти сейчас же разузнать, кто еще из наших друзей арестован, а вечером опять повидаться. Прежде всего я отправился к квартире С. Ф. Дурова: она была заперта и на дверях виднелись казенные печати. То же самое нашел я у Н. А. Момбелли, в Московских казармах, и на Васильевском острове — у П. Н. Филиппова. На вопросы мои денщику и дворникам мне отвечали: «Господ увезли ночью». Денщик Момбелли, который знал меня, говорил это со слезами на глазах. Вечером я зашел к М. М. Достоевскому, и мы обменялись собранными сведениями. Он был у других наших общих знакомых

и узнал, что большая часть из них арестованы в прошлую ночь. По тому, что мы узнали, можно было заключить, что задержаны те только, кто бывал на сходках у Петрашевского… М. М. Достоевский тоже бывал у него и, очевидно, не взят был только потому, что вместо его по ошибке задержали его брата, Андрея Михайловича. Таким образом, и над ним повис дамоклов меч, и он целые две недели ждал каждую ночь неизбежных гостей.

Андрей Михайлович Достоевский:

Целый день 23 апреля, вплоть до ночи, мы провели в III Отделении, нас разместили по отдельным залам по восемь-десять человек и обязали не разговаривать друг с другом. Это был очень томительный день неизвестности. Около полудня приехал князь Орлов (бывший тогда шеф жандармов). Он в каждой зале говорил арестованным маленькую речь, сущность которой, насколько припомню, была та, что мы не умели пользоваться правами и свободою, предоставленными всем гражданам, и своими поступками принудили правительство лишить нас этой свободы, и что по подробном разборе наших преступлений над нами будет произведен суд, а окончательная участь наша будет зависеть от милосердия монарха.

Нам подавали чай, кофе, завтрак, обед и все очень изысканно сервированное… одним словом, кормили на славу, как гостей в III Отделении.

Один из соседей моих, постоянно около меня сидевший на диване и очень симпатичный молодой человек, вынув клочок бумажки из своего кармана, написал на нем карандашом: «Как ваша фамилия и за что вы арестованы?» Бумажку эту он передал мне для прочтения.

Я написал на ней: «Фамилия моя Достоевский, а за что арестован — не ведаю». — В свою очередь, я сделал ему тот же вопрос и таким же путем получил ответ, что фамилия его Данилевский и причина арестования ему тоже неизвестна…

Медленно тянулся этот томительный день, и наконец вечером, уже в сумерки, стали долетать до нас отрывочные разговоры между проходившими беспрестанно жандармами:

— Что, наведен?

— Нет еще, наводят.

Это говорилось о мосте, по которому должно было препроводить нас в крепость и который по весеннему времени не был еще наведен; но для меня слова эти были тогда непонятны.

Когда уже совершенно стемнело, следовательно, часов уже в одиннадцать, нас начали поодиночке выкликать, и раз вызванный

более уже к нам не возвращался. Наконец очередь дошла и до меня; меня вызвали и повели внутренними ходами в нижний этаж, — оказалось, что в кабинет Л. В. Дубельта.

В кабинете этом, за большим письменным столом, заваленным кипами бумаг, сидел седенький и худенький генерал в голубом сюртуке и белых генеральских эполетах. Это и был Л. В. Дубельт. Поглядев на меня пристально, он спросил, как мне показалось, довольно сурово:

— Достоевский?..

— Точно так, — отвечал я.

— Извольте отправляться с господином поручиком NN. — Он сказал и фамилию, но, конечно, я ее не помню, а может быть, и не разобрал тогда.

Я вышел с жандармским поручиком в переднюю, через которую проходил утром. Мне надели мою шинель и вывели не на улицу, а во двор, где дожидалась меня такая же, как утром, четырехместная карета. Меня посадили в эту карету, в которую сел рядом со мною и жандармский поручик, а напротив уселся жандармский унтер-офицер, закрыли дверцы кареты, опустили шторы, и карета двинулась.

На этот раз езда наша была гораздо продолжительнее. Странное дело, мне вовсе не приходило тогда в голову самого простого… то есть, что меня везут в крепость. Вероятно, вследствие моего нервного расстройства, мне все казалось, что меня вывезут за город, за заставу, и там пересадят на перекладную и прямо препроводят в Сибирь…

Наконец, после различных проездов под какими-то сводами (через несколько ворот в крепости) — карета остановилась, и меня заставили из нее выйти и ввели в небольшую комнату комендантского флигеля, где со списком в руках принимал нас старый генерал. Это был комендант крепости генерал-от-инфантерии Набоков.

— Достоевский?

— Так точно, ваше высокопревосходительство, — отвечал привезший меня жандармский поручик.

— Отведите его в первый номер.

И вот опять повели меня, на этот раз через какой-то открытый двор; вошедши в какой-то темный не то коридор, не то сени, мы остановились перед одною дверью, которая со скрипом открылась перед нами, меня впустили в какую-то комнату, дверь мгновенно за мною затворилась, с шумом задвинули железные задвижки и заперли дверь двумя висячими замками. Я очутился один…

Ощущения, испытанные во весь день, с раннего утра, тревожное состояние в продолжение целого дня, таинственность

перевозки, темнота ночи, скрип двери и стук запираемых замков — все это вместе взятое окончательно расстроило мои нервы! Я все еще не мог сообразить в первое время где я?.. и куда меня ввергнули?..

Комнату едва-едва освещала простая плошка, какие в старину употреблялись при уличных иллюминациях, поставленная на уступ оконной амбразуры. От нее чадило страшно, так, что ело глаза. Я хотел было затушить ее, но мне постучали в маленькое окошечко, устроенное в двери, и сказали, чтобы я не делал этого. Из этого я заключил, что за действиями моими ежеминутно наблюдают.

Осмотревшись немного, я заметил, что посередине стоит койка с простым тюфяком и подушкою, а в отдаленном углу необходимая мебель, то есть судно, и более ничего.

Расстроенный, измученный всеми происшествиями дня, я не раздеваясь кинулся на койку и мгновенно уснул как убитый. В последующие ночи мне уже не приходилось так спокойно спать.

Проснувшись на другой день, я долгое время не мог сообразить, где я. Наконец припомнил все и покорился своей участи. Благовест церковного колокола в очень близком расстоянии, сперва к утрени, а затем и к ранней обедне; почти ежеминутный бой башенных часов с музыкальным наигрыванием через каждые четверть часа — заставили меня догадаться, что я нахожусь в Петропавловской крепости, в одном из ее казематов. Встав с койки, я начал подробно осматривать свой каземат № 6. Оказалось, что это довольно большая и слишком высокая комната, покрытая сводом. Все стены были сырые, и чувствовался холод, проникавший до самых костей. Я все время не снимал теплой своей шинели, в которой и спал. На стенах ясно обозначались различные свежие царапины. Вероятно, незадолго перед ожиданием новых жильцов, соскабливали различные надписи, сделанные прежними жильцами. Окно было одно; но просвет его начинался так высоко от полу, что, встав на амбразурный уступ (аршина полтора от полу), нельзя было достать до подоконника, а следовательно, ничего нельзя было и видеть. Полы, вероятно, были когда-то кирпичные, но от времени все выбились.

И вот потекла моя жизнь изо дня в день в ничегонеделании. Ни книг, ни бумаги, ничего не было!.. Оставалось только мечтать и обдумывать, что может случиться вперед. Единственное занятие, которое я выдумал для себя, состояло в том, что, вставши с койки, я начинал ходить, считая вслух свои шаги, и, насчитав их тысячу, садился на койку отдыхать. Потом начинал снова то же занятие. Этим я немного отгонял от головы мрачные

мысли.

В первый же день моего заключения мне объявил плац-майор, что я могу иметь за свои деньги два раза в день чай.

— А курить здесь можно? — спросил я.

— Сколько угодно.

Узнав это, я попросил плац-майора распорядиться покупкою мне табаку, сигар и спичек, а равно и чубук с двумя-тремя трубками (папирос тогда еще в продаже не имелось), на что и вручил ему имевшийся у меня весь свой капитал до двух рублей.

— На все? — спросил он.

— На все, — отвечал я, алчно помышляя о первой трубке.

И вот через несколько времени мне принесли курево со всеми принадлежностями… но, ужас, табак был в тридцать копеек фунт, а сигары по семь с половиной копеек десяток. Когда я заявил, что нельзя ли переменить купленный товар на лучший, то старый служитель, исполнявший эту порученность, внушительно проговорил:

— Ничего, господин, привыкнете и к этому, зато на дольше хватит… Ведь неизвестно, как долго вы здесь пробудете!

Я подумал, согласился с его доводами и оставил купленное. Таким образом я был обеспечен большим запасом худого курева; но зато лишился возможности, хотя изредка, выпить стакан горячего чаю.

Двери моего каземата отпирались ежедневно по пяти раз, всегда в одно и то же время: 1) утром, часов в семь или восемь, когда приносили мне умыться и убирали комнату, то есть выносили из судна; 2) часов в десять-одиннадцать, при обходе начальства. Комендант почти ежедневно посещал казематы сам; 3) в двенадцать часов дня, когда приносили обедать; 4) в семь часов вечера, когда приносили ужин, и 5) когда стемнеет, чтобы поставить плошку.

Обед состоял всегда из двух блюд: щи или суп в виде похлебки с нарезанными мелко кусочками говядины, и каша, гречневая или пшенная, причем хлеба приносили вдоволь. Ужин же состоял из одного горячего. Для питья постоянно ставилась оловянная кружка с квасом или водою, по желанию. Как видно, пища была незатейливая, но жаловаться было нельзя, потому что она всегда была сытная и свежая. Ножа и вилки не полагалось, вероятно, опасались самоубийств.

Со второй же ночи я открыл новый сюрприз в своем каземате. Как только стемнело и внесли в каземат зажженную плошку, так мало-помалу начали появляться крысы огромной величины. Я всегда чувствовал и чувствую какую-то боязнь и какое-то отвращение не только к крысам, но даже и к мышам. И вот,

теперь мне приходилось воевать с большими крысами. Их являлось иногда штук по десять одновременно, и я, боясь, чтобы они не забрались мне на койку, не спал до рассвета. Я не мог понять, откуда они появляются; вероятно, где-нибудь вблизи был мучной лабаз. При дневном свете их не было видно. Но, впрочем, в конце апреля и начале мая светало рано, и я успевал выспаться. Сверх того, спал всегда и днем после обеда.

Александр Петрович Милюков:

Все это время мы видались ежедневно и обменивались новостями, хотя существенного ничего не могли разведать. Кроме слухов, которые ходили в городе и представляли дело Петрашевского с обычными в таких случаях прибавлениями, мы узнали только, что арестовано около тридцати человек, и все они сначала привезены были в Третье Отделение, а оттуда препровождены в Петропавловскую крепость и сидят в одиночных казематах. За кружком Петрашевского, как теперь оказалось, следили давно уже, и на вечера к нему введен был от министерства внутренних дел один молодой человек, который прикинулся сочувствующим идеям либеральной молодежи, аккуратно бывал на сходках, сам подстрекал других на радикальные разговоры и потом записывал все, что говорилось на вечерах, и передавал куда следует. М. М. Достоевский говорил мне, что он давно казался ему подозрительным. Скоро сделалось известно, что для исследования дела Петрашевского назначается особенная следственная комиссия, под председательством коменданта крепости генерала Набокова, из князя Долгорукова, Л. В. Дубельта, князя П. П. Гагарина и Я. И. Ростовцева.

Андрей Михайлович Достоевский:

Всякий день я ожидал допроса, обещанного мне комендантом крепости еще в первый день моего заключения в каземат. Я предполагал, что он совершится, конечно, днем, но дни проходили задними, и всякий вечер я с тоскою думал: «не завтра ли?»

Так прошло десять дней, то есть до понедельника 2-го мая. Вечером в этот день я потерял уже надежду, что мне дадут допрос, и думал, по обычаю, не завтра ли? Принесли и ужин; наконец стемнело и внесли зажженную плошку. Отбыв это последнее посещение, я начал, ходя, отсчитывать не помню которую тысячу шагов… Как вдруг послышался необычный в это время дня шум отпирающихся замков и отодвигающихся задвижек. У меня забилось сердце! Отворяются двери, и входит плац-майор:

— Пожалуйте к допросу!..

Я упал на колени и несколько минут горячо помолился Богу!

Выйдя на воздух, я, к изумлению своему, увидел всю землю покрытою только что выпавшим снегом. На меня пахнул свежий ветерок… и вдруг я почувствовал, что мне делается дурно, так что я чуть не упал. Плац-майор и конвойный остановились, я нагнулся к земле, взял горсть снегу и потер себе виски и голову. Мне стало лучше, и мы двинулись далее через двор к комендантскому флигелю, с тем чтобы более уже не возвращаться в каземат № 1.

Меня ввели сперва в приемную, небольшую, но ярко освещенную комнату. Там было большое зеркало, я взглянул в него… и удивился. Во-первых, я нашел, что очень похудел; во-вторых, я увидел при полном освещении свою сорочку… Она была черна, как сажа. Ведь почти две недели я не переменял белья, а чад от ночной плошки довершил остальное. Брезгливо и наскоро я засунул воротнички сорочки за галстук и застегнул сюртук до верху.

Через несколько минут меня позвали в залу заседаний следственной комиссии.

Посередине довольно большой и ярко освещенной комнаты стоял большой продолговатый стол, покрытый сукном. На председательском месте сидел комендант крепости генерал Набоков. Первое место по правую руку от него занимал, как после узнал я, князь Павел Павлович Гагарин, впоследствии председатель комитета министров, второе — Леонтий Васильевич Дубельт. Первое место по левую руку председателя занимал князь Василий Андреевич Долгоруков, а второе Яков Иванович Ростовцев. Конец стола занимала канцелярия, то есть обер-аудитор, аудитор и секретарь.

Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов (1823–1910), *фурьерист, посетитель «пятниц» Петрашевского:*

Так дожито было до 22 декабря 1849 года. В этот день, как во все прочие дни, проведя ночь беспокойно, до света, часов в шесть, я поднялся с постели и, по установившемуся уже давно разумному обычаю, инстинктивно направился к окну, стал на подоконник, отворил фортку, дышал свежим воздухом, а вместе с тем и воспринимал впечатления погоды нового дня. И в этот день я был в таком же упадке духа, как и во все прочие дни.

Было еще темно, на колокольне Петропавловского собора прозвучали переливы колоколов и за ними бой часов, возвестивший половину седьмого. Вскоре разглядел я, что земля покрыта была новым выпавшим снегом. Послышались какие-то

голоса, и сторожа, казалось, чем-то были озабочены. Заметив что-то новое, я дольше остался на окне и все более замечал какое-то происходящее необыкновенное Движение туда и сюда и разговоры спешивших крепостных служителей. Между тем рассветало все более, и хождение, и озабоченность крепостного начальства обозначались все явственнее. Это продолжалось с час времени. При виде такого небывалого еще никогда явления в крепости, несмотря на упадок духа, я вдруг оживился, и любопытство и внимание ко всему происходившему возрастали с каждой минутой. Вдруг вижу, из-за собора выезжают каре, ты — одна, две, три… и все едут и едут, без конца и устанавливаются вблизи белого дома и за собором. Потом глазам моим предстало еще новое зрелище: выезжал многочисленный отряд конницы, эскадроны жандармов следовали один за другим и устанавливались около карет… Что бы это все значило? Уж не похороны ли снова какие? Но для чего же пустые кареты?! Уж не настало ли окончание нашего дела?.. Сердце забилось… да, конечно, эти кареты приехали за нами!.. Неужели конец?! Вот и дождался я последнего дня!.. С 22 апреля по 22 декабря, восемь месяцев сидел я взаперти. А теперь что будет?!

Вот служители в серых шинелях несут какие-то платья, перекинутые через плеча, они идут скоро вслед за офицером, направляясь к нашему коридору. Слышно, как они вошли в коридор; зазвенели связки ключей, и стали отворяться кельи заключенных. И до меня дошла очередь; вошел один из знакомых офицеров с служителем; мне принесено было мое платье, в котором я был взят, и, кроме того, теплые, толстые чулки. Мне сказано, чтобы я оделся и надел чулки, так как погода морозная. «Для чего это? Куда нас повезут? Окончено наше дело?» — спрашивал я его, на что мне дан был ответ уклончивый и короткий при торопливости уйти. Я оделся скоро, чулки были толстые, и я едва мог натянуть сапоги. Вскоре передо мною отворилась дверь, и я вышел. Из коридора я выведен был на крыльцо, к которому подъехала сейчас же карета и мне предложено было в нее сесть. Когда я шел, то вместе со мною влез в карету и солдат в серой шинели и сел рядом — карета была двухместная. Мы двинулись, колеса скрипели, катясь по глубокому, морозом стянутому снегу. Оконные стекла кареты были подняты и сильно замерзлые, видеть через них нельзя было ничего. Была какая-то остановка: вероятно, поджидались остальные кареты. Затем началось общее и скорое движение. Мы ехали, я ногтем отскабливал замерзший слой влаги от стекла и смотрел секундами — оно тускнело сейчас же.

— Куда мы едем, ты не знаешь? — спросил я.

— Не могу знать, — отвечал мой сосед.

— А где же мы едем теперь? Кажется, выехали на Выборгскую?

Он что-то пробормотал. Я усердно дышал на стекло, отчего удавалось минутно увидеть кое-что из окна. Так ехали мы несколько минут, переехали Неву; я беспрестанно скоблил ногтем или дышал на стекло.

Мы ехали по Воскресенскому проспекту, повернули на Кирочную и на Знаменскую, — здесь опустил я быстро и с большим усилием оконное стекло. Сосед мой не обнаружил при этом ничего неприязненного — и я с полминуты полюбовался давно не виданной мною картиной пробуждающейся в ясное зимнее утро столицы; прохожие шли и останавливались, увидев перед собою небывалое зрелище — быстрый поезд экипажей, окруженный со всех сторон скачущими жандармами с саблями наголо! Люди шли с рынков; над крышами домов поднимались повсюду клубы густого дыма только что Отопленных печей, колеса экипажей скрипели по Снегу. Я выглянул в окно и увидел впереди и сзади карет эскадроны жандармов. Вдруг скакавший близ моей кареты жандарм подскочил к окну и повелительно и грозно закричал: «Не отгуливай!» Тогда сосед мой спохватился и поспешно закрыл окно, опять я должен был смотреть в быстро исчезающую щелку! Мы выехали на Лиговку и затем поехали по Обводному каналу. Езда эта продолжалась минут тридцать. Затем повернули направо и, проехав немного, остановились; карета отворилась предо мною, и я вышел.

Посмотрев крутом, я увидел знакомую мне местность — нас привезли на Семеновскую площадь. Она была покрыта свежевыпавшим снегом и окружена войском, стоявшим в каре. На валу вдали стояли толпы народа и смотрели на нас; была тишина, утро ясного зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим, красным шаром блистало на горизонте сквозь туман сгущенных облаков.

Солнца не видал я восемь месяцев, и представшая глазам моим чудесная картина зимы и объявший меня со всех сторон воздух произвели на меня опьяняющее действие. Я ощущал неописанное благосостояние и несколько секунд забыл обо всем. Из этого забвенья в созерцании природы выведен я был прикосновением посторонней руки; кто-то взял меня бесцеремонно за локоть, с желанием подвинуть вперед, и, указав направление, сказал мне: «Вон туда ступайте!» Я подвинулся вперед, меня сопровождал солдат, сидевший со мною в карете. При этом я увидел, что стою в глубоком снегу, утонув в него всею ступнею; я почувствовал, что меня обнимает холод. Мы были

взяты 22 апреля в весенних платьях и так в них и вывезены 22 декабря на площадь.

Направившись вперед по снегу, я увидел налево от себя, среди площади, воздвигнутую постройку и подмостки, помнится, квадратной формы, величиною в три-четыре сажени, со входною лестницею, И все обтянуто было черным трауром — наш эшафот Тут же увидел я кучку товарищей, столпившихся вместе и протягивающих друг другу руки и приветствующих один другого после столь насильственной злополучной разлуки. Когда я взглянул на лица их, то был поражен страшною переменой; там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев и некоторые другие. Лица их были худые, замученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие бородой и волосами…

Петрашевский, тоже сильно изменившийся, стоял нахмурившись, — он был обросший большой шевелюрою и густою, слившеюся с бакенбардами бородою. «Должно быть, всем было одинаково хорошо», — думал я. Все эти впечатления были минутные; кареты все еще подъезжали, и оттуда один за другим выходили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Ханыков, Кашкин, Европеус… все исхудалые, замученные… Вдруг все наши приветствия и разговоры прерваны были громким голосом подъехавшего к нам на лошади генерала, как видно распоряжавшегося всем, увековечившего себя в памяти всех нас… следующими словами:

— Теперь нечего прощаться! Становите их, — закричал он. Он не понял, что мы были только под впечатлением свидания и еще не успели помыслить о предстоящей нам смертной казни; многие же из нас были связаны искреннею дружбою, некоторые родством — как двое братьев Дебу. Вслед за его громким криком явился перед нами какой-то чиновник со списком в руках и, читая, стал вызывать нас каждого по фамилии.

Первым поставлен был Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли, и затем шли все остальные — всех нас было двадцать три человека (я поставлен был по ряду восьмым). После того подошел священник с крестом в руке и, став перед нами, сказал: «Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела, — последуйте за мною!» Нас повели на эшафот, но не прямо на него, а обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в каре. Такой обход, как я Узнал после, назначен был для назидания войска, и именно Московского полка, так как между нами были офицеры, служившие в этом полку, — Момбелли, Львов… Священник, с крестом в руке, выступал впереди, за ним мы все шли один за другим по глубокому снегу. В каре стояли, казалось мне, несколько полков, потому обход наш по всем четырем рядам его

был довольно продолжительный… Мы шли, переговариваясь: «Что с нами будут делать? — Для чего ведут нас по снегу? — Для чего столбы у эшафота? — Привязывать будут, военный суд — казнь расстрелянием. — Неизвестно, что будет, вероятно, всех на каторгу…»

Такого рода мнения высказывались громко, то спереди, то сзади от меня, и мы медленно пробирались по снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него, мы столпились все вместе и опять обменялись несколькими словами. С нами вместе взошли и нас сопровождавшие солдаты и разместились за нами. Затем распоряжались офицер и чиновник со списком в руках. Начались вновь выкликивание и расстановка, причем порядок был несколько изменен. Нас поставили двумя рядами перпендикулярно к городскому валу… Когда мы были уже расставлены в означенном порядке, войскам скомандовано было «на кара-ул», и этот ружейный прием, исполненный одновременно несколькими полками, раздался по всей площади свойственным ему ударным звуком. Затем скомандовано было нам «шапки долой!», но мы к этому не были подготовлены, и почти никто не исполнил команды, тогда повторено было несколько раз: «снять шапки, будут конфирмацию читать» — и с запоздавших приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату. Нам всем было холодно, и шапки на нас были хотя и весенние, но все же закрывали голову. После того чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого из нас. Всего невозможно было уловить, что читалось, — читалось скоро и невнятно, да и притом же мы все содрогались от холода…

Чтение это продолжалось добрых полчаса, мы все страшно зябли. Я надел шапку и завертывался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка с меня была сдернута рукою стоявшего за мною солдата. По изложении вины каждого, конфирмация оканчивалась словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием, и 19-го сего декабря государь император собственноручно написал: «Быть по сему»».

Мы все стояли в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние. Когда мы все уже были в саванах, кто-то сказал: «Каковы мы в этих одеяниях!»

Взошел на эшафот священник — тот же самый, который нас вел, — с Евангелием и крестом, и за ним принесен и поставлен был аналой. Поместившись между нами на противоположном

входу конце, он обратился к нам с следующими словами: «Братья! Пред смертью надо покаяться… Кающемуся Спаситель прощает грехи… Я призываю вас к исповеди…»

Никто из нас не отозвался на призыв священника — мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призывал нас к исповеди. Тогда один из нас — Тимковский — подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедаться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было Сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ его стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту. Затем священник, окончив дело это, стоял среди нас как бы в раздумье. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на коне возле эшафота: «Батюшка! Вы исполнили все, вам больше здесь нечего делать!..»»

Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание «колпаки надвинуть на глаза», после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: «Клац» — и вслед за тем группа солдат — их было человек шестнадцать, — стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли… Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них, почти в упор, ружейные стволы и ожидать, вот прольется кровь и они упадут мертвые, было ужасно, отвратительно, страшно… Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том-что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающею кровавою картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще злее, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. «Вот конец всему!..» Но вслед за тем увидел я, что

ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень! Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбелли и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж — оттуда вышел офицер — флигель-адъютант — и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем императором жизни и, взамен смертной казни, каждому, по виновности, особое наказание…

По окончании чтения этой бумаги с нас сняли саваны и колпаки.

Затем взошли на эшафот какие-то люди, вроде палачей, одетые в старые цветные кафтаны, — их было двое — и, став позади ряда, начинавшегося Петрашевским, ломали шпаги над головами поставленных на колени ссылаемых в Сибирь, каковое действие, совершенно безразличное для всех, только продержало нас, и так уже продрогших, лишние четверть часа на морозе. После этого нам дали каждому арестантскую шапку, овчинные, грязной шерсти, тулупы и такие же сапоги. Тулупы, каковы бы они ни были, нами были поспешно надеты, как спасение от холода, а сапоги велено было самим держать в руках. После всего этого на середину эшафота принесли кандалы и, бросив эту тяжелую массу железа на дощатый пол эшафота, взяли Петрашевского и, выведя его на середину, двое, по-видимому кузнецы, надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклепывать гвозди. Петрашевский сначала стоял спокойно, а потом выхватил тяжелый молоток у одного из них и, сев на пол, стал заколачивать сам на себе кандалы. Что побудило его накладывать самому на себя руки, что хотел он выразить тем — трудно сказать, но мы были все в болезненном настроении или экзальтации.

Между тем подъехала к эшафоту кибитка, запряженная курьерской тройкой, с фельдъегерем и жандармом, и Петрашевскому было предложено сесть в нее, но он, посмотрев на поданный экипаж, сказал: «Я еще не окончил все дела!»

— Какие у вас еще дела? — спросил его как бы с удивлением генерал, подъехавший к самому эшафоту.

— Я хочу проститься с моими товарищами! — отвечал Петрашевский.

— Это вы можете сделать, — последовал великодушный ответ. (Можно полагать, что и у него сердце было не каменное и он по своему разумению исполнял выпавшую на его долю трудную служебную обязанность, но под конец уже и его сердцу было нелегко.)

Петрашевский в первый раз ступил в кандалах; с непривычки ноги его едва передвигались. Он подошел к Спешневу, сказал ему несколько слов и обнял его, потом подошел к Момбелли и также простился с ним, поцеловав и сказав что-то. Он подходил по порядку, как мы стояли, к каждому из нас и каждого поцеловал, молча или сказав что-нибудь на прощание…

Простившись со всеми, он поклонился еще раз всем нам и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непривычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и солдата сошел с лестницы и сел в кибитку; с ним рядом поместился фельдъегерь и вместе с ямщиком жандарм с саблею и пистолетом у пояса; тройка сильных лошадей повернула шагом и затем, выбравшись медленно из кружка столпившихся людей и за ними стоявших экипажей и повернув на Московскую дорогу, исчезла из наших глаз…

Впечатление, произведенное на нас всем пережитым нами в эти часы совершения обряда смертной казни и затем объявления заменяющих ее различных ссылок, было столь же разнообразно, как и характеры наши. Старший Дебу стоял в глубоком унынии и ни с кем не говорил; Ипполит Дебу, когда я подошел к нему, сказал: «Лучше бы уж расстреляли!»…

Я был все-таки счастлив тем, что тюрьма миновала, что я сослан в работы и буду жить не один, а в обществе каких бы то ни было, но людей, загнанных, несчастных, к которым я подходил по моему расположению духа.

Другие товарищи на эшафоте выражали тоже свои взгляды, но ни у кого не было слезы на глазах, кроме одного из нас, стоявшего последним по виновности, избавленного от всякого наказания, — я говорю о Пальме. Он стоял у самой лестницы, смотрел на всех нас, и слезы, обильные слезы, текли из глаз его; приближавшимся же к нему, сходившим товарищам он говорил: «Да хранит вас Бог!»

Стали подъезжать кареты, и мы, ошеломленные всем происшедшим, не прощаясь один с другим, садились и уезжали по одному. В это время один из нас, стоя у схода с эшафота в ожидании экипажа, закричал: «Подавай карету!» Дождавшись своего экипажа, я сел в него. Стекла были заперты, конные жандармы с обнаженными саблями точно так же окружали наш быстрый возвратный поезд, в котором недоставало одной кареты — Михаила Васильевича Петрашевского!

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма брату Михаилу 22 декабря 1849 г.:*

Брат, любезный друг мой! все решено! Я приговорен к 4-х

летним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня 22 декабря нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. Один Пальм прощен. Его тем же чином в армию.

Сейчас мне сказали, любезный брат, что нам сегодня или завтра отправляться в поход. Я просил видеться с тобой. Но мне сказали, что это невозможно; могу только я тебе написать это письмо, по которому поторопись и ты дать мне поскорее отзыв. Я боюсь, что тебе как-нибудь был известен наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда везли на Семен<овский> плац, я видел бездну народа; может быть, весть уже прошла и до тебя, и ты страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня. Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да правда! та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!

Александр Петрович Милюков:

Осужденных отвозили из крепости в ссылку партиями по два и по три человека. Если не ошибаюсь, на третий день после экзекуции на Семеновской площади М. М. Достоевский приехал ко мне и сказал, что брата его отправляют в тот же вечер и он едет проститься с ним. Мне тоже хотелось попрощаться с тем, кого долго, а может быть и никогда, не придется видеть. Мы поехали в крепость, прямо к известному уже нам плац-майору

М<айдел>ю, через которого надеялись получить разрешение на свидание. Это был человек в высокой степени доброжелательный. Он подтвердил, что действительно в этот вечер отправляют в Омск Достоевского и Дурова, но видеться с уезжающими, кроме близких родственников, нельзя без разрешения коменданта… Комендант разрешил и мне видеться с Ф. М. Достоевским и Дуровым.

Нас провели в какую-то большую комнату, в нижнем этаже комендантского дома. Давно уже был вечер, и она освещалась одною лампою. Мы ждали Довольно долго, так что крепостные куранты раза Два успели проиграть четверть на своих разнотонных колокольчиках. Но вот дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки. Несмотря на восьмимесячное заключение в казематах, они почти не переменились: то же серьезное спокойствие на лице одного, та же приветливая улыбка у другого. Оба уже одеты были в дорожное арестантское платье — в полушубках и валенках. Крепостной офицер скромно поместился на стуле, недалеко от входа, и нисколько не стеснял нас. Федор Михайлович прежде всего высказал свою радость брату, что он не пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые мелкие подробности о их здоровье и занятиях. Во время нашего свидания он обращался к этому несколько раз. На вопросы о том, каково было содержание в крепости, Достоевский и Дуров с особенной теплотою отозвались о коменданте, который постоянно заботился о них и облегчал, чем только мог, их положение. Ни малейшей жалобы не высказали ни тот, ни другой на строгость суда или суровость приговора. Перспектива каторжной жизни не страшила их, и, конечно, в это время они не предчувствовали, как она отзовется на их здоровье…

Смотря на прощанье братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его.

— Перестань же, брат, — говорил он, — ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь, — и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня… Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, — я даже не сомневаюсь, что увидимся… А вы пишите, да, когда обживусь — книг присылайте, я напишу каких; ведь читать можно будет. А выйду из каторги — писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом

много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, — будет о чем писать…

Более получаса продолжалось наше свидание, но оно показалось нам очень коротким, хотя мы много-много переговорили. Печально перезванивали колокольчики на крепостных часах, когда вошел плац-майор и сказал, что нам время расстаться. В последний раз обнялись мы и пожали друг другу руки… Их повели через двор с офицером и двумя конвойными солдатами. Несколько времени мы помедлили в крепости, потом вышли и остановились у тех ворот, откуда должны были выехать осужденные. Ночь была не холодная и светлая. На крепостной колокольне куранты проиграли девять часов, когда выехали двое ямских саней, и на каждых сидел арестант с жандармом.

— Прощайте! — крикнули мы.

— До свидания! до свидания! — отвечали нам.

В Омском остроге

Петр Кузьмич Мартьянов (1827–1899), *писатель, поэт-юморист:*

Крайне печальное зрелище представляли из себя… когда-то блестящие петрашевцы. Одетые в общий арестантский наряд, состоявший из серой пополам с черным куртки, с желтым на спине тузом, и таковой же мягкой без козырька фуражки — летом и полушубка с наушниками и рукавицами — зимой, закованные в кандалы и громыхающие ими при каждом движении, — по внешности они ничем не отличались от прочих арестантов. Только одно — это ничем и никогда не стирающиеся следы воспитания и образования — выделяло их из массы заключенников. Ф. М. Достоевский имел вид крепкого, приземистого, коренастого рабочего, хорошо выправленного и поставленного военной дисциплиной. Но сознанье безысходной, тяжкой своей доли как будто окаменяло его. Он был неповоротлив, малоподвижен и молчалив. Его бледное, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами, никогда не оживлялось улыбкой, а рот открывался только для отрывистых и коротких ответов по делу или по службе. Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей, взгляд имел угрюмый, сосредоточенный-неприятный, голову склонял наперед и глаза опускал в землю. Каторга его не любила, но признавала нравственный его авторитет, мрачно, не без ненависти к превосходству, смотрела она на него и молча сторонилась. Видя это, он сам сторонился о го всех, и только в весьма редких случаях, когда ему было тяжело или невыносимо грустно, он вступал в разговор с некоторыми из арестантов.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к брату Михаилу от 30 января — 22 февраля 1854 г.:*

С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостию о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностию всевозможных оскорблений. «Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал» — вот тема,

которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимостию их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их. Понятия об нашем преступлении они не имели. Мы об этом молчали сами, и потому друг друга не понимали, так что нам пришлось выдержать все мщение и преследование, которым они живут и дышат, к дворянскому сословию. Жить нам было очень худо. Военная каторга тяжелее гражданской. Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за стенами, и выходил только на работу. Работа доставалась тяжелая, конечно не всегда, и я, случалось, выбивался из сил, в ненастье, в мокроту, в слякоть или зимою в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре на экстренной работе, когда ртуть замерзла и было, может быть, градусов 40 морозу. Я ознобил себе ногу. Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Вообрази себе старое, ветхое, деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна заиндевели, так что в целый день почти нельзя читать. На стеклах на вершок льду. С потолков капель — все сквозное. Нас как сельдей в бочонке. Затопят шестью поленами печку, тепла нет (в комнате лед едва оттаивал), а угар нестерпимый — и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водою. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая. Все каторжные воняют как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, «живой человек». Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь. Блох, и вшей, и тараканов четвериками. Зимою мы одеты в полушубках, часто сквернейших, которые почти не греют, а на ногах сапоги с короткими голяшками — изволь ходить по морозу. Есть давали нам хлеба и щи, в которых полагалось $^1/_4$ фунта говядины на человека; но говядину кладут рубленую, и я ее никогда не видал. По праздникам каша почти совсем без масла. В пост капуста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен. Суди, можно ли было жить без денег, и если б не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант, такой жизни не вынес бы. Но всякий что-нибудь работает, продает и имеет копейку. Я пил чай

и ел иногда свой кусок говядины, и это меня спасало. Не курить табаку тоже нельзя было, ибо можно было задохнуться в такой духоте. Все это делалось украдкой. Я часто лежал больной в госпитале. От расстройства нервов у меня случилась падучая, но, впрочем, бывает редко. Еще есть у меня ревматизмы в ногах. Кроме этого, я чувствую себя довольно здорово. Прибавь ко всем этим приятностям почти невозможность иметь книгу, что достанешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это четыре года без перемены, — право, можно простить, если скажешь, что было худо. Кроме того, всегда висящая на носу ответственность, кандалы и полное стеснение духа, и вот образ моего житья-бытья. Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем в эти четыре года — не скажу тебе. Долго рассказывать.

Шимон Токаржевский (Szymon Tokarzewski; 1824–1899), *участник польского революционного движения:*

Работа «при алебастре» относилась к лучшим и более легким, из числа тех работ, на которые в Омской крепости назначали нас, каторжан — так называемых «чернорабочих», то есть не знающих никакого ремесла.

«Алебастр» находился в заведовании общества инженеров, которые, будучи образованными и культурными, вполне сочувствовали политкаторжанам и до некоторой степени, благоволили им.

Поэтому нас, поляков, и русского писателя Федора Достоевского постоянно назначали на работу при «алебастре»

На самом берегу реки Иртыша, в бараке, для этой цели построенном, мы выжигали и толкли алебастр, под наблюдением квалифицированного в этом цехе старшего мастера Андрея Алмазова.

При растопке печи, укладке в нее и при выемке перегорелого алебастра было много хлопот, и каждый из нас, при разделении труда, молча исполнял свою работу. Но когда перегорелый алебастр рассыпан бывал в ящики, то каждый брал свой ящик и молот, и, при разбитии новых алебастровых глыб, наша беседа возобновлялась.

Разговор между нами и Федором Достоевским всегда имел политическую подкладку. Начинался в минорном тоне, с обмена мнений в вопросах для нас и для него более или менее индифферентных, но он скоро переходил в острую полемику и страстный спор по другим вопросам.

Слова из уст быстро вылетали, под аккомпанемент наших

энергичных ударов молота, из-под которого разлеталась пыль по воздуху, наполняя барак миллиардами белых, блестящих, как бы живых, искорок.

При таком запальчивом, возбуждающем нервы и волнующем кровь споре мы ударяли молотами с таким размахом, что даже инструктор наш, человек весьма добродушный, Андрей Алмазов, восклицал: «Легче, ребята! Легче!» — и часто предлагал нам отдых раньше назначенного часа.

Тогда мы брали молоты, делали перерыв спорам и, зимою или летом, выходили из барака на воздух, где, во все времена года, и воздух чистый и тишина пустынная, которая, после беспрерывной сутолоки и криков, испытываемых в тюрьме, благотворно отражалась на наших нервах.

На противоположном берегу Иртыша, на пространстве двух тысяч верст, пролегает унылая степь, разнообразие которой придают только многочисленные кибитки и юрты кочующих по ней киргизов. Каким же роскошным простором она представлялась нашим глазам после тесного и душного заключения: зимою — ослепительной белизной простора, а летом — залитая солнечными лучами.

К свободе, к подвижности, к жизни — тяготели сердца наши, когда грустными глазами следили мы за свободным полетом и реянием в воздухе степных орлов…

— Идите на обед, уже пора! — из сферы скромных идеалов, из мечтательной фантасмагории на грустную, прозаическую землю каторги и ссылки сбрасывал нас голос Алмазова, который хотя и представлялся, по внешности, простачком, однако же, очевидно, отгадывал наши чувства, если, глядя на нас и покачивая головой, с иронической жалостью произносил: «На свободе вы не умели жить, а теперь вам скучно! Ой вы паны безумные!..»

Временами, на каком-нибудь повороте дороги, мы встречали другую партию возвращавшихся с работы каторжан, которые приветствовали нас с саркастическим восклицанием:

— Как вам работалось, «алебастровцы»?

И так, побрякивая кандалами, ватага из нескольких сот человек, сопровождаемая конвойными солдатами, с заряженными ружьями, возвращалась с работ, на ночлег, в Омскую тюрьму.

Но часто мы, «алебастровцы», возвращались с Алмазовым, сопровождаемые только одним конвойным солдатом.

Однажды, в один из холодных, осенних дождливых дней, в наш барак вошла приблудная собака, боязливо задержалась она в дверях и скулила, давая знать о своем присутствии.

Но мы, однако, углубленные в какой-то политический спор,

не заметили ее и только тогда увидели, когда Алмазов, из-за угла печки, возле которой он обогревался, оглушенный ударами наших молотов, проговорил своим стереотипным голосом:

— Легче, ребята, легче! отдохните!

Большой любитель животных, Федор Достоевский, удрученный трагической судьбой прежнего своего воспитанника и фаворита — Культяпки, первым обнаружил присутствие гостя собачьего рода и по-приятельски стал к нему обращаться.

Собака доверчиво к нам приблизилась. Была чрезвычайно худа, кости торчали через промокшую, шероховатую шерсть неопределенного цвета. Очевидно, она была очень изнурена и голодна, так как с трудом волочила ноги. Когда же Достоевский ее приласкал, то, приблизившись к его коленям, она начала от радости визжать.

Мы имели обыкновение брать с собою запас хлеба, так как в короткие осенние и зимние дни к обеду в тюрьму не возвращались. Следовательно, было чем накормить четвероногого нашего друга. Достоевский напоил ее из какого-то черепка, после чего уже освоившаяся собака закопалась в куче соломы, разбросанной в углу барака, и там заночевала. И вот, немым признанием разрешения Андрея Алмазова, собака оставалась в нашем бараке до тех пор, пока мы работали при алебастре.

Продовольствовались мы на собственный свой счет, тогда фунт мяса в Омске, в зимнее время, стоил $^1/_2$ копейки, летом 1 $^1/_2$ копейки, и тюремные кашевары, за тридцать копеек в месяц, недурно нас кормили; поэтому и на долю нашего приблудного пса всегда оставалось мясо. Кормили его хорошо, и, в непродолжительное время, он пополнел, приобрел мягкую, шелковистую, лоснящуюся шерсть и пушистый лисий хвост; словом, наш пес на удивление похорошел и был чрезвычайно сообразителен. Все за ним пропадали, а в особенности Достоевский, которому он, своим умом и сходством, напоминал любимую собаку — Культяпку.

Бывало, в часы отдыха, сядет собака на пол барака, Достоевский обоймет ее за шею и, склонившись над ней, долго сидит в задумчивой позе… И я убедился, что приблудный пес заметно выделял его из среды всех наших товарищей. Если он нарочито скрывался, то обеспокоенный пес повсюду бегал, с визгом отыскивая своего патрона, навстречу которому всегда выбегал с радостным лаем, поднимая передние лапы на грудь Достоевского, порываясь лизать его в лицо, а когда он ласково старался отстранить от себя собаку, то она, с таким же порывом, лизала арестантскую сермягу, любовно поглядывая в его глаза и от удовольствия помахивая хвостом. Наш безыменный

приблудный товарищ получил от нас имя «Suango», — это потому, что, прогоняемый Алмазовым, он всегда укрывался в углу барака, а так как угол носит название «angut», то, по нашей терминологии, пес назван был «Suango».

После этого возбуждался вопрос, что делать с Суанго, когда нас загонят на другие работы и запрут барак с алебастром?..

Вопрос этот стал предметом весьма оживленных споров и загадочных обсуждений, которые, благодаря присутствию Достоевского, велись на русском языке; а слушатель и свидетель их, Алмазов, понюхивая табак из роговой табакерки и покуривая из короткой трубки, сострадательно на нас поглядывая, с саркастической улыбкой, говорил тихим голосом: «Ой, паны! паны», а шепотом прибавлял: «Дурные, дурные паны!»

В результате остановились на том, что нельзя Суанго вводить в крепость, где, несомненно, он погиб бы насильственной смертью.

Каторжанин Неустроев, по профессии сапожник, постоянно получал из города заказы на обувь; а чтобы больше заработать с наименьшими расходами, он придумал способ добывания и изготовления такого материала, которым не брезгали невзыскательные его городские клиенты: он сманивал собак, вешал их, сдирал с них шкуры и выделывал кожу на обувь…

Таким образом Неустроев всегда имел возможность оправдаться от взводимых на него проступков.

От руки Неустроева погиб также и Культяпка Федора Достоевского, который поэтому энергично сопротивлялся взятию Суанго в крепость, чтобы и он не сделался жертвой Неустроева.

Пока выработалось какое-либо решение о дальнейшей участи нашего четвероногого товарища, тем временем над Омском проносился ужасающий ураган, беспрерывно над ним витавший в течение трех суток. Он опрокидывал деревянные дома как картонные домики, повырывал деревья с корнями, засыпал все улицы снегом и затруднил вход в дома. Город казался вымершим. Только верхние половины домов выглядывали из-под снега. Кто не имел в кладовых достаточных запасов, неминуемо должен был терпеть голод. Но как только затих снежный ураган, едва стал рассветать первый день тихой погоды, как из тюрьмы прислали ватагу каторжан раскапывать и расчищать город.

Вооруженные лопатами, ломами и колунами, мы должны были исправлять повреждения, причиненные разгулом урагана.

Прежде всего мы разбивали ломами ледяные горы и расчищали дороги для свободного санного проезда. Ледяные глыбы со снегом накладывали в сани и увозили и откапывали покрытые снегом дома.

Это были кровавые труды, тяжесть которых усугублялась понудительными криками наблюдавших за работами:

— Скорее, ребята, скорее! — и, чтобы понудить на более интенсивную работу, помахивали нагайками над нашими головами.

Действительно, можно было ошалеть при таком крике надзирателей, свисте их нагаек и проклятьях, доводивших до бешенства измученных каторжан…

И только с наступлением сумерек мы возвращались в тюрьму изнуренными после тяжкой дневной, превосходившей человеческие силы работы. Прозябшие, голодные, после суточного поста, мы просили кашеваров дать нам какой-нибудь теплой пищи, как вдруг услышали голос Достоевского, что «у него потемнело в глазах и силы ему изменяют», и он рухнул перед нами на пол в бессознательном состоянии.

После тяжелого и продолжительного воспаления легких Достоевский стал поправляться в тюремной больнице Омской крепости, по выходе из которой о пребывании в ней нам рассказал:

— Из нескольких тысяч дней, проведенных в Омской тюрьме, те, которые я провел в больнице, были самыми спокойными и наилучшими, за исключением одного неприятного инцидента.

В обширной и похвально содержимой палате наслаждался я чистым воздухом и пользовался относительной свободой.

После коротких зимних дней, с наступлением сумерек, всякое движение в больнице прекращалось. Дремотно-мечтательном состоянии из моих сонных очей улетучивались: Сибирь, Омск, каторга, а На их место, в приятном забытьи я находился в кругу своих родных, где счастлив был, и мнилось мне, Что отдыхаю под крышей родного дома. Будь благоговейна мечтательность такая, я жажду осуществления ее. Молодой доктор Борисов с большим вниманием относился к больным политкаторжанам, а ко мне — в особенности. Часто просиживал у моей кровати, беседуя со мной. Интересовался делом которое наградило меня каторгой, и успокоил известием, что Неустроев, получив два рубля, обеспечил меня «словом каторжанина», — что никогда не покусится на жизнь нашего четвероногого друга — Суанго…

Раз как-то, в неурочное время, в палату вбежал доктор Борисов, закутанный в шубу, сказав, что неожиданно едет в казачью станицу, отстоявшую от Омска в ста сорока верстах, дня на четыре, куда командировал его губернатор, князь Горчаков, по случаю появления там какой-то подозрительной болезни, и что в его отсутствие за больными наблюдать будет фельдшер, а услуживать — служитель Антоныч; при этом доктор сунул мне в

руку запечатанный конверт и, попрощавшись, ушел из палаты.

Лежавший рядом со мною уголовный каторжанин Ломов по внешности был Геркулесом, но с отвратительной, отталкивающей физиономией и свирепыми глазами. Про него говорили, что он способен убить всякого человека, лишь бы ценою убийства угоститься водкой. Следя за моими движениями, Ломов видел, как я, распечатав конверт, обнаружит в нем три рубля, которые сунул под подушку. Среди ночи меня разбудил крик соседа с другой стороны, старика-старовера из Украины, и, в то же время, под моею подушкой, я ощутил косматую руку. Старик кричал: «Помни шестую заповедь — не укради!» — и рукой указывал на Ломова при свете ночного каганца. Взволнованный этой сценой, я не спал уже до утра. Я не хотел вспоминать о происшествии, только Ломов угрожающе и свирепо поглядывал на старика, поднявшего ночную тревогу.

С того времени я стал замечать, что между фельдшером, служителем Антонычем, также бывшим каторжанином, и моим соседом Ломовым существует какая-то связь, что-то общее; они часто шептались, удаляясь от других, и со дня выезда доктора какая-то тяжелая атмосфера нависла над больницей…

На ужин принесена была больным размазня из манной каши, а для меня Антоныч принес молока. За всеми моими движениями следил пронзающий взор Ломова. Мне казалось, что он желает позаимствовать у меня молока. В это время скрипнула дверь… Слышны были легкие и быстрые шаги по полу… Раздался радостный лай… Это Суанго, пользуясь незапертой дверью, бросился в палату и вскочил на мою кровать, выталкивая из рук мисочку с молоком. Каскад белых капель обрызгал меня и мою постель… А Суанго, находившийся в моих объятиях, радостно скулил и лизал мне лицо, шею и руки и с жадностью выпил оставшееся в миске молоко.

Возвратившийся Антоныч схватил Суанго за шею и, ударяя кулаком по голове, выбросил его за дверь, где, поддав ногой, сбросил с лестницы. Слышно было только жалостное вытье нашего любимца…

Я погнался было за служителем, но, по слабости сил, упал на средине палаты, и меня уложили в постель. На другой день после этого события возвратился доктор Борисов, на вопрос которого о причине ухудшения моей болезни я только мог с глубоким вздохом ответить.

— Суанго!

— Ах! — вздохнул доктор, — кто же вам сообщил?

— Неужели опять Неустроев? — прервал я доктора, волнуясь.

— Где там! Неустроев сдержал свое слово…

— Ну, так что же случилось?..

— Суанго после моего отъезда… перестал жить, — сказал добрый доктор Борисов, не желая из деликатности и моей привязанности к Суанго выразиться — сдох.

А старик-старовер, подойдя к нам, своим мелодичном голосом произнес:

— Видите, господа, как чудесное провидение свыше, посредством немой твари, избавило от смерти правдивого человека.

Ломов приподнялся на постели, оперся на локоть и показал свои сжатые, мощные кулаки, как бы готовясь броситься на старика…

В то же время по полу палаты раздался стук сапог подбитых гвоздями. Это вошел служитель Антоныч. Увидав, что доктор Борисов, старовер и я мирно беседуем, он повернулся и исчез… Исчез из больницы, из города и окрестностей Омска; никто и никогда уже не слышал о больничном служителе Антоныче.

А между тем в городе, крепости и в больнице каторжан долго удерживался слух, что Антоныч, по уговору с фельдшером и Ломовым, намеревался меня отравить с целью воспользоваться тремя рублями. Очевидно, фельдшер снабдил его ядом… За отсутствием доктора, конечно, он выдал бы свидетельство, что — умер естественной смертью…

Но Суанго разрушил преступный план злоумышленников!

Со слов А. К. Рожновского, *польского политкаторжанина, по записи А. Южного:*

««Покойник» вам незнаком, — начал Рожновский, — но если я вам скажу имя того, кого я называю по старой памяти «покойником», то вы, наверное, не скажете «не знаю». «Покойником» на каторге звали Достоевского. Давно это было. Мы были вместе там. Впрочем, я раньше его прибыл туда. Кажется, через год или два после меня привели и его. Я не из повстанцев — они пришли после. Я ее зарезал (с этими словами он указал на портрет, висевший на стене, и глаза его сверкнули дикой страстью).

Когда пришел Достоевский, то с первого раза сильно не понравился «ватаге»[11]. Каторга имеет свои законы, и каторжники строго следят за точным выполнением их. Иного и сами зарежут. Там закон Линча в ходу. У нас насчет женщин было строго, и все ватажники горой стояли друг за друга в этом деле. Каждый из нас по очереди дежурил по вечерам, когда приходили прачки из прачешной, а Достоевский отказался от дежурства, когда очередь дошла до него. В другой раз он достал от солдата

листик махорки. По тамошним правилам, если кто достанет табаку, то половину берет себе, а другую половину делят на несколько частей и затем бросают жребий, кому достанется. Достоевский же и от своей части отказался, и жребий не захотел бросать: разделил пополам между двумя цинготными. Вот на него и взъелись «большаки» наши: «Что, ты порядки сюда новые вводить пришел», говорят, хотели «крышку» сделать, но здесь Достоевского спасло одно обстоятельство. Однажды в пище одному из каторжников попался какой-то комок. Развернули, смотрим: тряпка и в ней кости и еще какая-то гадость. Может быть, нечаянно попало, а может, кто и нарочно бросил. Тот, к кому попал этот комок, хотел бросить его и смолчать — старый был арестант, знал порядки, а Достоевский говорит: «Надо жаловаться, если ты боишься, давай мне». Хотели мы его предупредить, чтобы не жаловался он, да «большак» запретил. Вот при проверке и выходит Достоевский с тряпкой вперед Набросились тут на него плац-майор и ключик: «Ты это нарочно выдумал, чтобы бунт поднять, кто видел, что это было у него в чашке, выходи». Арестанты молчат, «большаков» боятся. Хотел было я выйти, да думаю: один в поле не воин, если не «большаки», то начальство заест. А знаете, ведь своя рубашка ближе к телу, постоял плац-майор, видит — все молчат.

— В кордегардию! Пятьдесят!

Увели Достоевского. Пролежал он потом недели две в больнице, затем выписали — выздоровел. Вот этот случай и спас его от «крышки». Он теперь уже сделался свой, «крещеный», за ватагу пострадал.

Прошло около года после этого случая.

Я работал с ним в одной партии. Нравился мне он за свой тихий характер. Пальцем, бывало, никого не тронет, не то что другие, бывшие у нас, хотя тоже из привилегированных. Да и совесть, признаться, мучила: почему я тогда не подтвердил его слов перед плац-майором: он (Достоевский) болезнь после экзекуции получил на всю жизнь.

Иногда, бывало, ночью как начнет его бить об нары, так мы его сейчас свяжем куртками, он и успокоится.

Пошли мы однажды барку ломать и взяли урок втроем. Третий был солдат, по фамилии Головачев — в работы попал за нанесение удара ротному командиру. Начали работать. Погода была хорошая, на душе было как-то веселее обыкновенного, и работа шла скоро. Уже почти оканчивали урок, как я вдруг нечаянно уронил топор в воду. Что тут делать — надо достать во что бы то ни было: конвойные требуют, чтобы топор был, а не то грозят прикладами. Снял я куртку и штаны, подвязался веревкой

и начал спускаться. Все было бы хорошо, да на беду плац-майор работы объезжал. Увидал, что меня Достоевский и Головачев держат в воде, и спрашивает:

— Что здесь такое?

Конвойные ответили.

— Не задерживать работ, пусть сам знает, бросьте веревку, — кричит он на Головачева и Достоевского. Те не слушаются. Побелел весь от злобы плац-майор, даже пена на губах выступила; зверь, а не человек был.

— В кордегардию после работ!

Сел на дрожки и уехал.

Достал я топор, вылез из воды. Жутко было оканчивать работу, а надо кончить, не то прибавят.

Вернулись мы вечером в замок.

Я думал, что и меня поведут в кордегардию, — нет, повели только Достоевского и Головачева. Не знаю, как их наказывали, только пронесся на другой день слух у нас, что Достоевский умер. Я поверил этому, зная, что он не привык к подобным пыткам, да притом и болен был еще.

Слух упорно держался, так что мы были вполне уверены в его смерти, а достоверно узнать нельзя было — никто за это время из больницы не выписался.

Прошло месяца полтора после этой экзекуции, многие уже начали забывать о Достоевском. Я только не мог никак забыть его, все он как будто стоит перед глазами.

Пришли мы однажды с работ — камень дробили. Было уже довольно поздно, так что в отделении, когда я зашел туда, был полумрак. Подхожу к нарам, смотрю, кто-то сидит. Я думал — новичок какой-нибудь, и особенного внимания не обратил, вдруг слышу знакомый голос:

— Здравствуй, Рожновский!

Приглядываюсь… Достоевский.

Не могу передать вам, как я перепугался в ту минуту Мне показалось, что это привидение, выходец с того света. Я так и оцепенел на месте.

— Что ты так смотришь? Не узнаешь?

Руку протягивает…

— Достоевский! Разве ты жив? — мог только я проговорить: смех и слезы — все смешалось в горле, и я повис у него на шее.

Потом все объяснилось. Рядом с койкой Достоевского в госпитале лежал горячешный больной, который и умер на другой день после поступления Достоевского в госпиталь. Фельдшер по ошибке записал, что умер Достоевский. Все разъяснилось тогда, когда Достоевский выздоровел и выписался из госпиталя. После

этого случая и дали у нас в «ватаге» кличку «покойник». По фамилии больше никогда и не называли.

— Живо помню еще один случай, — продолжал Рожновский. — У плац-майора была гувернантка, молоденькая девушка. Шла упорная молва, что он состоит с нею в любовной связи и что она, как говорится, держит его в руках. Звали ее арестанты Неткой и боялись как огня: настоящая змея была, под стать плац-майору. Про нее рассказывали, что когда, бывало, секут в кордегардии, то она подходит к замку и слушает крик. Впрочем, я этому не верю. У Нетки были ручные голуби, которых она привезла из России и очень за ними ухаживала. Голуби эти часто залетали к нам во двор, и многие из наших зарились на них, но надсмотрщики еще зорче следили, чтобы их не ловили. Один молодой голубь сильно привязался к Достоевскому. Тот кормил его хлебом, и он каждый день прилетал к нему за своей порцией. Сначала сторожа восставали против этого, но потом, видя, что Достоевский вреда голубю не делает, начали смотреть сквозь пальцы. Пришлось нам однажды идти обжигать алебастр, а путь лежал мимо плац-майорского дома. Работа эта тяжелая, и потому нас отпустили в замок раньше обыкновенного. Поравнялись мы с плац-майорским домом, вдруг смотрим, Нетка голубей кормит. Достоевскому пришла в голову взбалмошная мысль свистнуть на голубей. Вся стая поднялась в воздух, а голубь Достоевского, видно, узнал его, подлетел к нему близко и вьется над головой. Нетка выскочила на дорогу и прямо бросилась к Достоевскому.

— Это ты приманиваешь моих голубей, разбойник: постой, я тебе задам!

Не помню, право, что ответил ей на это Достоевский, кажется, сказал, что она хуже бессовестного животного, знаю только, что сказал сильную и внушительную фразу. Нетка так и замерла на месте.

Далеко мы отошли от плац-майорского дома, а она все стоит; потом смотрю, закрыла лицо руками и тихо пошла в дом.

Мы все ожидали, что эта вспышка дорого обойдется Достоевскому, между тем ничего, прошло благополучно. Потом недели через две узнаем, что Нетка уехала в Россию вместе со своими голубями, но, что всего удивительнее, голубь Достоевского остался и по-прежнему прилетал к нему каждый день. Нарочно ли оставила его Нетка, или он сам от нее улетел — мы не могли узнать. После отъезда Нетки в замке сделалось еще хуже: плац-майор до того рассвирепел, что его не раз удерживали высшие начальствующие лица. Не проходило дня, чтобы в кордегардию не отправлялось несколько человек».

Николай Николаевич Фон-Фохт:

О своем пребывании в Сибири и в каторге Достоевский нам ничего никогда не рассказывал. Он вообще не любил об этом говорить. Все это знали, конечно, и никто не решался никогда возбуждать разговора на эту тему. Только однажды мне удалось, сидя у Федора Михайловича за утренним чаем, услышать от него несколько слов по поводу небольшого Евангелия, которое у него лежало на маленьком письменном столе. Мое внимание возбудило то обстоятельство, что в этом Евангелии края старинного кожаного переплета были подрезаны. На мой вопрос о значении этих подрезов Достоевский мне объяснил, что когда он должен был отправиться в ссылку в Сибирь, то родные благословили и напутствовали его этою книгою, в переплете которой были скрыты деньги. Арестантам не дозволялось иметь собственных денег, а потому такая догадливость его родных до некоторой степени облегчила ему на первое время перенесение суровой и тяжелой обстановки в сибирском остроге.

— Да, — сказал с грустью Федор Михайлович, — деньги — это чеканенная свобода…

С этим Евангелием Достоевский потом никогда в жизни не расставался, и оно у него всегда лежало на письменном столе.

В Семипалатинске

Александр Егорович Врангель:

Весною 1854 года, по освобождении из каторги, Достоевский, как известно, был переведен солдатом без выслуги в Семипалатинск, куда и был доставлен по этапу вместе с другими. Первое время, очень недолго, он жил вместе с солдатами в казарме, но вскоре, по просьбе генерала Иванова и других, ему разрешили жить особо, близ казарм, за ответственностью его ротного командира Степанова. Он, кроме того, состоял под наблюдением своего фельдфебеля, который за малую «мзду» не особенно часто беспокоил его.

Первое время было для него трудное — полное одиночество… Но, мало-помалу, он познакомился с некоторыми офицерами и чиновниками, хотя был далек от тесного сближения с ними. Конечно, после каторги новое его положение, тяжелое с материальной стороны, все же, благодаря относительной свободе, казалось ему раем: так он сам мне говорил…

Семипалатинск лежит на правом высоком берегу Иртыша, широкой рыбной реки, тогда еще не видавшей не только пароходов, но и барок-то на ней Не бывало..

В мое время Семипалатинск… был полугород, полудеревня. Все постройки были деревянные, бревенчатые, очень немногие обшиты досками. Жителей было пять-шесть тысяч человек вместе с гарнизоном и азиатами, кокандскими, бухарскими, ташкентскими и казанскими купцами. Полуоседлые киргизы жили на левом берегу, большею частью в юртах, хотя у некоторых богачей были и домишки, но только для зимовки. Их насчитывали там до трех тысяч.

В городе была одна православная церковь, единственное каменное здание, семь мечетей, большой меновой двор, куда сходились караваны верблюдов и вьючных лошадей, казармы, казенный госпиталь и присутственные места. Училищ, кроме одной уездной школы, не было. Аптека — даже и та была казенная. Магазинов, кроме одного галантерейного, где можно было найти все, — от простого гвоздя до парижских духов и склада сукон и материй, — никаких: все выписывалось с Ирбитской и Нижегородской ярмарок; о книжном магазине и говорить нечего, — некому было читать. Я думаю, во всем городе газеты получали человек десять — пятнадцать, да и не мудрено, — люди в то время в Сибири интересовались только картами, попойками, сплетнями и своими торговыми делами…

Семипалатинск делится на три части, разделенные

песчаными пустырями. На север лежала казацкая слободка, самая уютная, красивая, чистая и благообразная часть Семипалатинска. Там был сквер, сады, довольно приглядные здания полкового командира, штаба полка, военного училища и больницы. Казарм для казаков не было — все казаки жили в своих домах и своим хозяйством.

Южная часть города, татарская слобода, была самая большая; те же деревянные дома, но с окнами на двор — ради жен и гарема. Высокие заборы скрывали от любопытных глаз внутреннюю жизнь обывателя-магометанина; кругом домов ни одного дерева — чистая песчаная пустыня. Вообще во всем Семипалатинске не было ни одной мощеной улицы, но мало и грязи, так как сыпучий песок быстро всасывал воду. Зато ходить было трудно, увязая по щиколку в песке, а летом, с палящей жарой в 30° в тени, просто жгло ногу в раскаленном песке.

Среди этих двух слобод, сливаясь с ними в одно, лежал собственно русский город с частью, именовавшеюся еще крепостью, хотя о ней в то время уже и помину не было. Валы были давно снесены, рвы засыпаны песком, и только на память оставлены большие каменные ворота. Здесь жило все военное: помещался линейный батальон, конная казачья артиллерия, все начальство, главная гауптвахта и тюрьма — мое ведомство. Ни деревца, ни кустика, один сыпучий песок, поросший колючками.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма брату к Михаилу 27 марта 1854 г.:*

Покамест я занимаюсь службой, хожу на ученье и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось; вот что значит выйти из тесноты, духоты и тяжкой неволи. Климат здесь довольно здоров. Здесь уже начало киргизской степи. Город довольно большой и людный. Азиатов множество. Степь открытая. Лето длинное и горячее, зима короче, чем в Тобольске и в Омске, но суровая. Растительности решительно никакой, ни деревца — чистая степь. В нескольких верстах от города бор, на многие десятки, а может быть, и сотни верст. Здесь все ель, сосна да ветла, других деревьев нету. Дичи тьма. Порядочно торгуют, но европейские предметы так дороги, что приступу нет. Когда-нибудь я напишу тебе о Семипалатинске подробнее. Это стоит того.

Борис Георгиевич Герасимов (1872–1934), *краевед:*

Живя в казарме, Достоевский являлся невольным свидетелем того, какими суровыми мерами внедрялась дисциплина в солдатскую жизнь. Это положение Достоевского отягчалось тем

обстоятельством, что батальон № 7 являлся неспокойным. В нем было много сосланных помещиками дворовых людей и так называемых наемщиков, нанявшихся за других отбывать солдатскую службу, — бесшабашный элемент, не особенно склонный к исполнению правил воинского устава. Все это поднимало настроение казармы. Налицо всегда были элементы брожения, недовольства, которое подавлялось беспощадно. Рост репрессии зависел от степени озлобленности солдат.

Возраст солдат был самый разнообразный: были старики, была и молодежь, немало из кантонистов. Один из последних, пермяк Кац, сданный в солдаты семнадцатилетним мальчиком, оказался соседом Достоевского по нарам. Ф.М. жалел Каца и всячески оберегал его от оскорблений казармы. Кац по окончании военной службы остался на постоянное жительство в Семипалатинске, занимался портняжничеством, имел дом и скончался лет 12 назад. Кац говорил нам, что его очень влекло к Достоевскому «Всей душой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский бесконечно добрый человек, которого нельзя было не любить». Будучи портным, Кац заработал немного денег и завел самовар, за которым они и сидели с Достоевским в свободное время. Ф.М. отдыхал за самоваром. Чай являлся заметным дополнением к скромному солдатскому столу. Самовар наставлял и за молоком к чаю нередко ходил сам Ф.М. Проснется, бывало, Кац рано утром с твердым желанием поставить самовар и приготовить молоко — смотрит, самовар уже на столе, здесь же стоит кринка с молоком, амуниция вычищена.

Со слов Н. Ф. Каца, *сослуживца Достоевского по Семипалатинску:*

Ф.М., по его словам, был человек душевный, отзывчивый на все доброе, человек, к которому тянуло каждого солдата какая-то непреодолимая сила, несмотря на его мрачный характер. Службой Ф.М. «не неволили»; служба вообще тогда была легкая в батальоне; муштровки особенной не было, а на караульную службу в гарнизоне Ф.М. посылался редко. Благодаря этому Ф.М. был представлен большею частью себе: он почти всегда читал и писал, в особенности по ночам…

Как теперь, вижу перед собой Федора Михайловича, — передаю подлинные слова Каца, — среднего роста, с плоской грудью; лицо с бритыми, впалыми щеками казалось болезненным и очень старило его. Глаза серые. Взгляд серьезный, угрюмый. В казарме никто из нас, солдат, никогда не видел на его лице полной улыбки. Случалось, что какой-нибудь ротный весельчак для потехи товарищей выкинет забавную штуку, от которой

положительно все покатываются от смеха, а у Федора Михайловича только слегка, едва заметно, искривятся углы губ. Голос у него был мягкий, тихий, приятный. Говорил не торопясь, отчетливо. О своем прошлом никому в казарме не рассказывал. Вообще он был мало разговорчив. Из книг у него было только одно Евангелие, которое он берег и, видимо, им очень дорожил…

Ни о деле, за которое попал в Сибирь, ни о своей жизни вообще Достоевский никому в казарме не рассказывал; к сослуживцам относился мягко и был всегда готов, чем возможно, помочь. Приблизительно через год Достоевского произвели в унтер-офицеры и отношение к нему военного начальства значительно изменилось: ему было разрешено жить на частной квартире, и он был почти освобожден от всякой службы. Когда он нужен был зачем-либо в казармы, за ним посылался вестовой. Посыльным Достоевский всегда давал деньги, так что солдаты очень любили за ним ходить.

Глубоко запечатлелась в памяти Н. Ф. Каца одна экзекуция, а именно — наказание шпицрутенами, когда Достоевский находился в строю и, конечно, принужден был нанести и свой очередной удар по обнаженной спине несчастного осужденного… Сзади строя в это время зловеще шагала фигура грозного фронтовика-офицера Веденяева, больше известного семипалатинцам-старожилам под прозвищем Буран. Веденяев наблюдал за экзекуцией и зорко следил, «не облегчает ли кто удара»»… Если же кто, по мнению его, как большого специалиста этого дела, нанес удар «с облегчением», т. е. слабо, тому на спине тотчас же ставил мелом крест… Это значило, что жалостливого и подневольного палача-солдата ожидает основательная порка розгами под благосклонным руководством Веденяева. Розги в то время были употребительным наказанием, весьма любимым такими ревностными служаками, как незабвенный Буран, имевший свою историю и оставивший неувядаемую славу в этом направлении…

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к брату Михаилу 30 июля 1854 г.:*

Приехал я сюда в марте месяце. Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотру наряду с другими и знал свое дело не хуже других. Как я уставал и чего это мне стоило — другой вопрос; но мною довольны, и слава богу! Конечно все это для тебя не очень интересно, но по крайней мере ты знаешь, чем я был исключительно занят. Что ни пиши, однако же, на письме — однако же никогда ничего не расскажешь. Как ни чуждо все это тебе, но, я думаю, ты поймешь,

что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях. Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов. Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил.

Со слов Андрея Ивановича Бахирева, *ротного командира Достоевского в годы службы в Семипалатинске:*

[Достоевский] отличался молодцеватым видом и ловкостью приемов, при вызове караулов в ружье. По службе был постоянно исправен и никаким замечаниям не подвергался.

В карауле аккуратность его доходила до того, что он не позволял себе отстегивать чешуйчатую застежку у кивера и крючки от воротника мундира или шинели даже и тогда, когда это разрешалось уставом (например, в ночное время при отдыхе нижних чинов караула перед заступлением на часы).

Его и в рядовом звании освободили от нарядов на хозяйственные работы, а в караул приказано было назначать только по недостатку людей в роте. Но так как в то время шла большая заготовка дров для потребности батальона и для продажи, а также строевого леса для инженерного ведомства, для чего, конечно, требовалось много рабочих рук из нижних чинов, то для обыкновенных служебных Нарядов долгое время недоставало людей, следовательно и Ф. М-чу приходилось частенько бывать в карауле.

Часовым Достоевскому пришлось стоять почти на всех постах того времени.

А. С. Сидоров, *отставной штаб-трубач батальона, сослуживец Достоевского:*

Ах, какой смиренный был он человек, старался всегда себя ставить ниже всех; идешь, бывало, а он тебе тянется, честь отдает, и уважение должное оказывает, а заговоришь с ним — отвечал учтиво, почтительно. Хороший был человек… Великого ума был человек… Но тогда не знали мы этого, не понимали…

Александр Егорович Врангель:

С каждым днем мы ближе и ближе сходились с Федором Михайловичем. Он стал все чаще и чаще заходить ко мне во всякое время дня, насколько позволяла его солдатская и моя чиновничья служба, зачастую обедал у меня, но особенно любил заходить вечерком пить чай — бесконечные стаканы — и курить мой «Бостанжогло» (тогдашняя табачная фирма) из длинного

чубука. Сам же он обыкновенно, как и большинство в России, курил «Жукова». Но часто и это ему было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку, от которой после каждого визита моего к нему у меня адски болела голова…

По мере сближения с Достоевским все теснее, отношения наши стали самые простые и безыскусственные, — двери мои для него всегда были открыты, днем и ночью. Часто, возвращаясь домой со службы, я заставал у себя Достоевского, пришедшего уже ранее меня или с учения, или из полковой канцелярии, в которой он исполнял разные канцелярские работы. Расстегнув шинель, с чубуком во рту, он шагал по комнате, часто разговаривая сам с собою, так как в голове у него вечно рождалось нечто новое…

Случалось, что и я сам изредка проводил вечер у Достоевского, но и я и он предпочитали мой дом, так как больно уж неуютно и неприглядно было у него. Его упрощенное хозяйство, стирку, шитье и убранство комнаты вела старшая дочь хозяйки — вдовы-солдатки, девушка лет двадцати. У нее была сестра лет шестнадцати, очень красивая. Старшая ухаживала за Федором Михайловичем и, кажется, с любовью, шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучно при нем; я так привык к ней, что ничуть не удивлялся, когда она с сестрой садилась тут же с нами летом пить чай en grand neglige, то есть в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее. Бедность у них была большая…

Летом Семипалатинск невыносим: страшно душно, песок накаляется под палящими лучами солнца донельзя. Малейший ветер подымает облака пыли, и тончайший песок засыпает глаза и проникает повсюду. Жара в тени в июне доходила до 32° Реомюра. Я решил переехать за город в апреле, как только степь и деревья зазеленеют. Во всем Семипалатинске была одна дача с огромным садом, за Казацкою слободкою близ лагеря. Это было на руку и Федору Михайловичу, и я предложил ему переехать ко мне из своей берлоги. Дача эта принадлежала богатому купцу-казаку и именовалась «Казаков сад»…

Я еще зимою выписал всевозможных семян цветов, овощей и луковиц из Риги. В городе на дворе уже заблаговременно мы устроили парники и подготовили рассаду. Достоевского это чрезвычайно радовало и занимало, и не раз вспоминал он свое детство и родную усадьбу.

В начале апреля мы с Федором Михайловичем переехали в паше Эльдорадо — в «Казаков сад». Деревянный дом, в котором мы поселились, был очень Ветх, крыша текла, полы провалились; но он был Довольно обширный, и места у нас было вдоволь.

Конечно, мебели никакой — пусто как в сарае. Большое зало выходило на террасу, перед домом устроили мы цветники. Одна большая аллея прорезала весь сад с старыми деревьями. Цветущих кустов никаких: сирени, жасмина, роз — в Семипалатинске тогда и не видывали. Был у нас и огород, который дал нам тоже массу овощей, доселе тоже неведомых в стране.

Среди сада находились ключи чистейшей студеной воды и было вырыто три водоема, в которых я держал стерлядь и маленького осетра, чтобы иметь под рукою рыбу для стола. Раков в то время во всей Сибири не водилось. При доме были конюшни, сараи и обширный двор. Все это обнесено высоким дощатым забором, а весь сад и огород высоким частоколом.

Усадьба наша расположена была на высоком правом берегу Иртыша, к реке шел отлогий зеленый луг. Мы тут устроили шалаш для купанья; вокруг него группировались разнообразные кусты, густые заросли ивы и масса тростника. То там, то сям среди зелени виднелись образовавшиеся от весеннего разлива пруды и небольшие озерки, кишевшие рыбой и водяной дичью. Купаться мы начали в мае.

Цветниками нашими мы с Федором Михайловичем занимались ретиво и вскоре привели их в блестящий вид.

Ярко запечатлелся у меня образ Федора Михайловича, усердно помогавшего мне поливать молодую рассаду, в поте лица, сняв свою солдатскую шинель, в одном ситцевом жилете розового цвета, полинявшего от стирки; на шее болталась неизменная, домашнего изделия, кем-то ему преподнесенная длинная цепочка из мелкого голубого бисера, на цепочке висели большие лукообразные серебряные часы. Он обыкновенно был весь поглощен этим занятием, видимо, находил в этом времяпрепровождении большое удовольствие.

Дни стояли уж очень жаркие. Нередко в заботах наших о цветниках принимали живое участие обе дочери хозяйки Достоевского (его городского обиталища). Они занимались обыкновенно поливкой цветов. Потрудившись часок-другой, мы шли купаться и затем располагались на террасе пить чай или обедать. Читали газеты, покуривая трубки, вспоминали с Федором Михайловичем о Петербурге, о близких и дорогих нам лицах, бранили Европу. Ведь шла еще война под Севастополем, и мы скорбели и тревожились…

Катаясь верхом, — я уговорил наконец и Достоевского сесть на одну из моих лошадей, самую смирную; по-видимому, это довелось ему в первый раз, и как он ни был смешон и неуклюж в роли кавалериста в своей серой солдатской шинели, но скоро

вошел во вкус, и мы с ним делали верхом длинные прогулки в самый бор, в окрестные зимовья и в степь с разбросанными по ней юртами киргизов и их ставками. А как чудно хороша была степь! В эту пору вся она была в цвету, благоухала, — яркая зелень, испещренная цветами, как дивный ковер расстилалась на необозримое пространство. Что за прелесть степь раннею весною, пока жгучие лучи солнца не коснулись ее, не иссушили ее!..

Время в «Казаковом саду» шло довольно быстро и приятно. К нам то и дело наезжали знакомые и завидовали нашему благоустройству; особенно часто повадились заглядывать две дамочки. Стояли чудные майские дни, зацвели мои цветники — чудесные георгины, гвоздики, левкои и проч. благодаря тучной нетронутой почве вышли на славу нам и нашим девам, усердно поливавшим наш цветник. Никогда в Семипалатинске, кроме подсолнечников, правда в пол-аршина ширины, никаких цветов и не видывали, и вдруг такое заморское чудо, такая диковинная затея «нелюдимого», как меня называли, барона. К нам стало валить столько народа смотреть наши цветы, что покоя не было, особенно назойливы были дамы — приедут, опустошат все клумбы, рассядутся, и ничем их не выживешь. Долго снисходительно смотрел я, наконец терпение лопнуло, и мы не знали, как избавиться от непрошеных посетительниц.

В нашем палаццо в зале провалился пол и росли какие-то огромные грибы. В этом роде были и остальные комнаты. Одну занял я, в другой расположился Ф.М. — нас разделяли еще две пустые комнаты. Мебели почти никакой, кроме самого необходимого, кой-что соорудили сами из досок и бочонков. Крыс, мышей и ужей мы нашли при нашем переезде в изобилии. Особенно много уже было под нашей террасою на солнцепеке. Начал я замечать, что кто-то выпивал молоко, ставившееся в тарелке на полу террасы для щенят; стал наблюдать и раз увидал, как два ужа подползли к тарелке, быстро поглотали молоко и юркнули в щель. Это меня позабавило и навело на мысль приучить ужей, прикармливая их молоком, к нашему присутствию. И вот стали мы ежедневно под скамью ставить молоко; ужи подползали, питались и понемногу, не спугиваемые нами, привыкли к нашему присутствию, перестали бояться людей. Однажды, только что мы выставили под скамьи террасы заготовленное для ужей молоко и ужи, не заставив себя ждать, облепили чашку, как подошли, веселые и оживленные, наши посетительницы. Напутанные их шумным появлением, ужи шарахнулись и расползлись в разные стороны, путаясь в платьях и под ногами вопивших диким голосом и мечущихся семипалатинских дам, быстро покинувших нашу дачу. Мы долго

потом вспоминая это происшествие, хохотали до упаду. Наша дача была объявлена заколдованной, дамы оставили нас в покое, и наши цветы были спасены, но — увы! — не надолго. Когда я в середине августа как-то уехал в отпуск на несколько недель к Х., все цветы были выкопаны, пересажаны в горшки, и я увидал их красовавшимися на окнах чиновного монда Семипалатинска. Достоевский, грустно и беспомощно поводя руками, пояснил мне, что против этого решительно поделать ничего не мог, так как вследствие моего отсутствия все его начальство первое набросилось на мои астры, левкои и георгины…

Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей Божеской силы наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом… Чудные минуты пережил я с ним. Как много дало мне сближение с такой чудной, богато одаренной натурой. Между нами за все время нашего совместного житья не пробежала ни одна тучка, не было ни одного недоразумения. Он был десятью годами старше и много опытнее меня. Не раз, когда я, по молодости моих лет и житейской неопытности, приходил в отчаяние от окружающей меня гнусной среды, в которой я принужден был работать, когда подчас, казалось, силы оставят меня в борьбе со злом, Федор Михайлович всячески поддерживал во мне энергию, подбодрял меня своими советами и участием. За многое я ему благодарен. На многое он открыл мне глаза, и особенно я чту его память за чувство гуманности, которое он вселил в меня…

Е. А. Мамонтова (урожд. Мельчакова):

Мне было лет 12, когда дядя, у которого я тогда жила, пригласил в качестве учителя для меня Достоевского. Федор Михайлович в общей сложности занимался со мною несколько более года. Для учения — не скрываю — я была малоспособная. Особенно мне не давалась головоломная арифметика. Теперь я положительно удивляюсь терпению своего учителя. Оно у него, вероятно, было неистощимое. Достоевский ходил к нам на занятия в разное время — очевидно, когда он был свободен. Урок продолжался час, иногда два, но не больше. Во время уроков Федор Михайлович почему-то часто сидел в шинели. Расстегнет воротник, и только. Эта шинель отчетливо зарисовалась в памяти,

точно вот она сейчас передо мной… Спина из мелких бориков… Не знаю, форма ли тогда такая была или это его личный вкус, но только покрой с спиной из бориков был довольно красивый… Теперь таких шинелей у военных я не вижу. Во время уроков Федор Михайлович часто и продолжительно кашлял. Дядя говаривал, что у него грудь не в порядке. При занятиях со мной был мягкий, ласковый, но в требованиях своих настойчив. Пришлось раз подвергнуться и наказанию своего учителя. Это было так — Федор Михайлович задал мне арифметическую задачу и просил решить ее к следующему уроку. Я задачу не решила. Достоевский заставил решать ее при себе. Задача, на беду мою, упорно не давалась Достоевский ждал. Наконец я, глупая девчонка, потеряла самообладание, озлилась и сказала своему милому и доброму учителю дерзость: «Решить я могу: задача очень трудная… Сидите и решайте сами, а я больше не буду…» Федор Михайлович сказал об этом моим родным, сидевшим в другой комнате, а меня поставил за это в угол, около печки и дверей. Долгонько я простояла в углу. Достоевский остался у нас обедать. После обеда прошло немало времени. Только в сумерки, к вечернему чаю позволили мне оставить неприятное место. Мне шепнули, чтобы я просила извинения, но я заупрямилась. Достоевский ушел. На другой день утром злополучная задача была все-таки решена мною. Федор Михайлович, просмотревши решение, подарил мне, строптивой ученице, коробку (корзиночка с высокой ручкой) конфет.

Достоевский в Семипалатинске бывал во многих домах, в том числе и у судьи Пешехонова, жившего открыто и широко. На вечерах у него бывала всегда масса гостей, для которых угощение было на славу. Танцы и карты процветали. В этом доме танцевал и Достоевский, особенно он был в ударе перед отъездом из Семипалатинска, и кажется мне, что он был тогда во фраке, а не в офицерском мундире…

Зинаида Артемьевна Сытина:

У Федора Михайловича было немало знакомых из разных слоев общества, и ко всем он был одинаково внимателен и ласков. Самый бедный человек, не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него обласканный. Вообще, для нас, сибиряков, Достоевский личность в высшей степени честная, светлая; таким я его помню, так я о нем слышала от моих отца и матери, и, наверно, таким же его помнят все, знавшие его в Сибири. В 1872 году, в первых числах сентября, я проезжала чрез город Семипалатинск, посетила своих

старых знакомых, и в том числе капитана М.В.К., товарища моего покойного отца и сослуживца Достоевского. Мы пошли осматривать Семипалатинск. Проходя по одной улице, К. остановил меня и сказал: «Вот в этом домике жил Достоевский». Это было сказано с такой любовью, с таким благоговением, что трудно передать впечатление, какое произвели на меня эти простые слова.

Возвращение в литературу

Александр Петрович Милюков:

Однажды Михаил Михайлович (Достоевский. — *Сост.*) пришел ко мне утром с радостной вестью, что брату его разрешено жить в Петербурге и он должен приехать в тот же день. Мы поспешили в вокзал Николаевской железной дороги, и там наконец я обнял нашего изгнанника после десятилетней почти разлуки. Вечер провели мы вместе. Федор Михайлович, как мне показалось, не изменился физически: он даже как будто смотрел бодрее прежнего и не утратил нисколько своей обычной энергии. Не помню, кто из общих знакомых был на этом вечере, но у меня осталось в памяти, что при этом первом свидании мы обменивались только новостями и впечатлениями, вспоминали старые годы и наших общих друзей. После того видались мы почти каждую неделю…

Мало-помалу Федор Михайлович начал рассказывать подробности о своей жизни в Сибири и нравах тех отверженцев, с которыми пришлось ему прожить четыре года в каторжном остроге. Большая часть этих рассказов вошла потом в его «Записки из Мертвого дома». Сочинение это выходило при обстоятельствах довольно благоприятных: в цензуре веял уже в то время дух терпимости, и в литературе появились произведения, какие недавно еще были немыслимы в печати. Хотя новость книги, посвященной исключительно быту каторжных, мрачная канва всех этих рассказов о страшных злодеях и, наконец, то, что сам автор был только что возвращенный политический преступник, смущали несколько цензуру; но это, однако ж, не заставило Достоевского уклониться в чем-нибудь от правды. И «Записки из Мертвого дома» производили потрясающее впечатление: в авторе их видели как бы нового Данта, который спускался в ад тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности…

По возвращении из ссылки в Петербург Федор Михайлович горячо интересовался всеми сколько-нибудь замечательными явлениями в нашей литературе. С особенным участием всматривался он в молодых начинающих писателей и, видимо, радовался, когда подмечал в ком-нибудь из них дарование и любовь к искусству. Когда я заведовал редакцией журнала «Светоч», у меня каждую неделю собирались по вечерам сотрудники, большею частию молодежь. Между прочим, постоянным моим посетителем был известный романист Всеволод Владимирович Крестовский, тогда только что

оставивший университет и начинавший свою деятельность лирическими стихотворениями, замечательными по свежести мысли и изяществу формы. Однажды он в присутствии Достоевского прочел небольшую пьесу «Солимская Гетера», сходную по сюжету с известной картиною Семирадского «Грешница». Федор Михайлович, выслушав это стихотворение, отнесся к автору с самым теплым сочувствием и после того не раз просил Крестовского повторять его. Еще с большим участием любил он слушать его поэтические эскизы, связанные в одну небольшую лирическую поэму, под общим названием «Весенние ночи»…

Я мог бы рассказать еще несколько случаев, как с одной стороны его радовал всякий новый талант, а с другой — возмущало проявление в молодых людях испорченности вкуса или равнодушия к литературе. Он скорее извинял легкомысленное увлечение какой-нибудь ложной идеей, чем индифферентизм в искусстве или неуважение к таланту. В суждениях Достоевского о капитальных произведениях литературы выражалась та же тонкая наблюдательность, какую мы находим и в типах, созданных им в собственных романах. Это отчасти видно и в его речи на московских празднествах, при открытии памятника Пушкину; но еще ярче обнаруживалась эта своеобразность, когда дело шло об иностранных авторитетах, утвержденных на мнениях присяжных критиков: тут он был оригинально смел и если не во всем справедлив, то всегда самобытен и чужд обыденной рутины. В его критических и публицистических отзывах, несмотря на их парадоксальность, часто выражался психологический анализ и виднелись такие же неуловимо тонкие черты, как и в оригинальных лицах лучших его произведений.

Николай Николаевич Страхов:

Весь 1860 год мы только почти у А. П. Милюкова виделись с Федором Михайловичем. Я с уважением и любопытством слушал его разговоры и едва ли сам что говорил; но в «Светоче» шел ряд небольших моих статей натурфилософского содержания, и они обратили на себя внимание Федора Михайловича. Достоевские уже собирали тогда сотрудников: в следующем году они решились начать издание *толстого* ежемесячного журнала «Время» и заранее усердно приглашали меня работать в нем.

Хотя я уже имел маленький успех в литературе и обратил на себя некоторое внимание М. Н. Каткова и Ап. А. Григорьева, все-таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении Федору Михайловичу, который с тех пор отличал меня, постоянно

ободрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял за достоинства моих писаний. Читатели могут, конечно, смотреть на это как на ошибку с его стороны, но я должен был упомянуть об этом факте, хотя бы как образчике его литературных пристрастий, и охотно сознаюсь, что, несмотря на подшептывания самолюбия, часто сам видел преувеличение в важности, которую придавал Федор Михайлович моей деятельности… Федор Михайлович, конечно, желал бы быть и объявить себя прямым редактором журнала; но он тогда состоял под надзором полиции, почему и потом не мог быть утвержден редактором «Эпохи». Только в 1873 году это препятствие было устранено, и он был официально объявлен редактором «Гражданина». Так как оба брата жили душа в душу, то сначала вышло прекрасное разделение труда; все материальные хлопоты принял на себя Михайло Михайлович, а умственное руководство принадлежало Федору Михайловичу…

Журнал «Время» имел решительный и быстрый успех. Цифры подписчиков, которые так важны были для всех нас, мне твердо памятны. В первом, 1861 году было 2300 подписчиков, и Михайло Михайлович говорил, что он в денежных счетах успел свести концы с концами. На второй год было 4302 подписчика… На третий год издания, в апреле месяце, было уже до четырех тысяч, и Михайло Михайлович говорил, что остальные триста должны непременно набраться к концу года. Таким образом, дело сразу стало прочно, стало со второго же года давать большой доход, так как 2500 подписчиков вполне покрывали издержки издания; авторский гонорар был тогда менее нынешнего, он редко падал ниже пятидесяти рублей за печатный лист, но редко и подымался выше, и почти никогда не переходил ста рублей.

Причинами такого быстрого и огромного успеха «Времени» нужно считать прежде всего имя Ф. М. Достоевского, которое было очень громко; история его ссылки в каторгу была всем известна; она поддерживала и увеличивала его литературную известность — и наоборот. «Мое имя стоит миллиона!» — сказал он мне как-то в Швейцарии с некоторою гордостию.

Другая причина была — прекрасный (при всех своих недостатках) роман «Униженные и оскорбленные», достойно награждавший читателей, привлеченных именем Федора Михайловича. По свидетельству Добролюбова, в 1861 году этот роман был самым крупным явлением в литературе. «Роман г. Достоевского, — писал критик, — очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою…» И дальше: «Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор *(это*

значит до сентября 1861 г.) представляет лучшее литературное явление нынешнего года».

Третьей причиною нужно считать общее настроение публики, никогда Так жадно не бросавшейся на литературные новинки, как в то время. За первым увлечением иногда следовало быстрое разочарование; но на этот раз дело пошло прекрасно. Журнал оказался очень интересным; в нем слышалось воодушевление и, кроме того, заявилось направление вполне либеральное, но своеобразное, не похожее на направление «Современника», многим уже начинавшее набивать оскомину. Но вместе с тем «Время», по-видимому, в существенных пунктах не расходилось с «Современником». Не только в 9-й книжке «Современника» роман Федора Михайловича разбирался с большими похвалами, из которых мы привели несколько строк, но при самом начале «Времени» «Современник» дружелюбно его приветствовал. Первая книжка «Современника» вышла в конце января, недели через три после первого нумера «Времени», и в этой книжке был помещен «Гимн «Времени»» (вероятно, Добролюбова или Курочкина), в котором новый журнал предостерегался от врагов и опасностей. В то время слово «Современника» много значило; он достиг в это время самой вершины своего процветания и решительно господствовал над петербургскою публикою; его привет был действительнее всяких объявлений. В октябрьской книжке «Времени» 1861 года явилось даже стихотворение Некрасова «Крестьянские дети» вместе с комедиею Островского «Женитьба Бальзаминова»; в апрельской книжке «Времени» 1862 года явились сцены Щедрина. Таким образом, самые крупные сотрудники «Современника» по части изящной словесности, и даже *Некрасов* и *Щедрин*, отдававшие все свои силы этому журналу, ясно выказали свое особенное расположение ко «Времени». Тут можно видеть, конечно, и отражение успеха «Времени», и даже некоторое уважение к его направлению, уважение, которое, как мне думается, Некрасов сохранял до конца.

Так или иначе, но только «Время» быстро поднялось в глазах читателей, и в то время как старые журналы, «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» и т. п., падали, «Время» процветало и стало почти соперничать с «Современником», по крайней мере имело право, по своему успеху, мечтать о таком соперничестве. Этот успех ни в каком случае не был обманчивым явлением, то есть не был одним минутным увлечением, столь обыкновенным в нашей публике…

Во все существование «Времени» сотрудники его составляли две группы. Одна держалась вокруг Ап. Григорьева, умевшего

удерживать около себя молодых людей привлекательными чертами своего ума и сердца, особенно же искренним участием к их литературным занятиям; он умел будить их способности и приводить их в величайшее напряжение. Другую группу составляли Федор Михайлович и я; мы особенно подружились и виделись каждый день и даже не раз в день. Летом 1861 г. я переехал с Васильевского Острова на Большую Мещанскую (ныне Казанскую) в дом против Столярного переулка. Редакция была у Михайла Михайловича, жившего в Малой Мещанской, в угольном доме, выходившем на Екатерининский канал; а Федор Михайлович поселился в Средней Мещанской. Ап. Григорьев с своею молодою компаниею ютился в меблированных комнатах на Вознесенском проспекте, очень долго в доме Соболевского. Я написал это, чтобы сказать, что нам было близко друг к другу, но мне живо вспомнился тогдашний низменный характер этих улиц, грязноватых и густо населенных петербургским людом третьей руки. Во многих романах, особенно в «Преступлении и наказании», Федор Михайлович удивительно схватил физиономию этих улиц и их жителей.

Среди этих мест, наводящих тоску и отвращение, все мы прожили очень счастливые годы. Когда дело идет хороню, ничего не может быть занимательнее и возбудительнее журнальной работы. В ней соединяется вся привлекательность общественной публичной жизни со всею прелестию уединенных размышлений и усилий. Страницы, старательно обдуманные и изготовленные в тишине, вдруг выступают на свет на глаза множества читателей и делаются предметом суждений, из которых многие тотчас же до вас доходят. Особенно тогда было в привычке, что каждый журнал говорил о всех других журналах, так что впечатление всякой статьи обнаруживалось очень быстро. Достоевский, Ап. Григорьев и я могли быть уверены, что в новой книжке журнала непременно встретим свое имя. Соперничество разных изданий, напряженное внимание к их направлениям, полемика — все это обращало журнальное дело в такую интересную игру, что, раз ее испытавши, нельзя было потом не чувствовать большого желания опять в нее пуститься.

1862. Первая поездка за границу

Николай Николаевич Страхов:

Летом 1862 года, 7-го или 8-го июня, Федор Михайлович пустился в свою первую поездку за границу. Припомню, что могу, из этой поездки; сам он описал ее впечатления в статье «Зимние заметки о летних впечатлениях». Он поехал в Париж, а потом в Лондон, где виделся с Герценом, как сам о том упоминает в «Дневнике» «Гражданина». К Герцену он тогда относился очень мягко, и его «Зимние заметки» отзываются несколько влиянием этого писателя; но потом, в последние годы, часто выражал на него негодование за неспособность понимать русский народ и неумение ценить черты его быта…

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к Н. Н. Страхову 26 июня 1862 г., Париж:*

Ах, Николай Николаевич, Париж прескучнейший город, и если б не было в нем очень много действительно слишком замечательных вещей, то, право, можно бы умереть со скуки. Французы, ей-богу, такой народ, от которого тошнит. Вы говорили о самодовольно-наглых и говенных лицах, свирепствующих на наших минералах. Но клянусь Вам, что тут стоит нашего. Наши — просто плотоядные подлецы и большею частию сознательные, а здесь он вполне уверен, что так и надо. Француз тих, честен, вежлив, но фальшив и деньги у него — все. Идеала никакого. Не только убеждений, но даже размышлений не спрашивайте. Уровень общего образования низок до крайности (я не говорю про присяжных ученых. Но ведь тех немного; да и, наконец, разве ученость есть образование, в том смысле, как мы привыкли понимать это слово?). Вы, может быть, посмеетесь, что я так сужу, всего еще только десять дней пробыв в Париже. Согласен; но 1) то, что я видел в эти десять дней, подтверждает покамест мою мысль, и во 2-х) есть некоторые факты, которых заметить и понять достаточно полчаса, но которые ясно обозначают целые стороны общественного состояния, а именно тем, что эти факты возможны, существуют.

Заедете ли Вы в Париж? Заметьте: на три дня в Париж ехать не стоит, а посвятить ему две недели, если Вы только турист, будет скучно. За делом сюда ехать можно. Много есть чего посмотреть, изучить. Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже и потому хочу, не теряя времени, обозреть и изучить его не ленясь, сколько возможно для простого туриста, каков я есмь…

Еще, голубчик Николай Николаевич: Вы не поверите, как здесь охватывает душу одиночество. Тоскливое, тяжелое ощущение! Положим, Вы одинокий человек, и Вам особенно жалеть будет некого. Но опять-таки: чувствуешь, что как-то отвязался от почвы и отстал от насущной, родной канители, от текущих собственных семейных вопросов. Правда, до сих пор все мне не благоприятствовало за границей: скверная погода и то, что я все еще толкусь на севере Европы и из чудес природы видел только Рейн с его берегами (Николай Николаич, Это действительно чудо).

Николай Николаевич Страхов:

На это письмо я обещал быть к сроку в Женеве. Я выехал в половине июля, остановился дня на два, на три в Берлине, потом столько же в Дрездене и прямо проехал в Женеву. Чтобы отыскать Федора Михайловича, я употребил известный способ: пошел гулять по набережной и заходить в самые видные кофейни. Кажется, в первой же из них я нашел его. Мы очень обрадовались друг другу, как люди давно скучавшие среди чужой толпы, и принялись так громко разговаривать и хохотать, что встревожили других посетителей, чинно и молчаливо сидевших за своими столиками и газетами. Мы поспешили уйти на улицу и стали, разумеется, неразлучны. Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать; его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры, да разве общее впечатление уличной жизни. Он горячо стал объяснять мне, что презирает обыкновенную, казенную манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места. И мы действительно ничего не осматривали, а только гуляли, где полуднее, и разговаривали. У меня не было определенной цели, и я тоже старался уловить только общую физиономию этой ни разу еще мною не виданной жизни и природы. Женеву Федор Михайлович находил вообще мрачною и скучною. По моему предложению, мы съездили в Люцерн; мне очень хотелось видеть озеро Четырех Кантонов, и мы делали увеселительную поездку на пароходе по этому озеру. Погода стояла прекрасная, и мы могли вполне налюбоваться этим несравненным видом. Потом мне хотелось быть непременно во Флоренции, о которой так восторженно писал и рассказывал Ап. Григорьев. Мы пустились в путь через Монсенис и Турин в Геную; там сели на пароход, на котором приехали в Ливорно, а оттуда по железной дороге во Флоренцию. В Турине мы ночевали,

и он своими прямыми и плоскими улицами показался Федору Михайловичу напоминающим Петербург. Во Флоренции мы прожили с неделю в скромной гостинице Pension Suisse (Via Tomabuoni). Жить здесь нам было недурно, потому что гостиница не только была удобна, но и отличалась патриархальными нравами… И туг мы не делали ничего такого, что делают туристы. Кроме прогулок по улицам, здесь мы занимались еще чтением. Тогда только что вышел роман В. Гюго «Les Miserables»[12], и Федор Михайлович покупал его том за томом. Прочитавши сам, он передавал книгу мне, и тома три или четыре было прочитано в эту неделю. Однако мне хотелось не упустить случая познакомиться с великими произведениями искусства, попробовать при спокойном и внимательном рассматривании угадать и разделить восторг, созидавший эту красоту, и я несколько раз навестил galleria degli Uffizi. Однажды мы пошли туда вместе; но так как мы не составили никакого определенного плана и нимало не готовились к осмотру, то Федор Михайлович скоро стал скучать, и мы ушли, кажется не добравшись даже до Венеры Медицейской. Зато наши прогулки по городу были очень веселы, хотя Федор Михайлович и находил иногда, что Арно напоминает Фонтанку… Но всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина…

Из «Заметок» («Зимние заметки о летних впечатлениях». — *Сост.)* самого Достоевского читатели всего яснее увидят, на что было направлено его внимание за границею, как и везде. Его интересовали люди» исключительно люди, с их душевным складом, с образом их жизни, их чувств и мыслей.

Из дневника Аполлинарии Сусловой 1863 года:

1 августа, среда. Париж.

…Сейчас получила письмо от Федора Михайловича. Он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтоб сказать все, но теперь решила писать.

19 августа.

«Ты едешь немножко поздно… Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку — все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. — Я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу только сказать, что ты меня не знал, да и я сама себя не

знала. Прощай, милый!

Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось *говорить* с тобой о России».

В эту минуту мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный! какой ум! какое сердце!..

17, среда [13]

Сейчас получила письмо от Федора Михайловича по городской уже почте. Как он рад, что скоро меня увидит. Я ему послала очень коротенькое письмо, которое было заранее приготовлено. Жаль мне его очень.

Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдет первое впечатление горя! Боюсь только, как бы он, соскучившись меня дожидаться (письмо мое придет не скоро), не пришел ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания. Хорошо, что я *предупредила* его, чтобы он прежде мне написал, иначе что б было…

Того же числа вечером.

Так и случилось. Едва успела я написать предыдущие строки, как Федор Михайлович явился. Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде, и то долго не решалась выйти. «Здравствуй», — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство.

— Я думала, что ты не приедешь, — сказала я, — потому что написала тебе письмо.

— Какое письмо?

— Чтобы ты не приезжал.

— Отчего?

— Оттого, что поздно.

Он опустил голову.

— Я должен все знать, пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру.

Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали. Я не смотрела на него. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом: «Vite, vite», причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам *сжимал* ее и делал какие-то судорожные движения.

— Успокойся, ведь я с тобой, — сказала я.

Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв, с рыданием мои колени, громко зарыдал: «Я

потерял тебя, я это знал!» Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. «Может быть, он красавец, молод, говорун. *Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое».*

Я долго не хотела ему отвечать.

— Ты отдалась ему совершенно?

— Не спрашивай, это нехорошо, — сказала я.

— Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно. Кто он: русский, француз, не мой доктор? Тот <нрзбр.>?

— Нет, нет.

Я ему сказала, что очень люблю этого человека.

— Ты счастлива?

— Нет.

— Как же это? Любишь и не счастлива, да возможно ли это?

— Он меня не любит.

— Не любит! — вскричат он, схватившись за голову, в отчаянии. — Но ты не любишь его как раба, скажи мне, это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?

— Нет, я… я уеду в деревню, — сказала я, заливаясь слезами.

— О Поля, зачем же ты так несчастлива! Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое, ты ждала до двадцати трех лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей, но чего это стоит: мужчина и женщина не одно и то же. Он берет — она дает.

Когда я сказала ему, что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство: что ему стало легче, что это не серьезный человек, не Лермонтов. Мы много еще говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предлагал ехать в Италию, оставаясь как мой брат. Когда я ему сказала, что он, верно, будет писать свой роман, он сказал: «За кого ты меня принимаешь! Ты думаешь, что все пройдет без всякого впечатления». Я ему обещала прийти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня…

6 сентября. Баден-Баден.

Путешествие наше с Федором Михайловичем довольно забавно; визируя наши билеты, он побранился в папском посольстве; всю дорогу говорил стихами, наконец здесь, где мы с трудом нашли две комнаты с двумя постелями, он расписался в книге «Officier», чему мы очень смеялись. Все время он играет на рулетке и вообще очень беспечен. Дорогой он сказал мне, что

имеет надежду, хотя прежде утверждал, что нет. На это я ему ничего не сказала, но знала, что этого не будет. Ему понравилось, что я так решительно оставила Париж, он этого не ожидал. Но на этом еще нельзя основывать надежды — напротив. Вчера вечером эти надежды особенно высказались. Часов в десять мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть.

Я ему говорила, что была к нему несправедлива и груба в Париже, что я как будто думала только о себе, но я думала и о нем, а говорить не хотела, чтобы не обидеть. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел.

— Ты куда ж хотел идти? — спросила я.

— Я хотел закрыть окно.

— Так закрой, если хочешь.

— Нет, не нужно. Ты не знаешь, что сейчас со мной было! — сказал он с странным выражением.

— Что такое? — Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволнованно.

— Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.

— Ах, зачем это? — сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги.

— Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.

Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это.

— И мне неловко, — сказал он с странной улыбкой. Я спрятала свое лицо в подушку. Потом я опять спросила, — придет ли горничная, и он опять утверждал, что нет.

— Ну так поди к себе, я хочу спать, — сказала я.

— Сейчас, — сказал он, но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу. Моя свечка догорала.

— У тебя не будет огня, — сказал он.

— Нет, будет, есть целая свечка.

— Но это моя.

— У меня есть еще.

— Всегда найдутся ответы, — сказал он улыбаясь и вышел. Он не затворил своей двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить мое окно. Он подошел ко мне и посоветовал

раздеваться.

— Я разденусь, — сказала я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода.

Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь. Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян. Потом он сказал, что мне, верно, неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом предмете, так что он не мог иметь ни надежды, ни безнадежности. Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он, верно, казался мне глуп, что он сам сознает свою глупость, но она бессознательна…

14 сентября. Турин. 1863.

Вчера мы обедали с Федором Михайловичем в нашей гостинице за table d'hote. Обедающие были все французы, молодые люди; один из них очень нагло посматривал на меня, и даже Федор Михайлович заметил, что он как-то двусмысленно кивал на меня своему товарищу. Федора Михайловича взбесило и привело в затруднение потому, что ему довольно трудно в случае нужды меня защищать. Мы решились обедать в другой гостинице. После того как француз кивнул на меня своему соседу, Федор Михайлович подарил его таким взглядом, что тот опустил глаза и начал острить очень неудачно.

17 сентября. Турин. 1863.

На меня опять нежность к Федору Михайловичу[14]. Я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что не права, мне хотелось загладить эту вину; я стала нежна с ним. Он отозвался с такою радостью, что это меня тронуло, и стала вдвое нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: «Вот это знакомый взгляд, давно я его не видал». Я склонилась к нему на грудь и заплакала.

Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете». <…>

Рим. 29 сентября.

Вчера Федор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьезно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Я сказала, что тут есть одна причина, которой прежде мне не приходилось высказать. Потом он сказал, что меня заедает утилитарность. Я сказала, что утилитарности не могу иметь, хотя и есть некоторое поползновение. Он <не>

согласился, сказав, что имеет доказательства. Ему, по-видимому, хотелось знать причину моего упорства. Он старался ее отгадать.

— Ты не знаешь, это не то, — отвечала я на разные его предположения.

У него была мысль, что это каприз, желание помучить.

— Ты знаешь, — говорил он, — что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться. Я не могла не улыбнуться и едва не спросила, для чего он это говорил.

— Всему этому есть одна главная причина, — начал положительно (после я узнала, что он не был уверен в том, что говорил), — причина, которая внушает мне омерзение, — это полуост<ров>[15].

Это неожиданное напоминание очень взволновало меня.

— Ты надеешься.

Я молчала.

— Теперь ты не возражаешь, — сказал он, — не говоришь, что это не то.

Я молчала.

— Я не имею ничего к этому человеку, потому что это слишком пустой человек.

— Я нисколько не надеюсь, мне нечего надеяться, — сказала я, подумав.

— Это ничего не значит, рассудком ты можешь отвергать все ожидания, это не мешает.

Он ждал возражения, но его не было, я чувствовала справедливость этих слов.

Он внезапно встал и пошел лечь на постель. Я стала ходить по комнате. Мысль моя вдруг обновилась, мне в самом деле блеснула какая-то надежда. Я стала, не стыдясь, надеяться.

Проснувшись, он сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю обидную грусть и насолить мне.

Я с недоумением смотрела на его странные выходки. Он будто хотел обратить все в смех, чтоб уязвить меня, но я только смотрела на него удивленными глазами.

— Нехороший ты какой, — сказала я наконец просто.

— Чем? Что я сделал?

— Так, в Париже и Турине ты был лучше. Отчего ты такой веселый?

— Это веселость досадная, — сказал он и ушел, но скоро пришел опять.

— Нехорошо мне, — сказал он серьезно и печально. — Я осматриваю все как будто по обязанности, как будто учу урок; я думал, по крайней мере, тебя развлечь.

Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.

— Нет, — сказал он печально, — ты едешь в Испанию.

Мне как-то страшно и больно — сладко от намеков о С<альвадоре>. Какая, однако, дичь во всем, что было между мной и Сальв<адором>. Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне!

Федор Михайлович опять все обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). «Ибо россияне никогда не отступали»..

16 апреля 1864 года. У гроба жены

Федор Михайлович Достоевский. *Из записной книжки:*

Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?

Возлюбить человека, *как самого себя*, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа, как *идеала человека во плоти*, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего *я*, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма, и в слитии, оба, и я и *все* (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтож<енн>ые друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо.

Это-то и есть рай Христов. Вся история, как человечества, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели.

Но если это цель окончательная человечества (достигнув которой ему не надо будет развиваться, то есть достигать, бороться, прозревать при всех падениях своих идеал и вечно стремиться к нему, — стало быть, не надо будет жить) — то, следственно, человек, достигая, оканчивает свое земное существование. Итак, человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное.

Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следственно, есть будущая, райская жизнь.

Какая она, где она, на какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, то есть в лоне всеобщего синтеза, то есть Бога? — мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, которое вряд ли будет и называться человеком (след<овательно>, и понятия мы не имеем, какими будем мы существами). Эта черта предсказана и предугадана Христом — великим и конечным идеалом развития всего

человечества, — представшим нам, по закону нашей истории, во плоти; эта черта:

«Не женятся и не посягают, а живут, как ангелы Божии». — Черта глубоко знаменательная.

1) Не *женятся* и не *посягают,* — ибо не для чего; развиваться, достигать цели, посредством смены поколений уже не надо и

2) Женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее оттолкновение от гуманизма, совершенное обособление пары от *всех* (мало остается для всех). Семейство, то есть закон природы, но все-таки ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от человека. Семейство — это величайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона природы человек достигает развития (то есть сменой поколений) цели. Но в то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала своей цели, должен беспрерывно отрицать его. (Двойственность.)

NB. Антихристы ошибаются, опровергая христианство следующим главным пунктом опровержения: 1) «Отчего же христианство не царит на земле, если оно истинно; отчего же человек до сих пор страдает, а не делается братом друг другу?»

Да очень понятно почему: потому что это идеал будущей, окончательной жизни человека, а на земле человек в состоянии переходном. Это будет, но будет после достижения цели, когда человек переродится по законам природы окончательно в другую натуру, которая не женится и не посягает, и, 2-е. Сам Христос проповедовал свое учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече), ибо это закон природы, потому что на земле жизнь развивающаяся, а там — бытие, полное синтетически, вечно наслаждающееся и наполненное, для которого, стало быть, «времени больше не будет».

NB2. Атеисты, отрицающие Бога и будущую жизнь, ужасно наклонны представлять все это в человеческом виде, тем и грешат. Натура Бога прямо противоположна натуре человека. Человек, по великому результату науки, идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе. Но если человек не человек — какова же будет его природа?

Понять нельзя на земле, но закон ее может предчувствоваться и всем человечеством в непосредственных эманациях (Прудон, происхождение бога), и каждым частным лицом.

Это слитие полного я, то есть знания и синтеза со всем.

«Возлюби всё, как себя». Это на земле невозможно, ибо противуречит закону развития личности и достижения окончательной цели, которым связан человек. Следовательно, это закон не идеальный, как говорят антихристы, а нашего идеала.

NB. Итак, все зависит от того: принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, то есть от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки.

Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого я? Говорят, человек разрушается и умирает *весь.*

Мы уже потому знаем, что не весь, что человек, как физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память свою людям (NB. *Пожелание вечной памяти* на панихидах знаменательно), то есть входит частию своей прежней, жившей на земле личности в будущее развитие человечества. Мы наглядно видим, что память великих развивателей человека живет между людьми (равно как и злодеев развитие), и даже для человека величайшее счастье походить на них. Значит, часть этих натур входит и плотью и одушевленно в других людей. Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в Христа как в свой идеал. Достигнув этого, он ясно увидит, что и все, достигавшие на земле этой же цели, вошли в состав его окончательной натуры, то есть в Христа. (Синтетическая натура Христа изумительна. Ведь это натура бога, значит, Христос есть отражение бога на земле.) Как воскреснет тогда каждое я — в общем Синтезе — трудно представить. Но живое, не умершее даже до самого достижения и отразившееся в окончательном идеале — должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую, бесконечную. Мы будем — лица, не переставая сливаться со всем, не посягая и не женясь, и в различных разрядах (в дому отца моего обители многи суть). Всё себя тогда почувствует и познает навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе, — человеку трудно и представить себе окончательно.

Итак, человек стремится на земле к идеалу, *противуположному* его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил *любовью* в жертву своего *я* людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна.

Учение материалистов — всеобщая косность и механизм вещества, значит смерть. Учение истинной философии —

уничтожение косности, то есть мысль, то есть центр и Синтез вселенной и наружной формы ее — вещества, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная.

Лето 1866 года в Люблино

Мария Александровна Иванова:

Лето 1866 года Ф. М. Достоевский провел в Люблине у Ивановых. Ивановы занимали большую деревянную дачу невдалеке от парка. Их большая семья летом еще увеличивалась: А. Н. Иванов брал к себе на дачу гостить студентов, которым некуда было уезжать, детям разрешалось приглашать товарищей и подруг. Так как Ф. М. Достоевскому нужен был ночью полный покой (он обычно писал по ночам), а в даче Ивановых слишком было людно для этого, — то заплачет ребенок, то молодежь вернется поздно с гулянья, то встанут чуть свет, чтобы идти на рыбную ловлю, — Достоевский поселился рядом, в пустой каменной двухэтажной даче, где занял только одну комнату. К нему ходил ночевать лакей Ивановых, потому что боялись его оставлять одного, зная о его припадках. Но в течение этого лета припадок был всего один раз.

Однажды лакей, ходивший ночевать к Достоевскому, решительно отказался это делать в дальнейшем. На расспросы Ивановых он рассказал, что Достоевский замышляет кого-то убить — все ночи ходит по комнатам и говорит об этом вслух (Достоевский в это время писал «Преступление и наказание»).

Дни и вечера Достоевский проводил с молодежью. Хотя ему было сорок пять лет, он чрезвычайно просто держался с молодой компанией, был первым затейником всяких развлечений и проказ. И по внешности он выглядел моложе своих лет. Всегда изящно одетый, в крахмальной сорочке, в серых брюках и синем свободном пиджаке, Достоевский следил за своей наружностью и очень огорчался, например, тем, что его бородка была очень жидка. Этой слабостью пользовались его молоденькие племянницы и часто поддразнивали дядюшку его «бороденкой». Несмотря на большую близость с детьми Ивановых, Достоевский все же всех их звал на «вы», и никакие выпитые «брудершафты» не помогали ему отказаться от этой привычки.

Николай Николаевич Фон-Фохт:

В то отдаленное время Люблино представляло очень уютный и тихий утолок. Дачи были окружены прелестным старым парком, примыкавшим с северной стороны к большому проточному озеру, а с южной — парк переходил незаметно в мешаный большой лес, тянувшийся по направлению к Перервинской слободе. Вообще Люблино было окружено лесами и потому представляло весьма здоровый пункт для летнего пребывания. В озере же дачники

пользовались превосходным купаньем и рыбной ловлей. Около купален было собрано множество лодок разнообразных типов, коими дачники пользовались безвозмездно. Вообще в Люблине можно было проводить лето весьма приятно, причем главное его достоинство заключалось в том, что сюда не заглядывали городские жители, не было самоваров, шарманок, акробатов и прочих удовольствий для людей средней руки и простонародья. В Люблине всегда было тихо и спокойно…

Обыкновенно Ф. М. Достоевский вставал около девяти часов утра и, напившись чая и кофе, тотчас же садился за работу, которой не прерывал до самого обеда, то есть до трех часов пополудни. Обедал он у Ивановых, где уже и оставался до самого вечера. Таким образом, Федор Михайлович писал по вечерам крайне редко, хотя говорил, что лучшие и наиболее выразительные места его произведений всегда выходили у него, когда он писал поздно вечером. Однако вечерние занятия ему были воспрещены, как слишком возбуждавшие и без того расстроенную его нервную систему.

Мария Александровна Иванова:

Достоевский любил подмечать слабые или смешные стороны кого-нибудь из присутствующих и забавлялся, преследуя шутками, экспромтами свою жертву. Молодежь смело отвечала ему, и между ними были постоянные веселые пикировки. Особенно весело бывало за ужином…

После ужина бывало самое веселое время. Играли и гуляли часов до двух-трех ночи, ходили в Кузьминки, в Царицыно. К компании Ивановых присоединялись знакомые дачники, жившие в Люблине по соседству. Во всех играх и прогулках первое место принадлежало Федору Михайловичу. Иногда бывало, что во время игр он оставлял присутствующих и уходил к себе на дачу записать что-либо для своей работы. В таких случаях он просил минут через десять прийти за ним. Но когда за ним приходили, то заставали его так увлеченным работой, что он сердился на пришедших и прогонял их. Через некоторое время он возвращался сам, веселый и опять готовый к продолжению игры. Рассказывать о своей работе он очень не любил.

У Ивановых любили играть в пословицы. Федору Михайловичу обыкновенно давали самое трудное слово. Он рассказывал в ответ на вопрос длинную историю, страницы в две-три, и угадать слово было невозможно. Часто он рассказывал по вечерам жуткие истории или предлагал присутствующим проделать такой опыт, просидеть в пустой комнате перед зеркалом минут пять, смотря, не отрываясь, себе в глаза. По его

словам, это очень страшно и почти невозможно выполнить.

Николай Николаевич Фон-Фохт:

Одна из дочерей А. П. Иванова, уже взрослая девица и отличная музыкантша, была большая трусиха. Федор Михайлович это хорошо знал и нарочно рассказывал ей на сон грядущий такие страшные и фантастические истории, от которых бедная Мария Александровна не могла подолгу заснуть. Федора Михайловича это ужасно забавляло.

Мария Александровна Иванова:

Недалеко от Ивановых жила семья Машковцевых. Родители уехали за границу, а несколько дочерей в возрасте четырнадцати-семнадцати лет оставались под надзором немки-гувернантки. Она была чрезвычайно строга к ним и обращалась как с маленькими детьми. В девять часов укладывала спать и на всякий случай отбирала обувь на ночь, чтобы предупредить возможность тайных прогулок. Федор Михайлович терпеть не мог эту немку, звал ее «куриная нога в кринолине» и жалел ее воспитанниц. Он предложил однажды вечером забрать с собой нужную обувь и отправиться поздно вечером к даче Машковцевых. Здесь он перед окном гувернантки спел пушкинский романс: «Я здесь, Инезилья…» — и когда было очевидно, что гувернантка крепко спит и не просыпается на пение, то компания обошла дом кругом, помогла выбраться наружу девушкам, снабдив их первоначально нужной обувью, и взяла с собой на прогулку. Такие проказы продолжались несколько ночей подряд…

Николай Николаевич Фон-Фохт:

Прогулки обыкновенно заканчивались разными играми в парке, которые затягивались иногда до полуночи, если дождь ранее не разгонит всех по домам. Ф. М. Достоевский принимал самое деятельное участие в этих играх и в этом отношении проявлял большую изобретательность. У него однажды даже явилась мысль устроить нечто вроде открытого театра, на котором мы должны были давать импровизированные представления. Для сцены выбрали деревянный помост, охватывавший в виде круглого стола ствол столетней, широковетвистой липы. В то время вся наша молодежь зачитывалась сочинениями Шекспира, и вот Ф. М. Достоевский решил воспроизвести сцену из «Гамлета». По его указаниям сцена должна была быть воспроизведена в следующем виде: я и старший сын А. П. Иванова стоим на часах и ведем беседу, вспоминая о недавно появившейся тени прежнего датского

короля. Во время этого разговора вдруг появляется тень короля в лице Федора Михайловича, закутанного с головою в простыню. Он проходит по сцене и скрывается, мы же, объятые ужасом, падаем. После этого медленно выступает на сцену Гамлет (молодой доктор К<арепи>н, племянник Федора Михайловича) и, увидя нас лежащими на земле, останавливается, грозным взором окидывает зрителей и торжественно произносит: «Все люди свиньи!» Эта фраза вызывала громкие рукоплескания публики, и тем сцена кончалась. В этом роде изображались и другие сцены, и всегда в них участвовал сам Достоевский. Словом, он забавлялся с нами, как дитя, находя, быть может, в этом отдых и успокоение после усиленной умственной и душевной работы над своим великим произведением.

Мария Александровна Иванова:

Много веселья вносило присутствие в семье Ивановых племянника Ивановых и Достоевского, молодого доктора, Александра Петровича Карепина. Ему было двадцать шесть лет, он не был женат и отличался многими странностями. Все приключения диккенсовского Пиквика случались с ним. Несмотря на то что он окончил медицинский факультет и состоял врачом при Павловской больнице, в жизни он был почти идиотом. Он был предметом неистощимых шуток и глумлений для молодой компании Ивановых. Достоевский воспел его в ряде шуточных стихотворений, которые приводятся ниже.

ОДА В ЧЕСТЬ ДОКТОРА КАРЕПИНА

Поэт
Позволь пиите дерзновенну.
О ты, достойный славу зреть,
Его рукой неизощренной
Тебя, прекрасного, воспеть!
Кому тебя мне уподобить?
Какой звезде, какому богу?
Чтобы тебя не покоробить,
Зову Державина в подмогу.

Тень Державина
Ростом пигмей, лицом сатир,
Всего он скорей монгольский кумир.

Поэт
Могу ль ушам своим я верить?

Поэт Фелицы и министр,
Державин может лицемерить.
Как самый ярый нигилист!
О нет! Он ростом Геркулес,
Хоть и приземист он.

Тень Державина
Танцует, как медведь,
Поет, как филин, он.

Поэт
Такую отповедь
Не выношу я! Вон!

(Тень Державина удаляется.)

Во время прогулки по строящейся железной дороге Достоевский сказал раз такой экспромт в честь Карепина:

По дороге по железной
Шел племянник мой Карепин.
Человек небесполезный
И собой великолепен!

Карелии не был женат, но все время мечтал об идеальной невесте, которой должно быть не больше шестнадцати-семнадцати лет и которую он заранее ревновал ко всем. Он ненавидел эмансипированных женщин и говорил о том, что его жена будет далека от всех современных идей о женском равноправии и труде. В то время как раз все зачитывались романом Чернышевского «Что делать?», и Карепина дразнили, предрекая его жене судьбу героини романа. Достоевский заявил ему однажды, что правительство поощряет бегство жен от мужей в Петербург для обучения шитью на швейных машинках и для жен-беглянок организованы специальные поезда. Карепин верил, сердился, выходил из себя и готов был чуть ли не драться за будущую невесту. Достоевский предложил устроить импровизированный спектакль-суд над Карепиным и его будущей женой.

Федор Михайлович изображал судью в красной кофте сестры, с ведром на голове и в бумажных очках. Рядом сидел и записывал секретарь, Софья Александровна Иванова, и Карепины — муж и жена, подсудимые. Федор Михайлович говорит блестящую речь в

защиту жены, которая хочет бежать в Петербург и учиться шить на швейной машинке.

В результате он обвиняет мужа и приговаривает его к ссылке на Северный полюс. Карепин сердится, бросается на Достоевского. Занавес закрывается, первое действие кончается. Второе — на Северном полюсе. Крутом снег из простынь и ваты. Карепин сидит и жалуется на свою судьбу. Достоевский в виде белого медведя подкрадывается и съедает его.

Подобные спектакли устраивались очень часто. Однажды в шутку разыгрывалась «Черная шаль» Пушкина. В другой раз устроена была торжественная процессия, сопровождающая Магомета II — доктора Карепина. Вся молодежь через Люблино отправилась в Кузьминки с боем в медные тазы, с свистками и пр. Вызвана эта забава была шутками Достоевского над Карепиным; Федор Михайлович начал серьезно уверять его, что он «манкирует своей карьерой», что звание доктора слишком для него ничтожно и что он мог бы занять более высокое положение. На вопрос Карепина, кем бы ему сделаться, Достоевский предложил ему назваться Магометом II. По этому поводу был опять организован какой-то суд над Карепиным. Во время допроса Карепин показал, что ему двадцать шесть лет, по поводу чего судья — Достоевский предложил секретарю записать, что «подсудимый сбивается в показаниях», так как Магомет II, сын Магомета I, не может быть в этом возрасте. Во время этой игры Карелии сказал какую-то дерзость одной из барышень, за что был приговорен к временному повешению: его подвесили на дереве на полотенцах под руки…

С юношами, бывавшими в семье Ивановых, Достоевский часто вступал в споры по поводу модного «нигилизма» и по вопросу о том, что выше: «сапоги или Пушкин». Он красноречиво отстаивал значение поэзии Пушкина.

Николай Николаевич Полянский (1862–1938), *писатель:*

Однажды, когда на лужайке перед террасой стояли копны убранного к вечеру свежескошенного сена, — на одной из них сидела со мной моя старушка няня Пелагея, а на террасе пили чай.

Был прекрасный, очень теплый вечер. Солнце глядело еще не низко, но уже надвигалась вечерняя дымка…

Достоевский кончил свой стакан, вышел из-за стола и спустился с террасы. Стоял и смотрел задумчиво куда-то в сад. Вдруг — заметил меня с няней, подошел к нам и, опустившись на сено, стал теребить меня и играть со мной…

…Встал, поднял меня на руки, посадил себе на плечи верхом

и быстро-быстро пошел по дорожкам, изображая верхового коня и всадника… Он отломал с куста веточку, дал ее мне в руки, и я, смеясь и радуясь, стал погонять его этим прутиком…

Это очевидно было ему маленьким развлечением после его писательской работы, в его тогдашнем мрачном настроении…

Оставив наконец меня, Федор Михайлович вернулся на террасу, улыбаясь, слегка запыхавшись…

Он повеселел, присел к столу и вступил в разговор, рассказывая о том, как он любит возиться с детьми. Обращаясь к моей матери и «как бы извиняясь», он проговорил:

— Знаете, я ужасно люблю маленьких детей. Это — моя слабость.

Я здесь передаю подлинные слова моей покойной матери.

Роман «Игрок». Знакомство с Анной Григорьевной Сниткиной

Александр Петрович Милюков:

В праздник Покрова Богородицы, то есть 1-го октября, зашел я к Достоевскому, который незадолго приехал из Москвы. Он быстро ходил по комнате с папиросой и, видимо, был чем-то очень встревожен.

— Что вы такой мрачный? — спросил я.

— Будешь мрачен, когда совсем пропадаешь! — отвечал он, не переставая шагать взад и вперед.

— Как! что такое?

— Да знаете вы мой контракт с Стелловским?

— О контракте вы мне говорили, но подробностей не знаю.

— Так вот посмотрите.

Он подошел к письменному столу, вынул из него бумагу и подал мне, а сам опять зашагал по комнате. Я был озадачен. Не говоря уже о незначительности суммы, за которую было запродано издание, в условии заключалась статья, по которой Федор Михайлович обязывался доставить к ноябрю того же года новый, нигде еще не напечатанный роман в объеме не менее десяти печатных листов большого формата, а если не выполнить этого, то Стелловский имеет право перепечатывать все будущие его сочинения без всякого вознаграждения.

— Много у вас написано нового романа? — спросил я. Достоевский остановился передо мною, резко развел руками и сказал:

— Ни одной строки!

Это меня поразило.

— Понимаете теперь, отчего я пропадаю? — сказал он желчно.

— Но как же быть? ведь надобно что-нибудь делать! — заметил я.

— А что же делать, когда остается один месяц до срока. Летом для «Русского вестника» писал, да написанное должен был переделывать, а теперь уж поздно: в четыре недели десяти больших листов не одолеешь.

Мы замолчали. Я присел к столу, а он заходил опять по комнате.

— Послушайте, — сказал я, — нельзя же вам себя навсегда закабалить; надобно найти какой-нибудь выход из этого положения.

— Какой тут выход! я никакого не вижу.

— Знаете что, — продолжал я. — вы, кажется, писали мне из Москвы, что у вас есть уже готовый план романа?

— Ну, есть, да ведь я вам говорю, что до сих пор не написано ни строчки.

— А не хотите ли вот что сделать: соберемте теперь же нескольких наших приятелей; вы расскажете нам сюжет романа, мы наметим его отделы, разделим по главам и напишем общими силами. Я уверен, что никто не откажется. Потом вы просмотрите и сгладите неровности или какие при этом выйдут противоречия. В сотрудничестве можно будет успеть к сроку: вы отдадите роман Стелловскому и вырветесь из неволи. Если же вам своего сюжета жаль на такую жертву, придумаем что-нибудь новое.

— Нет, — отвечал он решительно, — я никогда не подпишу своего имени под чужой работой.

— Ну, так возьмите стенографа и сами продиктуйте весь роман: я думаю, в месяц успеете кончить.

Достоевский задумался, прошелся опять по комнате и сказал:

— Это другое дело… Я никогда еще не диктовал своих сочинений, но попробовать можно… Да, другого средства нет, не удастся — так пропал… Спасибо вам: необходимо это сделать, хоть и не знаю, сумею ли… Но где стенографа взять? Есть у вас знакомый?

— Нет, но найти не трудно.

— Найдите, найдите, только скорее.

— Завтра же похлопочу.

Федор Михайлович был в возбужденном состоянии: он, очевидно, начал надеяться на возможность выйти из своего тяжелого положения, но в то же время не совсем еще был уверен в успехе новой для него работы. На другой день я обратился к одному из моих сослуживцев, Е. Ф. В-ру, с вопросом: нет ли у него знакомого стенографа, и объяснил ему при этом, в чем дело. Он обещал съездить к своему знакомому, П. М. Ольхину, который за несколько месяцев перед тем открыл курсы стенографии, преимущественно для женщин. Я просил сделать это не мешкая — и вот на другой же день к Достоевскому явилась по рекомендации Ольхина, в качестве стенографки, одна из лучших его учениц, Анна Григорьевна Сниткина. После объяснения относительно подробностей работы и условий, с следующего же утра, 4-го октября, началось стенографирование романа «Игрок».

Анна Григорьевна Достоевская:

Я приготовилась, а Федор Михайлович принялся ходить по комнате довольно быстрыми шагами, наискось от двери к печке,

причем, дойдя до нее, непременно стучал об нее два раза. При этом он курил, часто меняя и бросая недокуренную папиросу в пепельницу, стоявшую на кончике письменного стола.

Продиктовав несколько времени, Федор Михайлович попросил меня прочесть ему написанное и с первых же слов меня остановил:

— Как «воротилась из Рулетенбурга»? Разве я говорил про Рулетенбург?

— Да, Федор Михайлович, вы продиктовали это слово.

— Не может быть!

— Позвольте, имеется ли в вашем романе город с таким названием?

— Да. Действие происходит в игорном городе, который я назвал Рулетенбургом.

— А если имеется, то вы, несомненно, это слово продиктовали, иначе откуда бы я могла его взять?

— Вы правы, — сознался Федор Михайлович, — я что-то напутал.

Я была очень довольна, что недоразумение разъяснилось. Думаю, что Федор Михайлович был слишком поглощен своими мыслями, а может быть, за день очень устал, оттого и произошла ошибка. Он, впрочем, и сам это почувствовал, так как сказал, что не в состоянии больше диктовать, и просил принести продиктованное завтра к двенадцати часам. Я обещала исполнить его просьбу…

На другой день я встала рано и тотчас принялась за работу. Продиктовано было сравнительно немного, но мне хотелось красивее и отчетливее переписать, и это заняло время. Как я ни спешила, но опоздала на целых полчаса.

Федора Михайловича я нашла в большом волнении.

— Я уже начинал думать, — сказал он, здороваясь, что работа у меня показалась вам тяжелою и вы больше не придете. Между тем я вашего адреса не записал и рисковал потерять то, что вчера было продиктовано.

— Мне очень совестно, что я так запоздала, — извинялась я, — но уверяю вас, что если бы мне пришлось отказаться от работы, то я, конечно, уведомила бы вас и доставила бы продиктованный оригинал.

— Я оттого так беспокоюсь, — объяснял Федор Михайлович, — что мне необходимо написать этот роман к первому ноября, а между тем я не составил даже плана нового романа. Знаю лишь, что ему следует быть не менее семи листов издания Стелловского.

Я стала расспрашивать подробности, и Федор Михайлович

объяснил мне поистине возмутительную ловушку, в которую его поймали…

Так началась и продолжалась наша работа. Я приходила к Федору Михайловичу к двенадцати часам и оставалась до четырех. В течение этого времени мы раза три диктовали по получасу и более, а между диктовками пили чай и разговаривали. Я стала с радостью замечать, что Федор Михайлович начинает привыкать к новому для него способу работы и с каждым моим приходом становится спокойнее. Это сделалось особенно заметным с того времени, когда, сосчитав, сколько моих исписанных страниц составляют одну страницу издания Стелловского, я могла точно определить, сколько мы уже успели продиктовать. Все прибавлявшееся количество страниц чрезвычайно ободряло и радовало Федора Михайловича. Он часто меня спрашивал: «А сколько страниц мы вчера написали? А сколько у нас в общем сделано? Как думаете, кончим к сроку?»…

Чем дальше шло время, тем более Федор Михайлович втягивался в работу. Он уже не диктовал мне изустно, тут же сочиняя, а работал ночью и диктовал мне по рукописи. Иногда ему удавалось написать так много, что мне приходилось сидеть далеко за полночь, переписывая продиктованное. Зато с каким торжеством объявляла я назавтра количество прибавившихся листков! Как приятно было мне видеть радостную улыбку Федора Михайловича в ответ на мои уверения, что работа идет успешно и что, нет сомнения, будет окончена к сроку…

Двадцать девятого октября происходила наша последняя диктовка. Роман «Игрок» был закончен. С 4 по 29 октября, то есть в течение двадцати шести дней, Федор Михайлович написал роман в размере семи листов в два столбца, большого формата, что равняется десяти листам обыкновенного. Федор Михайлович был чрезвычайно этим доволен и объявил мне, что, сдав благополучно рукопись Стелловскому, намерен дать в ресторане обед своим друзьям (Майкову, Милюкову и др.) и заранее приглашает меня участвовать в пиршестве.

— Да были ли вы когда-нибудь в ресторане? — спросил он меня.

— Нет, никогда.

— Но на мой обед приедете? Мне хочется выпить за здоровье моей милой сотрудницы! Без вашей помощи я не кончил бы романа вовремя. Итак, приедете?

Я отвечала, что спрошу мнения моей матери, а про себя решила не ехать. При моей застенчивости я имела бы скучающий вид и помешала бы общему веселью.

На другой день, 30 октября, я принесла Федору Михайловичу

переписанную вчерашнюю диктовку. Он как-то особенно приветливо меня встретил, и даже краска бросилась ему в лицо, когда я вошла. Я по обыкновению, мы пересчитали переписанные листочки и порадовались, что их оказалось так много, больше, чем мы ожидали. Федор Михайлович сообщил мне, что сегодня перечитает роман, кое-что в нем исправит и завтра утром отвезет Стелловскому. Тут же он передал мне пятьдесят рублей условленной платы, крепко пожал руку и горячо поблагодарил за сотрудничество.

Новая любовь и второй брак

Анна Григорьевна Достоевская:

Восьмого ноября 1866 года — один из знаменательных дней моей жизни: в этот день Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени прошло полвека, а все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто произошли месяц назад.

Был светлый морозный день. Я пошла к Федору Михайловичу пешком, а потому опоздала на полчаса против назначенного времени. Федор Михайлович, видимо, давно уже меня ждал: заслышав мой голос, он тотчас вышел в переднюю.

— Наконец-то вы пришли! — радостно сказал он и стал помогать мне развязывать башлык и снимать пальто. Мы вместе вошли в кабинет. Там, на этот раз, было очень светло, и я с удивлением заметила, что Федор Михайлович чем-то взволнован. У него было возбужденное, почти восторженное выражение лица, что очень его молодило…

У нас давно уже повелось, что, когда я приходила стенографировать, Федор Михайлович рассказывал мне, что он делал и где бывал за те часы, когда мы не видались. Я поспешила спросить Федора Михайловича, чем он был занят за последние дни.

— Новый роман придумывал, — ответил он.

— Что вы говорите? Интересный роман?

— Для меня очень интересен; только вот с концом романа сладить не могу. Тут замешалась психология молодой девушки. Будь я в Москве, я бы спросил мою племянницу Сонечку, ну, а теперь за помощью обращусь к вам.

Я с гордостью приготовилась «помогать» талантливому писателю.

— Кто же герой вашего романа?

— Художник, человек уже не молодой, ну, одним словом, моих лет.

— Расскажите, расскажите, пожалуйста, — просила я, очень заинтересовавшись новым романом.

И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше, мельком, отрывками. Теперь подробный

последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным.

В новом романе было тоже суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства (тяжкая болезнь), которые оторвали художника на десяток лет от жизни и любимого искусства. Тут было и возвращение к жизни (выздоровление художника), встреча с женщиною, которую он полюбил: муки, доставленные ему этою любовью, смерть жены и близких людей (любимой сестры), бедность, долги…

Душевное состояние героя, его одиночество, разочарование в близких людях, жажда новой жизни, потребность любить, страстное желание вновь найти счастье были так живо и талантливо обрисованы, что, видимо, были выстраданы самим автором, а не были одним лишь плодом его художественной фантазии.

На обрисовку своего героя Федор Михайлович не пожалел темных красок. По его словам, герой был преждевременно состарившийся человек, больной неизлечимой болезнью (паралич руки), хмурый, подозрительный; правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства; художник, может быть, и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал, и этим всегда мучающийся.

Видя в герое романа самого Федора Михайловича, я не могла удержаться, чтобы не прервать его словами:

— Но зачем же вы, Федор Михайлович, так обидели вашего героя?

— Я вижу, он вам не симпатичен.

— Напротив, очень симпатичен. У него прекрасное сердце. Подумайте, сколько несчастий выпало на его долю и как безропотно он их перенес! Ведь другой, испытавший столько горя в жизни, наверно, ожесточился бы, а ваш герой все еще любит людей и идет к ним на помощь. Нет, вы решительно к нему несправедливы.

— Да, я согласен, у него действительно доброе, любящее сердце. И как я рад, что вы его поняли!

— И вот, — продолжал свой рассказ Федор Михайлович, — в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем ее Аней, чтобы не называть героиней. Это имя хорошее…

Эти слова подкрепили во мне убеждение, что в героине он подразумевает Анну Васильевну Корвин-Круковскую, свою бывшую невесту. В ту минуту я совсем забыла, что меня тоже зовут Анной, — так мало я думала, что этот рассказ имеет ко мне

отношение. Тема нового романа могла возникнуть (думалось мне) под впечатлением недавно полученного от Анны Васильевны письма из-за границы, о котором Федор Михайлович мне на днях говорил.

Портрет героини был обрисован иными красками, чем портрет героя. По словам автора, Аня была кротка, умна, добра, жизнерадостна и обладала большим тактом в сношениях с людьми. Придавая в те годы большое значение женской красоте, я не удержалась и спросила:

— А хороша собой ваша героиня?

— Не красавица, конечно, но очень недурна. Я люблю ее лицо.

Мне показалось, что Федор Михайлович проговорился, и у меня сжалось сердце. Недоброе чувство к Корвин-Круковской овладело мною, и я заметила:

— Однако, Федор Михайлович, вы слишком идеализировали вашу «Аню». Разве она такая?

— Именно такая! Я хорошо ее изучил! Художник, — продолжал свой рассказ Федор Михайлович, — встречал Аню в художественных кружках, и чем чаще ее видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нем убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И, однако, мечта эта представлялась ему почти невозможною. В самом деле, что мог он, старый, больной человек, обремененный долгами, дать этой здоровой, молодой, жизнерадостной девушке? Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки и не стала ли бы она потом горько раскаиваться, что связала с ним свою судьбу? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологическою неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна.

— Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чем тут жертва с ее стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придется!

Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением.

— И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы колеблясь.

— Поставьте себя на минуту на ее место, — сказал он дрожащим голосом. — Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала:

— Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!

Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Федор Михайлович: они для меня священны… Я была поражена, почти подавлена громадностью моего счастья и долго не могла в него поверить. Припоминаю, что, когда почти час спустя Федор Михайлович стал сообщать планы нашего будущего и просил моего мнения, я ему ответила:

— Да разве я могу теперь что-либо обсуждать! Ведь я так ужасно счастлива!!..

* * *

Федор Михайлович начал припоминать и, к большому моему огорчению, признался, что в первую неделю нашего знакомства совершенно не приметил моего лица.

— Как не приметил? Что это значит? — удивилась я.

— Если тебе представят нового знакомого и ты скажешь с ним несколько обыденных фраз, — разве ты запомнишь его лицо? Ведь нет? Я, по крайней мере, всегда забываю. Так случилось и на этот раз: я говорил с тобою, видел твое лицо, но ты уходила, и я тотчас же его забывал и не мог бы сказать — блондинка ты или брюнетка, если бы кто-нибудь меня об этом спросил. Лишь в конце октября я обратил внимание на твои красивые серые глаза и добрую ясную улыбку. Да и все твое лицо мне стало тогда нравиться — и чем дальше, тем больше. Теперь же для меня лучше твоего лица на свете нет! Ты для меня красавица! Да и для всех красавица! — наивно прибавил Федор Михайлович.

— В первое твое посещение, — продолжал он вспоминать, — меня поразил такт, с которым ты себя держала, твое серьезное, почти суровое обращение. Я подумал: какой привлекательный тип серьезной и деловитой девушки! И я порадовался, что он у нас в

обществе народился. Я как-то нечаянно сказал неловкое слово, и ты так на меня посмотрела, что я стал взвешивать свои выражения, боясь тебя оскорбить. Затем меня стала удивлять и привлекать та искренняя сердечность, с которою ты вошла в мои интересы, и то сочувствие, которое проявила по поводу грозившей мне беды. Ведь вот, думал я, мои родные, мои друзья, кажется, и любят меня. Они горюют о том, что я могу лишиться моих литературных прав, негодуют на Стелловского, возмущаются, упрекают меня, зачем подписал такой контракт (как будто бы я мог его не подписать!), дают советы, утешают меня, а я чувствую, что все это «слова, слова и слова» и что никто из них не принимает к сердцу того, что с потерею прав я лишаюсь последнего моего достояния… А эта чужая, едва знакомая девушка разом вошла в мое положение и, не ахая, не восклицая и не возмущаясь, принялась помогать мне не словами, а делом. Когда через несколько дней установилась наша работа, во мне, чуть не вполне отчаявшемся, затеплилась надежда: «Пожалуй, если и впредь буду так работать, то, может быть, и поспею к сроку!» — думалось мне. Твои же уверения, что непременно поспеем (помнишь, как мы вместе пересчитывали переписанные тобою листочки), укрепляли эту надежду и придавали мне силы продолжать работу. Я часто, говоря с тобою, думал про себя: «Какое доброе сердечко у этой девушки! Ведь она не на словах только, а и на самом деле жалеет меня и хочет вывести из беды». Я так был одинок душевно, что найти искренно сочувствующего мне человека было большою отрадой.

— С этого, — продолжал Федор Михайлович, — я думаю, и началась моя любовь к тебе, а затем понравилось мне и твое милое лицо. Я часто ловил себя на мыслях о тебе; но только тогда, когда мы кончали «Игрока» и я понял, что мы уже не будем видеться ежедневно, сознал я, что без тебя не могу жить. Вот тогда-то я и решил сделать тебе предложение.

— Но почему же ты не сделал мне предложение просто, как делают другие, а придумал свой интересный роман? — заинтересовалась я.

— Знаешь, голубчик мой Аня, — говорил растроганным голосом Федор Михайлович, — когда я почувствовал, что ты для меня значишь, то пришел в отчаяние, и намерение жениться на тебе показалось мне чистым безумием! Подумай только, какие мы с тобою разные люди! Одно неравенство лет чего стоит! Ведь я почти старик, а ты — чуть не ребенок. Я болен неизлечимою болезнью, угрюм и раздражителен; ты же здорова, бодра и жизнерадостна. Я почти прожил свой век, и в моей жизни много было горя. Тебе же всегда жилось хорошо, и вся твоя жизнь еще

впереди. Наконец, я беден и обременен долгами. Чего же можно ожидать при всем этом неравенстве? Или мы будем несчастны и, промучившись несколько лег, разойдемся, или же сойдемся на всю остальную жизнь и будем счастливы.

Мне было больно слышать такое самоунижение Федора Михайловича, и я пылко возразила:

— Дорогой мой, ты все преувеличил! Предполагаемого тобою неравенства между нами нет. Если мы крепко полюбим друг друга, то станем друзьями и будем бесконечно счастливы. Меня страшит другое: ну, как ты, такой талантливый, такой умный и образованный, берешь в спутницы своей жизни глупенькую девушку, сравнительно с тобою мало образованную, хотя и получившую в гимназии большую серебряную медаль (я ею тогда очень гордилась), но не настолько развитую, чтобы идти с тобою вровень. Боюсь, ты меня скоро разгадаешь и станешь досадовать и огорчаться тем, что я не способна понимать твои мысли. Вот это неравенство хуже всякого несчастья!

Федор Михайлович поспешил меня успокоить, наговорив много для меня лестного. Мы вернулись к интересовавшему меня разговору о предложении.

— Я долго колебался, как его сделать, — говорил Федор Михайлович. — Пожилой некрасивый мужчина, делающий предложение молодой девушке и не встречающий взаимности, может показаться смешным, а я не хотел быть смешным в твоих глазах. Вдруг на мое предложение ты ответила бы, что любишь другого. Твой отказ поселил бы между нами охлаждение, и наши прежние дружеские отношения стали бы немыслимы. Я потерял бы в тебе друга, единственного человека, который за последние два года так сердечно ко мне относился. Повторяю, я так душевно одинок, что лишиться твоей дружбы и помощи было бы для меня слишком тяжело. Вот я и придумал узнать твои чувства, рассказав тебе план нового романа. Мне легче было бы перенести твой отказ: ведь речь шла о героях романа, а не о нас самих.

В свою очередь я рассказала все, что пережила во время его литературного предложения: мое непонимание, ревность и зависть к Анне Васильевне и пр.

— Выходит, — удивился очень Федор Михайлович, — стало быть, что я напал на тебя врасплох и насильно вынудил согласие! А впрочем, я вижу, что рассказанный мною тогда роман был лучший изо всех, когда-либо мною написанных: он сразу же имел успех и произвел желаемое впечатление!..

Накануне свадьбы я зашла днем к Федору Михайловичу повидаться и сообщить, что в семь часов приедет к нему моя

сестра. Мария Григорьевна Сватковская, чтобы разложить по местам все мои вещи, присланные в сундуках, ящиках и картонках, и выложить разные хозяйственные вещи, необходимые для завтрашнего приема гостей. Федор Михайлович, как рассказывала потом сестра, принял ее чрезвычайно радушно, помогал ей отворять сундуки и раскладывать вещи, угощал и совершенно ее очаровал, и она не могла не согласиться с моим мнением, что мой будущий муж удивительно милый и задушевный человек.

Пятнадцатого февраля я встала чуть свет и отправилась в Смольный монастырь к ранней обедне, а по окончании ее зашла к своему духовнику, протоиерею о. Филиппу Сперанскому, попросить его благословения. Отец Филипп, знавший меня с детства, благословил меня и пожелал мне счастия. От него я поехала помолиться на могилу моего отца на Большом Охтинском кладбище.

День прошел быстро, и к пяти часам я была уже причесана и одета в подвенечное платье, из белого муара с длинным шлейфом. Как прическа, так и платье были мне к лицу, и я была этим очень довольна. Свадьба была назначена в семь часов, а к шести за мною должен был приехать племянник Федора Михайловича — Федор Михайлович младший, которого мой жених выбрал своим шафером.

К шести часам собрались мои родные, все было готово, но шафер не приезжал, не привозили и сына П. М. Ольхина — мальчика, который должен был нести предо мною образ. Я уже начинала сильно беспокоиться; мне представилось, что Федор Михайлович заболел, и я жалела, что не послала днем узнать о его здоровье.

Наконец, уже в семь часов, Федор Михайлович младший поспешно вошел в комнату и заторопил меня:

— Анна Григорьевна, вы готовы, поедемте! Ради бога, поедемте скорее! Дядя уже в церкви и страшно беспокоится, приедете ли вы? Мы до вас ехали более часу, да назад придется ехать не менее. Подумайте, как измучается за эти два часа Федор Михайлович!

— Но ведь мальчика еще не привезли, — сказала я.

— Поедемте без мальчика, только бы поскорее успокоить Федора Михайловича.

Меня благословили, мы с мамой обнялись, и меня закутали в шубу. В последнюю минуту появился и хорошенький мальчик Костя, одетый в красивый русский костюм.

Мы вышли. На лестнице стояло много народу. Все жильцы наших домов пришли меня проводить. Одни целовали меня,

другие жали руку, все громко желали счастия, а сверху кто-то сыпал на меня хмель, обещавший, по примете, мне «жить богато». Я была очень тронута такими сердечными проводами. Мы сели в карету и быстро поехали. Только через несколько минут мы с сестрой заметили, что маленький Костя сидит без шубы и шапочки. Мы испугались, что мальчик простудится. Я прикрыла его своим широким салопом, и он немного погодя крепко уснул.

Подъехали к Измайловскому собору. Шафер завернул сонного Костю с головою в свою теплую шинель и понес его по высокой лестнице в церковь. Я же, с помощью лакея, вышла из кареты и, закрыв фатою образ, вошла в собор. Завидев меня, Федор Михайлович быстро подошел, крепко схватил меня за руку и сказал:

— Наконец-то я тебя дождался! Теперь уж ты от меня не уйдешь!

Я хотела ответить, что и не предполагала уходить, но, взглянув на него, испугалась его бледности. Не дав ответить мне ни слова, Федор Михайлович быстро повел меня к аналою. Началось венчание.

Церковь была ярко освещена, пел прекрасный хор певчих, собралось много нарядных гостей, но обо всем этом я узнала уже потом, из рассказов; до половины обряда я была в каком-то тумане, машинально крестилась и чуть слышно отвечала на вопросы священника. Только после причащения голова моя прояснилась, и я начала горячо молиться. После венчания и благодарственного молебна начались поздравления. Потом муж мой повел меня расписываться в какой-то книге.

На этот раз «мальчика с образом» одели, и мы отправились на нашу новую квартиру. Костя по дороге не заснул, но, злодей, потом рассказывал, что «дядя и тетя дорогой все целовались».

Когда мы приехали, все гости были уже в сборе. Мама и мой посаженый отец торжественно нас благословили. Начались поздравления с бокалами шампанского. Все, присутствовавшие на венчании и меня не знавшие, очень удивились, когда вместо бледной и серьезной девушки, которую только что видели в церкви, пред ними явилась румяная, жизнерадостная и сияющая счастьем «молодая». Федор Михайлович тоже весь сиял. Он подводил ко мне своих друзей, знакомил и говорил:

— Посмотрите, какая она у меня прелестная! Она у меня — чудесный человек! У нее золотое сердечко! — и прочие похвалы, которые меня страшно конфузили. Затем представил меня дамам и очень был доволен, что я каждой сумела сказать что-нибудь любезное и им, видимо, понравилась.

В свою очередь я подводила мужа к своим друзьям и родным

и была счастлива, замечая то чарующее впечатление, которое он на них производил.

Федор Михайлович любил широко угощать, а потому шампанского, конфект и фруктов было в изобилии.

Только в двенадцатом часу гости разъехались, и мы долго сидели вдвоем, вспоминая подробности этого чудного для нас дня.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. П. Сусловой, 23 апреля 1867 г, Дрезден:*

Письмо твое, милый друг мой, передали мне у Базунова очень поздно, пред самым выездом моим за границу, а так как я спешил ужасно, то и не успел отвечать тебе. Выехал из Петербурга в страстную пятницу (кажется, 14-го апреля), ехал до Дрездена довольно долго, с остановками, и потому только теперь улучил время поговорить с тобою.

Стало быть, милая, ты ничего не знаешь обо мне, по крайней мере, ничего не знала, отправляя письмо свое? Я женился в феврале нынешнего года. По контракту я обязан был Стелловскому доставить к 1-му ноября прошедшего года новый роман не менее 10 печатных листов обыкновенной печати, иначе подвергался страшной неустойке. Между тем я писал роман в «Русском вестнике», написал 24 листа, и еще оставалось написать 12. А тут эти 10 листов Стелловскому. Было 4-е октября, а я еще не успел начать. Милюков посоветовал мне взять стенографа, чтоб диктовать роман, что ускорило бы вчетверо дело, Ольхин, профессор стенографии, прислал мне лучшую свою ученицу, с которой я и уговорился. С 4-го же октября и начали. Стенографка моя, Анна Григорьевна Сниткина, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно. 28 ноября роман «Игрок» (теперь уже напечатан) был кончен, в 24 дня. При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны. Разница в летах ужасная (20 и 44), но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у ней есть, и любить она умеет.

Вновь за границей. Рулетка

Анна Григорьевна Достоевская:

Прошло недели три нашей дрезденской жизни, как однажды муж заговорил о рулетке (мы часто с ним вспоминали, как вместе писали роман «Игрок») и высказал мысль, что если бы в Дрездене он был теперь один, то непременно бы съездил поиграть на рулетке. К этой мысли муж возвращался еще раза два, и тогда я, не желая в чем-либо быть помехой мужу, спросила, почему же он теперь не может ехать? Федор Михайлович сослался на невозможность оставить меня одну, ехать же вдвоем было дорого. Я стала уговаривать мужа поехать в Гамбург на несколько дней, уверяя, что за его отсутствие со мной ничего не случится. Федор Михайлович пробовал отговариваться, но так как ему самому очень хотелось «попытать счастья», то он согласился и уехал в Гамбург, оставив меня на попечение нашей хозяйки. Хотя я и очень бодрилась, но когда поезд отошел и я почувствовала себя одинокой, я не могла сдержать своего горя и расплакалась. Прошло два-три дня, и я стала получать из Гамбурга письма, в которых муж сообщал мне о своих проигрышах и просил выслать ему деньги; я его просьбу исполнила, но оказалось, что и присланные он проиграл и просил вновь прислать, и я, конечно, послала. Но так как для меня эти «игорные» волнения были совершенно неизвестны, то я преувеличила их влияние на здоровье моего мужа. Мне представилось, судя по его письмам, что он, оставшись в Гамбурге, страшно волнуется и беспокоится. Я опасалась нового припадка и приходила в отчаяние от мысли, зачем я его одного отпустила и зачем меня нет с ним, чтобы его утешить и успокоить. Я казалась себе страшной эгоисткой, чуть не преступницей за то, что в такие тяжелые для него минуты я ничем не могу ему помочь.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Г. Достоевской 6 мая 1867 г., Гамбург:*

День вчера был холодный и даже дождливый; весь день я был слаб и расстроен нервами до того, что едва держался на ногах. Хорошо еще, что в вагоне успел кое-как заснуть часа два. Целый день вчера спать хотелось. А тут игра, от которой оторваться не мог; можешь представить, в каком я был возбуждении. Представь же себе: начал играть еще утро<м> и к обеду проиграл 16 империалов. Оставалось только 12 да несколько талеров. Пошел после обеда, с тем чтоб быть благоразумнее донельзя и, слава богу, отыграл все 16 проигранных, да сверх того выиграл 100

гульденов. А мог бы выиграть 300, потому что уже были в руках, да рискнул и спустил. Вот мое наблюдение, Аня, окончательное: если быть благоразумным, то есть быть как из мрамора, холодным и нечеловечески осторожным, то непременно, безо всякого сомнения, можно выиграть сколько угодно. Но играть надо много времени, много дней, довольствуясь малым, если не везет, и не бросаясь насильно на шанс. Есть тут один жид: он играет уже несколько дней, с ужасным хладнокровием и расчетом, нечеловеческим (мне его показывали), и его уже начинает бояться банк; он загребает деньги и уносит каждый день по крайней мере по 1000 гульденов.

Одним словом, постараюсь употребить нечеловеческое усилие, чтоб быть благоразумнее, но с другой стороны я никак не в силах оставаться здесь несколько дней.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Г. Достоевской 7 мая 1867 г., Гамбург:*

День вчера был для меня прескверный. Я слишком значительно (судя относительно) проигрался. Что делать: не с моими нервами, ангел мой, играть. Играл часов десять, а кончил проигрышем. Было в продолжение дня и очень худо, был и в выигрыше, когда счастье переменялось, — все расскажу, когда приеду. Теперь на оставшееся (очень немного, капелька) хочу сделать сегодня последнюю пробу. Сегодняшний день решит все, то есть еду ли я завтра к тебе или останусь. Завтра во всяком случае уведомлю. Не хотелось бы закладывать часов. Очень туго пришлось теперь. Что будет, то будет. Употреблю последние усилия. Видишь: усилия мои каждый раз удаются, покамест я имею хладнокровие и расчет следовать моей системе; но как только начнется выигрыш, я тотчас начинаю рисковать; сладить с собой не могу; ну что-то скажет последняя сегодняшняя проба. Поскорей бы уж.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Г. Достоевской 8 мая 1867 г., Гамбург:*

А вчера был день решительно пакостный и скверный. Главное, все это бестолково, глупо и низко. А все-таки оторваться от моей идеи не могу, то есть бросить все, как есть, и приехать к тебе. Да теперь это почти что, покамест, и невозможно, то есть сейчас-то. Что завтра скажет. Веришь ли: я проиграл вчера все, все до последней копейки, до последнего гульдена, и так и решил написать тебе поскорей, чтоб ты прислала мне денег на выезд. Но вспомнил о часах и пошел к часовщику их продать или заложить. Здесь это ужасно все обыкновенно, то есть в игорном городе. Есть

целые магазины золотых и серебряных вещей, которые только тем и промышляют. Представь себе, какие подлые эти немцы: он купил у меня часы, с цепочкой (стоили мне 125 руб. по крайней цене) и дал мне за них всего 65 гульденов, то есть 43 талера, то есть почти в $2\,^1/_2$ раза меньше. Но я продал с тем, чтоб он дал мне одну неделю срока и что если я в течение недели приду выкупить, то он мне отдаст, разумеется, с процентом. И представь себе, на эти деньги я все-таки отыгрался… и сегодня пойду сейчас выкупить часы. Затем у меня останется 16 фридрихсдоров. Я отыграл их тем, что переломил себя вчера и решительно не давал себе увлекаться. Это дает мне некоторую надежду. Но боюсь, боюсь. Что-то скажет сегодняшний день.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Г. Достоевской 9 мая 1867 г, Гамбург:*

Если же ты не больна и все как следует, то, друг мой, с получением этого письма тотчас же займись поскорее моими делами. Слушай же: игра кончена, хочу поскорее воротиться; пришли же мне немедленно, сейчас как получишь это письмо, двадцать (20) империалов. Немедленно, в тот же день, в ту же минуту, если возможно. Не теряй ни капли времени. В этом величайшая просьба моя. Во-первых, надо выкупить часы (не пропадать же им за 65 гульденов), затем заплатить в отеле, затем дорога, что останется, привезу все, не беспокойся, теперь уж не буду играть. А главное — спеши послать.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Г. Достоевской 10 мая 1867 г., Гамбург:*

Прости меня, ангел мой, но я войду в некоторые подробности насчет моего предприятия, насчет этой игры, чтоб тебе ясно было, в чем дело. Вот уже раз двадцать, подходя к игорному столу, я сделал опыт, что если играть хладнокровно, спокойно и с расчетом, то нет *никакой возможности проиграть!* Клянусь тебе, возможности даже нет! Там слепой случай, а у меня расчет, следовательно, у меня перед ними шанс. Но что обыкновенно бывало? Я начинал обыкновенно с *сорока гульденов,* вынимал их из кармана, садился и ставил по одному, по два гульдена. Через четверть часа обыкновенно (*всегда)* я выигрывал вдвое. Тут-то бы и остановиться, и уйти, по крайней мере до вечера, чтоб успокоить возбужденные нервы (к тому же я сделал замечание (вернейшее), что я могу быть спокойным и хладнокровным за игрой не *более как полчаса сряду).* Но я отходил, только чтоб выкурить папироску, и тотчас же бежал опять к игре. Для чего я это делал, зная наверно почти, что не выдержу, то есть проиграю?

А для того, что каждый день, вставая утром, решал про себя, что это последний день в Гамбурге, что завтра уеду, а следственно, мне нельзя было выжидать и у рулетки. Я спешил поскорее, изо всех сил, выиграть сколько можно более, зараз в один день (потому что завтра ехать), хладнокровие терялось, нервы раздражались, я пускался рисковать, сердился, ставил уже без расчету, который терялся, и — проигрывал (потому что кто играет без расчету, на случай, тот безумец). Вся ошибка была в том, что мы разлучились и что я не взял тебя с собою. Да, да, это так. А тут и я об тебе тоскую, и ты чуть не умираешь без меня. Ангел мой, повторяю тебе, что я не укоряю тебя и что ты мне еще милее, так тоскуя обо мне. Но посуди, милая, что, например, было вчера со мною: отправив тебе письма с просьбою выслать деньги, я пошел в игорную залу; у меня оставалось в кармане всего-навсего *двадцать* гульденов (на всякий случай), и я рискнул на *десять* гульденов. Я употребил сверхъестественное почти усилие быть *целый* час спокойным и расчетливым, и кончилось тем, что я выиграл *тридцать* золотых фридрихсдоров, то есть 300 гульденов. Я был так рад и так страшно, до безумия захотелось мне *сегодня же* поскорее все покончить, выиграть еще хоть вдвое и немедленно ехать отсюда, что, не дав себе отдохнуть и опомниться, бросился на рулетку, начал ставить золото и *все,* проиграл, до последней копейки, то есть осталось всего только *два* гульдена на табак. Аня, милая, радость моя! Пойми, что у меня есть долги, которые нужно заплатить и меня назовут подлецом. Пойми, что надо писать к Каткову и сидеть в Дрездене. Мне надо было выиграть. *Необходимо! Я* не для забавы своей играю. Ведь это единственный был выход — и вот, все потеряно от скверного расчета. Я тебя не укоряю, а себя проклинаю: зачем я тебя не взял с собой? Играя помаленьку, каждый день, *ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ* не выиграть, это верно, верно, двадцать опытов было со мною, и вот, зная это наверно, я выезжаю из Гамбурга с проигрышем; и знаю тоже, что если б я себе хоть четыре только дня мог дать еще сроку, то в эти четыре дня я бы наверно все отыграл. Но уж конечно я играть не буду!

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Г. Достоевской 12 мая 1867 г., Гамбург:*

Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл. Аня, как я буду теперь глядеть на тебя, что скажешь ты про меня теперь! Одно и только одно ужасает меня: что ты скажешь, что подумаешь обо мне? Один твой суд мне и

страшен! Можешь ли, будешь ли ты теперь меня уважать! А что и любовь без уважения! Ведь этим весь брак наш поколебался. О, друг мой, не вини меня окончательно! Мне игра ненавистна, не только теперь, но и вчера, третьего дня, я проклинал ее; получив вчера деньги и разменяв билет, я пошел с мыслью хоть что-нибудь отыграть, хоть капельку увеличить наши средства. Я так верил в небольшой выигрыш. Сначала проиграл немного, но как стал проигрывать, — захотелось отыграться, а как проиграл еще более, так уж поневоле продолжал играть, чтобы воротить, по крайней мере, деньги, нужные на отъезд, и — проиграл все. Аня, я не умоляю тебя сжалиться надо мной, лучше будь беспристрастна, но страшно боюсь суда твоего. Про себя я не боюсь. Напротив, теперь, теперь, после такого урока, я вдруг сделался совершенно спокоен за мою будущность. Теперь работа и труд, работа и труд, и я докажу еще, что я могу сделать!

Анна Григорьевна Достоевская:

Через восемь дней Федор Михайлович вернулся в Дрезден и был страшно счастлив и рад, что я не только не стала его упрекать и жалеть проигранные деньги, а сама его утешала и уговаривала не приходить в отчаяние.

Неудачная поездка в Гамбург повлияла на настроение Федора Михайловича. Он стал часто возвращаться к разговорам о рулетке, жалел об истраченных деньгах и в проигрыше винил исключительно самого себя. Он уверял, что очень часто шансы были в его руках, но он не умел их держать, торопился, менял ставки, пробовал разные методы игры — и в результате проигрывал. Происходило же это оттого, что он спешил, что в Гамбург приехал один и все время обо мне беспокоился. Да и в прежние приезды на рулетку ему приходилось заезжать всего на два, на три дня и всегда с небольшими деньгами, при которых трудно было выдержать неблагоприятный поворот игры. Вот если бы удалось поехать в рулеточный город и пожить там недели две-три, имея некоторую сумму в запасе, то он наверно бы имел удачу: не имея надобности спешить, он применил бы тот спокойный метод игры, при котором нет возможности не выиграть если и не громадную сумму, то все-таки достаточную для покрытия проигрыша. Федор Михайлович говорил так убедительно, приводил столько примеров в доказательство своего мнения, что и меня убедил, и, когда возник вопрос, не заехать ли нам по дороге в Швейцарию (куда мы направлялись) недели на две в Баден-Баден, то я охотно дала свое согласие, рассчитывая на то, что мое присутствие будет при игре некоторым сдерживающим началом. Мне же было все равно, где бы ни жить,

только бы не расставаться с мужем.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Н. Майкову 16 августа 1861 г. Женева:*

Проезжая недалеко от Бадена, я вздумал туда завернуть. Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 луидоров и, может быть, выиграю хоть 2000 франков лишних, а ведь это на 4 месяца житья, со всем, со всеми петербургскими. Гаже всего, что мне и прежде случалось иногда выигрывать. А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил.

Бес тотчас же сыграл со мной штуку: я, дня в три, выиграл 4000 франков, с необыкновенною легкостию. Теперь изображу Вам, как все это мне представилось: с одной стороны, этот легкий выигрыш, — из ста франков я в три дня сделал четыре тысячи. С другой стороны, долги, взыскания, тревога душевная, невозможность воротиться в Россию. Наконец, третье и главное, — сама игра. Знаете ли, как это втягивает. Нет, клянусь Вам, тут не одна корысть, хотя мне прежде всего нужны были деньги для денег. Анна Григорьевна умоляла меня удовольствоваться 4000 франков и тотчас уехать. Но ведь такая легкая и возможная возможность поправить все! А примеры-то? Кроме собственного выигрыша ежедневно видишь, как другие берут по 20 000, 30 000 франков. (Проигравшихся не видишь.) Чем они святые? мне деньги нужнее их. Я рискнул дальше и проиграл. Стал свои последние проигрывать, раздражаясь до лихорадки, — проиграл. Стал закладывать платье. Анна Григорьевна все свое заложила, последние вещицы (что за ангел! Как утешала она меня, как скучала в треклятом Бадене, в наших двух комнатках над кузницей, куда мы переехали). Наконец, довольно, все было проиграно. (О, как подлы при этом немцы, какие все до единого ростовщики, мерзавцы и надувалы! Хозяйка квартиры, понимая, что нам покамест, до получения денег, некуда ехать, набавила цену!) Наконец, надо было спасаться, уезжать из Бадена.

Анна Григорьевна Достоевская:

Вспоминая проведенные в Баден-Бадене пять недель и перечитывая записанное в стенографическом дневнике, я прихожу к убеждению, что это было что-то кошмарное, вполне захватившее в свою власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжелых цепей.

Все рассуждения Федора Михайловича по поводу возможности выиграть на рулетке при его методе игры были

совершенно правильны, и удача могла быть полная, но при условии, если бы этот метод применял какой-нибудь хладнокровный англичанин или немец, а не такой нервный, увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек, каким был мой муж. Но, кроме хладнокровия и выдержки, игрок на рулетке должен обладать значительными средствами, чтобы иметь возможность выдержать неблагоприятные шансы игры. И в этом отношении у Федора Михайловича был пробел: у нас было, сравнительно говоря, немного денег и полная невозможность, в случае неудачи, откуда-либо их получить. И вот не прошло недели, как Федор Михайлович проиграл все наличные, и тут начались волнения по поводу того, откуда их достать, чтобы продолжать игру. Пришлось прибегнуть к закладам вещей. Но и закладывая вещи, муж иногда не мог сдержать себя и иногда проигрывал все, что только что получил за заложенную вещь. Иногда ему случалось проиграть чуть не до последнего талера, и вдруг шансы были опять на его стороне, и он приносил домой несколько десятков фридрихсдоров. Помню, раз он принес туго набитый кошелек, в котором я насчитала двести двенадцать фридрихсдоров (по двадцать талеров каждый), значит, около четырех тысяч трехсот талеров. Но эти деньги недолго оставались в наших руках. Федор Михайлович не мог утерпеть: еще не успокоившись от волнения игры, он брал двадцать монет и проигрывал, возвращался за другими двадцатью, проигрывал их, и так, в течение двух-трех часов, возвращаясь по нескольку раз за деньгами, в конце концов проигрывал все. Опять шли заклады, но так как драгоценных вещей у нас было немного, то скоро источники эти истощились…

Он возвращался с рулетки (меня с собой он никогда не брал, находя, что молодой порядочной женщине не место в игорной зале) бледный, изможденный, едва держась на ногах, просил у меня денег (он все деньги отдавал мне), уходил и через полчаса возвращался еще более расстроенный, за деньгами, и это до тех пор, пока не проиграет все, что у нас имеется.

Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Федор Михайлович бывал так удручен, что начинал рыдать, становился предо мною на колени, умолял меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние.

1867. Ссора с Тургеневым

Анна Григорьевна Достоевская:

Был Федор Михайлович и у проживавшего в то время в Баден-Бадене И. С. Тургенева. Вернулся от него муж мой очень раздраженный и подробно рассказывал свою беседу с ним.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Н. Майкову 16 августа 1867 г., Женева:*

Гончаров все мне говорил о Тургеневе, так что я, хоть и откладывал заходить к Тургеневу, решился наконец ему сделать визит. Я пошел утром в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно Вам скажу: я и прежде не любил этого человека лично. Сквернее всего то, что я еще с 67 года, с Wisbaden'a, должен ему 50 талеров (и не отдал до сих пор!). Не люблю тоже его аристократически-фарсерское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щеку. Генеральство ужасное; а главное, его книга «Дым» меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: «Если б провалилась Россия, то *не было бы* никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. Нашел я его страшно раздраженным неудачею «Дыма». А я, признаюсь, и не знал всех подробностей неудачи. Вы мне писали о статье Страхова в «Отечественных записках», но я не знал, что его везде отхлестали и что в Москве, в клубе, кажется, собирали уже подписку имен, чтоб протестовать против его «Дыма». Он это мне сам рассказывал. Признаюсь Вам, что я никак не мог представить себе, что можно так наивно и неловко выказывать все раны своего самолюбия, как Тургенев. И эти люди тщеславятся, между прочим, тем, что они *атеисты!* Он объявил мне, что он окончательный атеист. Но боже мой: деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили? Вместо высочайшей красоты Божией, на которую они плюют, все они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно: на что они надеются и кто за ними пойдет? Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно. Но вот что я заметил: все эти либералишки и прогрессисты, преимущественно школы еще Белинского, ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовлетворением. Разница в том,

что последователи Чернышевского просто ругают Россию и откровенно желают ей провалиться (преимущественно провалиться!). Эти же, отпрыски Белинского, прибавляют, что они *любят Россию.* А между тем не только все, что есть в России чуть-чуть самобытного, им ненавистно, так что они его отрицают и тотчас же с наслаждением обращают в карикатуру, но что если б действительно представить им наконец факт, который бы уж нельзя опровергнуть или в карикатуре испортить, а с которым надо непременно согласиться, то, мне кажется, они бы были до *муки,* до боли, до отчаяния несчастны. 2-е). Заметил я, что Тургенев, например (равно как и все, долго не бывшие в России), решительно фактов не знают (хотя и читают газеты) и до того грубо потеряли всякое чутье России, таких обыкновенных фактов не понимают, которые даже наш русский нигилист уже не отрицает, а только карикатурит по-своему. Между прочим, Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая — это цивилизация и что все попытки русизма и самостоятельности — свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. — Для чего? — спросил он. — Отсюда далеко, — отвечал я. — Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно. Он ужасно рассердился. Видя его так раздраженным, я действительно с чрезвычайно удавшеюся наивностию сказал ему: «А ведь я не ожидал, что все эти критики на Вас и неуспех «Дыма» до такой степени раздражат Вас; ей-богу, *не стоит* того, плюньте на все». «Да я вовсе не раздражен, что Вы!» — и покраснел. Я перебил разговор; заговорили о домашних и личных делах, я взял шапку и как-то, совсем без намерения, к слову, высказал, что накопилось в три месяца в душе от немцев:

«Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну вот Вы говорите про цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!»

Он побледнел (буквально, ничего, ничего не преувеличиваю!) и сказал мне: «Говоря так, Вы меня *лично* обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!» Я ответил: «Хоть я читал «Дым» и говорил с Вами теперь целый час, но все-таки я никак не мог ожидать, что Вы это скажете, а потому извините, что я Вас оскорбил». Затем мы распрощались весьма вежливо, и я дал себе слово более к Тургеневу ни ногой никогда. На другой день

Тургенев, ровно в *10 часов* утра, заехал ко мне и оставил хозяевам для передачи мне свою визитную карточку. Но так как я сам сказал ему накануне, что я, раньше *двенадцати* часов, принять не могу и что спим мы до *одиннадцати,* то приезд его в то часов утра я принял за ясный намек, что он не хочет встречаться со мной и сделал мне визит в 10 часов именно для того, чтоб я это понял. Во все 7 недель я встретился с ним один только раз в вокзале. Мы поглядели друг на друга, но ни он, ни я не захотели друг другу поклониться.

1867–1868. Женева. «Идиот». Рождение и смерть дочери Сони

Анна Григорьевна Достоевская:

Начали мы нашу женевскую жизнь с крошечными средствами: но уплате хозяйкам за месяц вперед, на четвертый день нашего приезда у нас оказалось всего восемнадцать франков, да имели в виду получить пятьдесят рублей. Но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами, а когда они иссякали — жить на заклады наших вещей, так что жизнь, особенно после наших недавних треволнений, показалась нам вначале очень приятной.

И здесь, как и в Дрездене, в расположении нашего дня установился порядок: Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше одиннадцати; позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором, а Федор Михайлович работал. В три часа отправлялись в ресторан обедать, после чего я шла отдыхать, а муж, проводив меня до дому, заходил в кафе на rue du Mont-Blanc, где получались русские газеты, и часа два проводил за чтением «Голоса», «Московских» и «Петербургских ведомостей». Прочитывал и иностранные газеты. Вечером, около семи, мы шли на продолжительную прогулку, причем, чтобы мне не приходилось уставать, мы часто останавливались у ярко освещенных витрин роскошных магазинов, и Федор Михайлович намечал те драгоценности, которые он подарил бы мне, если б был богат. Надо отдать справедливость: мой муж обладал художественным вкусом, и намечаемые им драгоценности были восхитительны.

Вечер проходил или в диктовке нового произведения, или в чтении французских книг, и муж мой следил, чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора, не отвлекая своего внимания на произведения других писателей. Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Санда, и я постепенно перечитала все их романы. По поводу моего чтения у нас шли разговоры во время прогулок, и муж разъяснял мне все достоинства прочитанных произведений. Мне приходилось удивляться тому, как Федор Михайлович, забывавший случившееся в недавнее время, ярко помнил фабулу и имена героев романов этих двух любимых им авторов. Запомнила, что муж особенно ценил роман «Le Père Goriot»[16], первую часть эпопеи «Les parents pauvres»[17]. Сам же Федор Михайлович зимою 1867/68 года перечитывал знаменитый роман Виктора Гюго: «Les humilies et les offenses»[18]…

К сожалению, нам в скором времени пришлось раскаяться в выборе Женевы местом постоянного житья. Осенью начались резкие вихри, так называемые bises, и погода менялась по два, по три раза на дню. Эти перемены угнетающе действовали на нервы моего мужа, и приступы эпилепсии значительно участились. Это обстоятельство страшно меня беспокоило, а Федора Михайловича удручало, главное, тем, что пора было приниматься за работу, частые же приступы болезни сильно этому мешали.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. П. и В. М. Ивановым 1 января 1868 г.:*

Опишу Вам, как мы жили и вообще наше положение.

В этом отношении все однообразно, и каждый день похож на все предыдущие и последующие, с тех пор как мы в Женеве. Я работаю, а Анна Григорьевна или готовит приданое нашему будущему гостю, или стенографирует, когда надо мне помогать. Переносит она свое положение великолепно (теперь только немножко начинает охать), жизнь наша ей нравится, и если тоскует, то только о своей мамаше.

Наше уединение, собственно для меня, совершенно теперь необходимо, — иначе невозможно работать. Правда, в Женеве, кроме уединения, очень скучно, несмотря на панораму Монблана, Женевского озера и Роны, из него вытекающей. Я это знал вначале; но так сошлось, что никакого места для зимовки нельзя было выбрать, при наших обстоятельствах, кроме попавшейся нам на дороге, в сентябре, Женевы…

Женева же город ученый, с библиотеками, со множеством докторов и проч., и все они говорят по-французски. Правда, мы не знали, что здесь так скучно и что дуют периодические вихри (бизы), прорываясь через цепь гор и охлаждаясь на ледяных вершинах. Мы много очень натерпелись в нашей прежней квартире; дома здесь устроены ужасно; камины и одиночные рамы. Камин топишь весь день дровами (которые здесь все-таки дороги, хотя Швейцария единственное место в Западной Европе, где еще есть дрова), — и все равно что двор топить. У меня доходило в комнате до 6° и даже до 5 градусов тепла, и так постоянно, а у других так вода ночью мерзнет в комнате. Но теперь, с месяц, мы живем в другой квартире, две комнаты очень хорошие, из которых одна теплая, так что очень можно жить и работать.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к С. А. Ивановой 1 января 1868 г.:*

От работы моей зависит вся моя участь. Сверх того, я забрал

около 4500 р. в Ред<акции> «Русского вестника» вперед, а им честное слово дал и повторял его целый год во всяком письме в Редакцию, что роман будет. И вот, почти перед самой отсылкой в Редакцию романа, мне пришлось забраковать его, потому что он мне перестал нравиться. (А коли перестал нравиться, то нельзя написать хорошо.) Я уничтожил много написанного. Между тем в романе и отдача моего долга, и жизнь насущная, и все будущее заключалось. Тогда я, недели три тому назад (18-е декабря нового стиля), принялся за другой роман и стал работать день и ночь. Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее, а если взялся теперь, то решительно потому, что был в положении чуть не отчаянном. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Все Евангелие Иоанна в этом смысле; он все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного.) Но я слишком далеко зашел. Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот; но все-таки огромная) тоже смешон и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. Жан Вальжан, тоже сильная попытка, — но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нем) общества. У меня ничего нет подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача. Некоторые детали, может быть, будут недурны. Боюсь, что будет скучен. Роман длинный. Первую часть написал всю в 23 дня и на днях отослал. Она будет решительно не эффектна. Конечно, это только введение, и хорошо то, что ничего еще не скомпрометировано; но ничего почти и не разъяснено, ничего не поставлено. Мое единственное желание, — чтоб она хотя некоторое любопытство возбудила в читателе, для того, чтоб он взялся за вторую. Вторую, за которую сажусь сегодня, — окончу в месяц (я и всю жизнь ведь так работал). Мне кажется, она будет покрепче и покапитальнее

первой. Пожелайте мне, милый друг, хоть какой-нибудь удачи! Роман называется «Идиот», посвящен Вам, то есть Софье Александровне Ивановой. Милый друг мой, как бы я желал, чтоб роман вышел хоть сколько-нибудь достоин посвящения. Во всяком случае, я себе сам не судья, особенно так сгоряча, как теперь.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Н. Майкову 20 февраля 1868 г.:*

Живем с Анной Григорьевной глаз на глаз и хоть живем довольно согласно и друг друга любя и, кроме того, оба заняты, а все-таки скучно, — мне по крайней мере. Анна Григорьевна уверяет совершенно искренно (я в этом убедился), что она очень счастлива. Представьте себе, до сих пор еще у нас нет ничего и ожидаемый джентльмен еще не являлся на свет. Я каждый день жду, потому что все признаки. Ждал вчера в мои именины; не было. Жду сегодня и уж завтра-то, кажется, наверно. Анна Григорьевна ждет с благоговением, любит будущего гостя чрезмерно, переносит бодро и крепко, но в самое последнее время у ней нервы расстроились и иногда посещают ее мрачные мысли: боится умереть и проч. Так что положение довольно тоскливое и хлопотливое. Денег у нас самая малая капелька, но, по крайней мере, не бедствуем окончательно. Предстоят, впрочем, траты. В этом, однако, положении Анна Григорьевна мне стенографировала и переписывала, кроме того, успела сама все сшить и приготовить, что следует ребенку.

Анна Григорьевна Достоевская:

Время шло, и у нас прибавлялись заботы о том, благополучно ли совершится ожидаемое нами важное событие в нашей жизни — рождение нашего первенца. На этом предстоящем событии сосредоточивались главным образом наши мысли и мечты, и мы оба уже нежно любили нашего будущего младенца. С общего согласия решили, если будет дочь — назвать Софией (назвать Анной, как желал муж, я отказалась), в честь любимой племянницы мужа — Софии Александровны Ивановой, а также в память «Сонечки Мармеладовой», несчастия которой я так оплакивала. Если же родится сын, то положили назвать Михаилом, в честь любимого брата мужа, Михаила Михайловича.

С чувством живейшей благодарности вспоминаю, как чутко и бережно относился Федор Михайлович к моему болезненному состоянию, как он меня берег и обо мне заботился, на каждом шагу предостерегая от вредных для меня быстрых движений, которым я, по неопытности, не придавала должного значения.

Самая любящая мать не сумела бы так охранять меня, как делал это мой дорогой муж.

Приехав в Женеву, Федор Михайлович, при первой получке денег, настоял на визите к лучшему акушеру и просил его рекомендовать sage-femme[19], которая взяла бы меня под свое наблюдение и каждую неделю меня навещала. За месяц до родов выяснился факт, очень меня тронувший и показавший мне, до каких мелочей простираются сердечные заботы обо мне моего мужа. При одном из посещений m-me Barraud (sage-femme) спросила, кто из наших знакомых живет на одной с нею улице, так как она часто встречает там моего мужа. Я удивилась, но подумала, что она ошиблась. Стала допрашивать мужа: он сначала отнекивался, но потом рассказал: m-me Barraud жила на одной из многочисленных улиц, поднимающихся в гору от rue Basses, главной торговой артерии Женевы. Улицы эти недоступны, по своей крутизне, для экипажей и очень похожи одна на другую. И вот Федор Михайлович, предполагая, что помощь этой дамы может понадобиться для меня внезапно и возможно, что ночью, и не надеясь на свою зрительную память, положил целью своих прогулок эту улицу и каждый день, после читальни, проходил мимо дома m-me Barraud и, пройдя пять-шесть домов далее, возвращался обратно. И эту прогулку мой муж выполнял в течение последних трех месяцев, а между тем это восхождение на крутую гору, при его начинавшейся уже астме, представляло немалую жертву. Я упрашивала мужа не затруднять себя этой ходьбой, но он продолжал свои прогулки, и как потом торжествовал, что в трудные минуты наступившего события это знание улицы и дома m-me Barraud ему пригодилось и он в полутьме раннего утра быстро ее разыскал и привез ко мне…

Помимо обычных при акте разрешения страданий, я мучилась и тем, как вид этих страданий действовал на расстроенного недавними припадками Федора Михайловича. В лице его выражалось такое мучение, такое отчаяние, по временам я видела, что он рыдает, и я сама стала страшиться, не нахожусь ли я на пороге смерти, и, вспоминая мои тогдашние мысли и чувства, скажу, что жалела не столько себя, сколько бедного моего мужа, для которого смерть моя могла бы оказаться катастрофой. Я сознавала тогда, как много самых пламенных надежд и упований соединял мой дорогой муж на мне и нашем будущем ребенке. Внезапное крушение этих надежд, при стремительности и безудержности характера Федора Михайловича, могло стать для него гибелью. Возможно, что мое беспокойство о муже и волнение замедляли ход родов: это нашла и m-me Barraud и под конец запретила мужу входить в мою

комнату, уверяя его, что его отчаянный вид меня расстраивает. Федор Михайлович повиновался, но я еще пуще забеспокоилась и, в промежутках страданий, просила то акушерку, то garde-malade[20] посмотреть, что делает мой муж. Они сообщали то, что он стоит на коленях и молится, то, что он сидит в глубокой задумчивости, закрыв руками лицо. Страдания мои с каждым часом увеличивались; я по временам теряла сознание и, приходя в себя и видя устремленные на меня черные глаза незнакомой для меня garde-malade, пугалась и не понимала, где я нахожусь и что со мною происходит. Наконец около пяти часов ночи на 22 февраля (нашего стиля) муки мои прекратились, и родилась наша Соня. Федор Михайлович рассказывал мне потом, что все время молился обо мне, и вдруг среди моих стонов ему послышался какой-то странный, точно детский крик. Он не поверил своему слуху, но когда детский крик повторился, то он понял, что родился ребенок, и, вне себя от радости, вскочил с колен, подбежал к запертой на крючок двери, с силою толкнул ее и, бросившись на колени около моей постели, стал целовать мои руки. Я тоже была страшно счастлива, что прекратились мои страдания. Мы оба были так потрясены, что в первые пять — десять минут не знали, кто у нас родился; мы слышали, что кто-то из присутствовавших дам сказал: «Un garçon, n'est-ce pas?»[21], а другая ответила: «Fillette, une adorable fillette!»[22] Но нам с мужем было одинаково радостно, кто бы ни родился, — до того мы оба были счастливы, что исполнилась наша мечта, появилось на свет божий новое существо, наш первенец!..

Федор Михайлович в порыве радости обнял m-me Barraud, а сиделке несколько раз крепко пожал руку. Акушерка сказала мне, что за всю свою многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца новорожденного в таком волнении и расстройстве, в каком был все время мой муж.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Н. Майкову 21–22 марта 1868 г.:*

Я ощущаю, вот уж месяц почти, ужасно много нового и совершенно до сих пор мне неизвестного, ровно с той минуты, как я первый раз увидел мою Соню, до сей минуты, когда мы ее только что, общими стараньями, мыли в корыте. Да, ангельская душа и к нам влетела. Ощущений моих, впрочем, Вам описывать не буду. Они растут и развиваются с каждым днем…

Ребенку только что месяц, а совершенно даже мое выражение лица, полная моя физиономия, до морщин на лбу, — лежит — точно роман сочиняет! Я уж не говорю об чертах. Лоб до странности даже похож на мой. Из этого, конечно, следовало бы,

что она собой не так-то хороша (потому что я *красавец* только в глазах Анны Григорьевны — и серьезно, я Вам скажу!). Но Вы, сами художник, отлично хорошо знаете, что можно совершенно походить и не на красивое лицо, а между тем быть самой очень милой.

Анна Григорьевна Достоевская:

К моему большому счастию, Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом; он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было: «Что Соня? Здорова? Хорошо ли спала, кушала?» Федор Михайлович целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею, причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнает его, и вот что он писал А. Н. Майкову от 18 мая 1868 года: «Это маленькое, трехмесячное (создание), такое бедное, такое крошечное — для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил». Но недолго дано было нам наслаждаться нашим безоблачным счастьем. В первых числах мая стояла дивная погода, и мы, по настоятельному совету доктора, каждый день вывозили нашу дорогую крошку в Jardin des Anglais, где она и спала в своей колясочке два-три часа. В один несчастный день во время такой прогулки погода внезапно изменилась, началась биза (bise), и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас же обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше. Несмотря на его уверения, Федор Михайлович не мог ничем заниматься и почти не отходил от ее колыбели. Оба мы были в страшной тревоге, и наши мрачные предчувствия оправдались: днем 12 мая (нашего стиля) наша дорогая Соня скончалась. Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мертвою наш) — милую дочь. Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа: отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал как женщина, стоя пред остывавшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное

личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку, вместе заказывали все необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудел за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plain Palais, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а среди них был поставлен белый мраморный крест. Каждый день ходили мы с мужем на ее могилку, носили цветы и плакали.

1869–1870. Дрезден. Рождение дочери Любы. Роман «Бесы»

Анна Григорьевна Достоевская:

Наступивший 1869 год принес нам счастье: мы вскоре убедились, что Господь благословил наш брак и мы можем вновь надеяться иметь ребенка. Радость наша была безмерна, и мой дорогой муж стал обо мне заботиться столь же внимательно, как и в первую мою беременность. Его забота дошла до того, что, прочитав присланные Н. Н. Страховым томы только что вышедшего романа графа Л. Толстого «Война и мир», спрятал от меня ту часть романа, в которой так художественно описана смерть от родов жены князя Андрея Болконского. Федор Михайлович опасался, что картина смерти произведет на меня сильное и тягостное впечатление. Я всюду искала пропавшего тома и даже бранила мужа, что он затерял интересную книгу. Он всячески оправдывался и уверял, что книга найдется, но дал мне ее только тогда, когда ожидаемое событие уже совершилось. В ожидании рождения ребенка, Федор Михайлович писал в письме к Н. Н. Страхову: «Жду с волнением, и страхом, и с надеждою, и с робостию». Мы оба мечтали иметь девочку, и так как уже пламенно любили ее в наших мечтах, то заранее дали ей имя Любовь, имя, которого не было ни в моей, ни в семье мужа…

С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье. Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал Н. Н. Страхову: «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич. Клянусь вам, что в этом $^3/_4$ счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть».

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к С. А. Ивановой 14 декабря 1869 г.:*

…Я невольно представляю теперь себя себе старым-старым стариком. Может, и умру скоро.

А между тем у меня дочка Любочка, родилась 26 сентября, и сегодня ей ровно три месяца. Не могу Вам выразить, как я ее люблю… Девочка здоровая, веселая, развитая не по летам (то есть не по месяцам), все поет со мной, когда я ей запою, и все смеется; довольно тихий, некапризный ребенок. На меня похожа до смешного, до малейших черт.

Анна Григорьевна Достоевская:

Зимою 1869/70 года Федор Михайлович был занят составлением нового романа, который хотел назвать «Житие великого грешника». Это произведение, по мысли мужа, должно было состоять из пяти больших повестей (каждая листов в пятнадцать), причем каждая повесть составляла бы самостоятельное произведение, которое можно было бы напечатать в журнале или издать отдельно книгой. Во всех пяти повестях Федор Михайлович предполагал провести тот важный и мучительный вопрос, которым он болел всю свою жизнь, — именно вопрос о существовании Бога… Федор Михайлович возлагал большие надежды на предполагаемый роман и смотрел на него как на завершение своей литературной деятельности. Это его предвидение впоследствии оправдалось, так как многие герои задуманного романа вошли потом в роман «Братья Карамазовы». Но тогда мужу не удалось исполнить своего намерения, так как его увлекла другая тема, о которой он писал Н. Н. Страхову: «На вещь, которую теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны: хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность, но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце: пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь». Это был роман «Бесы», появившийся в 1871 году. На возникновение новой темы повлиял приезд моего брата. Дело в том, что Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты (в них печаталось многое, что не появлялось в русских), пришел к заключению, что в Петровской земледельческой академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения. Опасаясь, что мой брат, по молодости и бесхарактерности, может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене. Приездом моего брата Федор Михайлович рассчитывал утешить как меня, уже начавшую тосковать по родине, так и мою мать, которая уже два года жила за границей (то с детьми моей сестры, то выезжая к нам) и очень соскучилась по сыну. Брат мой всегда мечтал о поездке за границу; он воспользовался вакациями и приехал к нам. Федор Михаилович, всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами и вообще бытом и настроением студенческого мира Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут то и возникла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова (под фамилией Шатова), впоследствии убитого Нечаевым. О студенте Иванове мой брат говорил как об

умном и выдающемся по своему твердом) — характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал искреннюю привязанность! Описание парка Петровской академии и грота, где был убит Иванов, было взято Федором Михайловичем со слов моего брата.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Н. Майкову 12 февраля 1870 г.:*

Сел за богатую идею; не про исполнение говорю, а про идею. Одна из тех идей, которые имеют несомненный эффект в публике. Вроде «Преступления и наказания», но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса… Только уж слишком горячая тема. Никогда я не работал с таким наслаждением и с такою легкостию.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к С. А. Ивановой 17 августа 1870 г.:*

Роман, который я писал, был большой, очень оригинальный, но мысль несколько нового для меня разряда, нужно было очень много самонадеянности, чтоб с ней справиться. Но я не справился и лопнул. Работа шла вяло, я чувствовал, что есть капитальный недостаток в целом, но какой именно — не мог угадать. В июле, после последнего письма моего к Вам, я заболел целым рядом припадков падучей (каждую неделю). Они до того меня расстроили, что уже и думать о работе я не мог целый месяц, да и опасно было. И вот две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидал, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом сам собою, по вдохновению, представился в полной стройности новый план романа. Все надо было изменить радикально; не думая нимало, я перечеркнул все написанное (листов до 15 вообще говоря) и принялся вновь с 1-й страницы. Вся работа всего года уничтожена. О, Сонечка! Если б Вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить эту долю! Верите ли, я знаю наверно, что будь у меня обеспечено два-три года для этого романа, как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой 100 лет спустя говорили бы! Я не хвастаюсь, спросите Вашу совесть и воспоминания Ваши обо мне: хвастун ли я? Идея так хороша, так многозначительна, что я сам перед нею преклоняюсь. А что выйдет? Заранее знаю: я буду писать роман месяцев 8 или 9, скомкаю и испорчу. Такую вещь нельзя иначе писать как два-три года. (Да и объемиста она: листов 35 будет.) Детали, может, выйдут недурно, будут

начерчены характеры — но начерно. Будет много невыдержек, лишних растянутостей. Бездна красот (говорю буквально) не войдет ни за что, ибо вдохновение во многом зависит от времени. Ну, а я все-таки сажусь писать! Разве не мучение сознательно на себя руки подымать!

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к М. Н. Каткову 8 октября 1870 г.:*

Я выслал сегодня в редакцию «Русского вестника» всего только первую половину первой части моего романа «Бесы». Но в очень скором времени вышлю и вторую половину первой части. Всех частей будет три; каждая от 10 до 12 листов. Теперь замедления не будет.

Если Вы решите печатать мое сочинение с будущего года, то мне кажется необходимо, чтоб я известил Вас предварительно, хотя бы в двух словах, об чем собственно будет идти дело в моем романе.

Одним из числа крупнейших происшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностию, и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, небесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то, что все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, — только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа.

Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо — трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении: «Что это такое?» Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское и типическое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя общества). Но подождите судить меня до конца романа,

многоуважаемый Михаил Никифорович! Что-то говорит мне, что я с этим характером справлюсь. Не объясняю его теперь в подробности; боюсь сказать не то, что надо. Замечу одно: весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо.

Мне очень долго не удавалось начало романа. Я переделывал несколько раз. Правда, у меня с этим романом происходило то, чего никогда еще не было: я по неделям останавливал работу с начала и писал с конца. Но и, кроме того, боюсь, что само начало могло бы быть живее. На $5\,^1/_2$ печатных листах (которые высылаю) я еще едва завязал интригу. Впрочем, интрига, действие будут расширяться и развиваться неожиданно. За дальнейший интерес романа ручаюсь. Мне показалось, что так будет лучше, как теперь.

Но не все будут мрачные лица; будут и светлые. Вообще боюсь, что многое не по моим силам. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже Святитель, живущий на спокое в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа. Боюсь очень; никогда не пробовал; но в этом мире я кое-что знаю.

Анна Григорьевна Достоевская:

Время шло, и в апреле 1871 года исполнилось четыре года, как мы жили за границей, а надежда на возвращение в Россию у нас то появлялась, то исчезала. Наконец мы с мужем твердо положили непременно в скором времени вернуться в Петербург, какие тяжелые последствия ни повлекло бы за собою наше возвращение. Но расчеты наши висели на волоске: мы ожидали новое прибавление семейства в июле или в начале августа, и если б мы не успели за месяц до ожидаемого события перебраться в Россию, то нам неизбежно пришлось бы остаться еще на целый год, до весны, так как везти новорожденного позднею осенью было бы немыслимо. Когда мы предполагали, что, пожалуй, нам еще целый год не придется увидеть России, то оба приходили в полное отчаяние: до того невыносимо становилось жить на чужбине. Федор Михайлович часто говорил, что если мы останемся за границей, то он «погиб», что он не в состоянии больше писать, что у него нет материала, что он чувствует, как перестает помнить и понимать Россию и русских, так как дрезденские русские — наши знакомые, по его мнению, были не русские, а добровольные эмигранты, не любящие Россию и покинувшие ее навсегда. И это была правда: все это были члены дворянских семей, которые не могли примириться с отменою

крепостного права и с изменившимися условиями жизни и бросившие родину, чтобы насладиться цивилизацией Западной Европы. Это были большею частью люди, озлобленные новыми порядками и понижением своего благосостояния и полагавшие, что им будет легче жить на чужбине.

Федор Михайлович так часто говорил о несомненной «гибели» своего таланта, так мучился мыслью, чем он прокормит свою все увеличивающуюся и столь дорогую для него семью, что я иногда приходила в отчаяние, слушая его. Чтобы успокоить его тревожное настроение и отогнать мрачные мысли, мешавшие ему сосредоточиться на своей работе, я прибегла к тому средству, которое всегда рассеивало и развлекало его. Воспользовавшись тем, что у нас имелась некоторая сумма денег (талеров триста), я завела как-то речь о рулетке, о том, отчего бы ему еще раз не попытать счастья, говорила, что приходилось же ему выигрывать, почему не надеяться, что на этот раз удача будет на его стороне, и т. п. Конечно, я ни минуты не рассчитывала на выигрыш, и мне очень жаль было ста талеров, которыми приходилось пожертвовать, но я знала из опыта прежних его поездок на рулетку, что, испытав новые бурные впечатления, удовлетворив свою потребность к риску, к игре, Федор Михайлович вернется успокоенным, и, убедившись в тщетности его надежд на выигрыш, он с новыми силами примется за роман и в две-три недели вернет все проигранное. Моя идея о рулетке была слишком по душе мужу, и он не стал от нее отказываться. Взяв с собою сто двадцать талеров и условившись, что, в случае проигрыша, я пришлю ему на выезд, он уехал в Висбаден, где и пробыл неделю. Как я и предполагала, игра на рулетке имела плачевный результат и вместе с поездкою Федор Михайлович издержал сто восемьдесят талеров — сумму, для нас тогда очень значительную. Но те жестокие муки, которые испытал Федор Михайлович в эту неделю, когда укорял себя в том, что отнял деньги от семьи, от меня и ребенка, так на него повлияли, что он решил, что более *никогда* в жизни не будет играть на рулетке. Вот что писал мне мой муж от 28 апреля 1871 года: «Надо мною великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, *мучившая* меня почти десять лет (или, лучше, со смерти брата, когда я вдруг был подавлен долгами); я все мечтал выиграть; мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено! Это был вполне *последний* раз. Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой; я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это». Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке. Ведь он много раз обещал мне не

играть и не в силах был исполнить своего слова. Однако счастье это осуществилось, и это был действительно последний раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии, в свои поездки за границу (1874, 1875, 1876, 1879 гг.) Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город. Правда, в Германии вскоре были закрыты рулетки, но существовали в Спа, Саксоне и в Монте-Карло. Расстояние не помешало бы мужу съездить туда, если б он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта «фантазия» Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наваждением или болезнию, от которой он внезапно и навсегда исцелился.

Вернулся Федор Михайлович из Висбадена бодрый, успокоившийся и тотчас принялся за продолжение романа «Бесы», так как предвидел, что переезд в Россию, устройство на новом месте и затем ожидаемое семейное событие не дадут ему возможности много работать. Все помыслы моего мужа были обращены на новую полосу жизни, пред нами открывающуюся, и он стал предугадывать, как-то он встретится со старыми друзьями и родными, которые, по его мнению, могли очень измениться за протекшие четыре года; он сознавал и в самом себе перемену некоторых своих взглядов и мнений.

1871–1873. Возвращение в Россию. Рождение сына Феди. «Гражданин»

Анна Григорьевна Достоевская:

8 июля 1871 года, в ясный, жаркий день, вернулись мы в Петербург после четырехлетнего пребывания за границей.

С Варшавского вокзала мы Измайловским проспектом проезжали мимо собора св. Троицы, в котором происходило наше венчание. Мы с мужем помолились на церковь; на нас глядя, перекрестилась и наша малютка дочь.

— Что ж, Анечка, — сказал Федор Михайлович, — ведь мы счастливо прожили эти четыре года за границей, несмотря на то что подчас было трудновато. Что-то даст нам петербургская жизнь? Все пред нами в тумане… Предвижу много тяжелого, много затруднений и беспокойств, прежде чем станем на ноги. На одну помощь Божию только и надеюсь!

— Зачем горевать заранее, — старалась я его утешить, — будем надеяться, что Бог нас не оставит! Главное, наша давнишняя мечта исполнилась, и мы с тобою опять на родине!..

Через восемь дней по приезде в Петербург, 16 июля, рано утром, родился наш старший сын Федор. Я почувствовала себя дурно накануне. Федор Михайлович, весь день и всю ночь молившийся о благополучном исходе, сказал мне потом, что решил, если родится сын, хотя бы за десять минут до полуночи, назвать его Владимиром, именем святого равноапостольного князя Владимира, память которого празднуется 15 июля. Но младенец родился 16-го и был наречен Федором, в честь своего отца, как мы давно это решили. Федор Михайлович был страшно счастлив и тем, что родился мальчик, и тем, что столь беспокоившее его семейное «событие» благополучно совершилось.

Любовь Федоровна Достоевская (1869–1926), *дочь писателя:*

Мой отец в первые годы после возвращения в Россию вел очень замкнутый образ жизни; он мало бывал в обществе и виделся только с самыми близкими друзьями. В общественной жизни он почти не принимал участия; петербургские студенты все еще питали к нему неприязнь и редко приглашали его на свои литературные вечера. Едва только они стали забывать, что «Достоевский оскорбил русских студентов в лице Раскольникова», как мой отец снова нанес им обиду, и еще более жестокую. В своем романе «Бесы» он как нельзя более ясно говорит им, что считает революционеров безумцами и глупцами. Молодые люди

были страшно озадачены; они-то полагали, что представляют собой великих мужей Плутарха…

Достоевский не придавал значения гневу студентов и не сожалел о своем прежнем успехе у них. В его глазах это были просто бедные, заблудшие молодые люди, и, будучи серьезным человеком, он не нуждался в их детской похвале. Радость, доставляемая созданием шедевров, была вполне достаточной наградой за его труд; вульгарные изъявления одобрения ничего не могли прибавить. Мне кажется, что в первые годы после возвращения в Петербург мой отец был счастливее, чем в последующие, когда он добился большого успеха. Его любила жена, дети, еще маленькие, веселили его своим детским смехом и наивными вопросами; старые друзья часто навещали его, и он мог беседовать с ними на свои излюбленные темы. Здоровье его окрепло, эпилептические припадки стали реже, и еще не было признаков смертельной болезни, которая должна была положить конец его жизни.

Анна Григорьевна Достоевская:

Закончив роман «Бесы», Федор Михайлович был некоторое время в большой нерешительности, чем ему теперь заняться. Он так был измучен работой над «Бесами», что приниматься тотчас же за новый роман ему казалось невозможным. Осуществить же зародившуюся еще за границей идею — издавать «Дневник писателя», в виде ежемесячного журнала, было затруднительно…

Федор Михайлович сильно колебался, и я не знаю, на каком решении он бы остановился, если бы в это время князь Вл. П. Мещерский не предложил ему принять на себя обязанности редактора еженедельного журнала «Гражданин». Этот журнал основался всего год назад и выходил под редакцией Гр. К. Градовского. Около редакции нового журнала объединилась группа лиц одинаковых мыслей и убеждений. Некоторые из них: К. П. Победоносцев, А. Н. Майков, Т. И. Филиппов, Н. Н. Страхов, А. У. Порецкий, Евг. А. Белов — были симпатичны Федору Михайловичу, и работать с ними представлялось ему привлекательным. Не меньшую привлекательность составляла для мужа возможность чаще делиться с читателями теми надеждами и сомнениями, которые назревали в его уме. На страницах «Гражданина» могла осуществиться и идея «Дневника писателя», хотя и не в той внешней форме, которая была придана ему впоследствии…

Впрочем, Федор Михайлович, согласившись на уговоры симпатичных ему лиц принять на себя редактирование «Гражданина», не скрывал от них, что берет на себя эти

обязанности временно, в виде отдыха от художественной работы и ради возможности ближе ознакомиться с текущей действительностью, но что, когда потребность поэтического творчества в нем вновь возникнет, он оставит столь несвойственную его характеру деятельность…

На первых порах редактирования «Гражданина» Федора Михайловича очень заинтересовала и новизна его редакторских обязанностей, и та масса самых разнообразных типов, с которыми ему приходилось встречаться в редакции. Я тоже сначала радовалась перемене занятий мужа, полагая, что редактирование еженедельного журнала не может представлять особых трудностей и позволит Федору Михайловичу хоть несколько отдохнуть после почти трехлетней работы над романом «Бесы». Но мало-помалу мы с мужем стали понимать, что он сделал ошибку, решившись приняться за такую не подходящую его характеру деятельность. Федор Михайлович чрезвычайно добросовестно относился к своим редакторским обязанностям и не только сам прочитывал все присылавшиеся в журнал статьи, но некоторые, неумело написанные, вроде статей самого издателя, исправлял, и на это у него уходила масса времени. У меня сохранилось два-три черновика стихотворений, неуклюже написанных, но в которых были видны блестки таланта, и какими изящными выходили эти стихотворения после исправления их Федором Михайловичем.

Но, помимо чтения и исправления чужих статей, Федора Михайловича одолевала переписка с авторами. Многие из них стояли за каждую свою фразу и, в случае сокращения или изменения, писали ему резкие, а иногда и дерзкие письма. Федор Михайлович не оставался в долгу и на резкое письмо недовольного сотрудника отвечал не менее резким, о чем назавтра же сожалел. Так как отправление писем обыкновенно поручалось мне, то, зная наверно, что раздражение мужа назавтра уляжется и он будет сожалеть, зачем погорячился, я не отправляла сразу данных мне мужем писем, и когда, на другой день, он выражал сожаление, зачем так резко ответил, оказывалось всегда, что «случайно» это письмо еще не отправлено, и Федор Михайлович отвечал уже в более спокойном настроении. В моем архиве сохраняется более десятка таких «горячих» писем, которые могли поссорить мужа с людьми, с которыми он ссориться вовсе не хотел, но под влиянием досады или раздражения не мог себя сдержать и высказал свое мнение, не щадя самолюбия своего корреспондента. Федор Михайлович всегда был благодарен мне за это «случайное» неотправление писем. А сколько Федору Михайловичу приходилось вести

личных переговоров. При редакции состоял секретарь, Виктор Феофилович Пуцыкович, но большинство авторов желало говорить с редактором, и происходили иногда крупные недоразумения. Федор Михайлович, всегда искренний в своих словах и поступках, прямо высказывал свое мнение, и сколько он этим нажил себе врагов в журналистике!

Кроме материальных неприятностей, Федор Михайлович за время своего редакторства вынес много нравственных страданий, так как лица, не сочувствовавшие направлению «Гражданина» или не любившие самого князя Мещерского, переносили свое недружелюбие, а иногда и ненависть на Достоевского. У него появилось в литературе масса врагов, именно как против редактора такого консервативного органа, как «Гражданин». Как это ни странно, но и в дальнейшем времени, и до, и после смерти Федора Михайловича, многие не могли простить ему его редакторства «Гражданина», и отголоски этого недружелюбия попадаются и теперь в печати.

1874–1875. Старая Русса

Анна Григорьевна Достоевская:

Наша повседневная жизнь в Старой Руссе была вся распределена по часам, и это строго соблюдалось. Работая по ночам, муж вставал не ранее одиннадцати часов. Выходя пить кофе, он звал детей, и те с радостью бежали к нему и рассказывали все происшествия, случившиеся в это утро, и про все, виденное ими на прогулке. А Федор Михайлович, глядя на них, радовался и поддерживал с ними самый оживленный разговор. Я ни прежде, ни потом не видела человека, который бы так умел, как мой муж, войти в миросозерцание детей и так их заинтересовать своею беседою. В эти часы Федор Михайлович сам становился ребенком.

После полудня Федор Михайлович звал меня в кабинет, чтобы продиктовать то, что он успел написать в течение ночи. Работа с Федором Михайловичем была для меня всегда наслаждением, и про себя я очень гордилась, что помогаю ему и что я первая из читателей слышу его произведение из уст автора…

Окончив диктовку и позавтракав со мною, Федор Михайлович читал (в ту зиму) «Странствования инока Парфения» или писал письма и во всякую погоду, в половине четвертого, выходил на прогулку по тихим пустынным улицам Руссы. Почти всегда он заходил в лавку Плотниковых и покупал только что привезенное из Петербурга (закуски, гостинцы), хотя все в небольшом количестве. В магазине его знали и почитали и, не смущаясь тем, что он покупает полуфунтиками и менее, спешили показать ему, если появлялась какая новинка.

В пять часов садились обедать вместе с детьми, и тут муж был всегда в прекрасном настроении. Первым делом подносилась рюмка водки старухе Прохоровне, нянюшке нашего сына. «Нянюшка — водочки!» — приглашал Федор Михайлович. Она выпивала и закусывала хлебом с солью. Обед проходил весело, дети болтали без умолку, а мы никогда не разговаривали за обедом о чем-нибудь серьезном, выше понимания детей. После обеда и кофе муж еще с полчаса и более оставался с детьми, рассказывая им сказки или читая им басни Крылова.

В семь часов вечера мы с Федором Михайловичем отправлялись вдвоем на вечернюю прогулку и неизменно заходили на обратном пути в почтовое отделение, где к тому времени успевали разобрать петербургскую почту.

Корреспонденция у Федора Михайловича была значительная,

и потому мы иногда с интересом спешили домой, чтобы приняться за чтение писем и газет.

В девять часов детей наших укладывали спать, и Федор Михайлович непременно приходил к ним «благословить на сон грядущий» и прочитать вместе с ними «Отче наш», «Богородицу» и свою любимую молитву: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под покровом Твоим!» К десяти часам во всем доме наступала тишина, так как все домашние, по провинциальному обычаю, рано ложились спать. Федор Михайлович уходил в свой кабинет читать газеты; я же, утомленная дневной сутолокой и детским шумом, рада была посидеть в тишине, усаживалась в своей комнате и принималась раскладывать пасьянсы, которых знала до дюжины.

С сердечным умилением вспоминаю я, как муж каждый вечер по многу раз заходил ко мне, чтобы сообщить вычитанное из последних газет или просто поболтать со мною, и всегда начинал помогать мне закончить пасьянс. Он уверял, что у меня потому не сходятся пасьянсы, что я пропускаю хорошие шансы, и, к моему удивлению, всегда находил нужные, но не замеченные мною карты. Пасьянсы были мудреные, и мне редко удавалось торжествовать без помощи мужа. Когда било одиннадцать часов, муж появлялся в дверях моей комнаты, и это означало, что и мне пора идти спать. Я только просила позволить мне еще один разочек, муж соглашался, и мы вместе раскладывали пасьянс. Я уходила к себе, все в доме спали, и только мой муж бодрствовал за работой до трех-четырех часов ночи…

В Старой Руссе в те времена, и зимой и летом, случались частые пожары, от которых выгорали целые улицы. Большею частью они происходили по ночам (где-нибудь в пекарне или в бане). Федор Михайлович, припоминая незадолго перед тем выгоревший дотла Оренбург, очень тревожился, если начинался пожар и принимались звонить на соборной колокольне, а в случае, если пожар разгорался, то и на колокольнях вблизи его расположенных церквей. Федора Михайловича особенно беспокоило то, что он знал, до чего я, в обычное время столь бодрая и ничего не боящаяся, «терялась» при какой-нибудь внезапности и начинала совершать нелепые поступки. Поэтому у нас раз и навсегда, во время пребывания в Руссе, было условлено будить друг друга, как только услышим набат. Обыкновенно, заслышав звон, Федор Михайлович тихо тряс меня за плечо и говорил: «Проснись, Аня, не путайся, где-то пожар. Не волнуйся, пожалуйста, а я пойду посмотреть, где горит!»

Я тотчас вставала, одевала спящим детям чулочки и

башмачки и приготовляла им верхнюю одежду, чтоб не простудить, если придется их вынести. Затем я вынимала большие простыни, в одну из них складывала (возможно тщательнее) всю одежду мужа, его записные книжки и рукописи. В другие складывала все находившееся в шкафу и комоде — мое платье и детские вещи. Сделав это, я успокаивалась, зная, что главнейшее будет спасено. Сначала я все узлы выносила в переднюю, поближе к выходу, но с того раза, как Федор Михайлович, возвращаясь с разведки, споткнулся в темноте на узлы и чуть не упал, стала оставлять их в комнатах. Федор Михайлович не раз потешался надо мной, говоря, что «пожар за три версты, а я уже собралась спасать вещи». Но, видя, что меня в этом не разубедишь и что подобные сборы меня успокаивают, предоставил мне при каждом набате «укладываться», требуя, однако, чтобы все его вещи, по миновению мнимой опасности, были немедленно водворены на своих местах…

За время нашего житья в Старой Руссе настроение Федора Михайловича было всегда добродушное и веселое, о чем свидетельствует, например, его шут ка надо мной.

Как-то раз под весну 1875 года Федор Михайлович вышел утром из своей спальни чрезвычайно нахмуренный. Я обеспокоилась и спросила его о здоровье.

— Совершенно здоров, — ответил Федор Михайлович, — но случилась досадная история: у меня в постели оказался мышонок. Я проснулся, почувствовав, что что-то пробежало по ноге, откинул одеяло и увидел мышонка. Так было противно! — с брезгливою гримасой говорил Федор Михайлович. — Надо бы поискать в постели! — добавил он.

— Да, непременно же, — ответила я.

Федор Михайлович пошел в столовую пить кофе, а я позвала горничную и кухарку, и общими силами принялись осматривать постель: сняли одеяло, простыни, подушки, сменили белье и, ничего не найдя, стали отодвигать столы и этажерки от стен, чтобы найти мышиную норку.

Заслышав поднятую нами возню, Федор Михайлович сначала окликнул меня, но так как я не отозвалась, то послал за мной кого-то из детей. Я ответила, что приду, как только окончу уборку комнаты. Тогда Федор Михайлович уже настоятельно велел просить меня в столовую. Я тотчас пришла.

— Ну, что, нашли мышонка? — по-прежнему брезгливо спросил меня Федор Михайлович.

— Где его найдешь, убежал. Но страннее всего, что в спальне не оказалось никакой лазейки, очевидно, забежал из передней.

— Первое апреля, Анечка, первое апреля! — ответил мне Федор Михайлович, и милая, веселая улыбка разлилась по его доброму лицу. Оказалось, что муж вспомнил, что первого апреля принято обманывать, и захотел надо мной подшутить, а я как раз и поверила, совершенно забыв, какое у нас было число. Конечно, смеху было много, мы принялись «первым апрелем» обманывать друг друга, в чем деятельное участие приняли и наши «детишки», как обычно называл их мой муж…

Любовь Федоровна Достоевская:

Мой отец вел в Старой Руссе очень уединенную жизнь. Очень редко бывал он в парке или казино, ставших местом сбора приехавших на курорт. Он предпочитал гулять вдоль реки, в уединенных местах. Он шел всегда одной и той же дорогой, опустив глаза, погруженный в раздумья. Так как он выходил всегда в одно и то же время, нищие уже ждали его, ибо знали, что он никогда не отказывал в милостыне. Поглощенный своими мыслями, мой отец раздавал деньги совершенно механически, не замечая, что подает всегда одним и тем же людям. Мать же моя хорошо видела хитрости нищих и потешалась над рассеянностью мужа. Она была молода, и ей доставляло удовольствие сыграть с ним иногда шутку. В один из осенних вечеров, когда она увидела возвращающегося с прогулки мужа, она повязала голову старым платком, взяла меня за руку и встала у него на пути. Когда отец приблизился к ней, мать жалобным тоном сказала: «Добрый господин, пожалейте меня! У меня больной муж и двое маленьких детей». Достоевский остановился, посмотрел на мою мать и протянул ей милостыню. Он пришел в ярость, когда его жена начала смеяться, взяв деньги. «Как ты могла сыграть со мной такую шутку? — сказал он с горечью. — И еще в присутствии твоего ребенка».

Анна Григорьевна Достоевская:

Летом 1876 года в Старой Руссе жил с семьею профессор С.-Петербургского университета Николай Петрович Вагнер. Пришел он к нам с письмом Я. П. Полонского и произвел на моего мужа хорошее впечатление. Они стали очень часто видеться, и Федор Михайлович очень заинтересовался новым знакомым, как человеком, фанатически преданным спиритизму.

Однажды, встретившись со мною в парке, Вагнер сказал мне:

— Ну, и удивил же меня вчера Федор Михайлович!

— Чем это? — полюбопытствовала я.

— Вечером, гуляя, я хотел зайти к вам и на самом перекрестке встречаю вашего мужа и спрашиваю: «Вы идете на

прогулку, Федор Михайлович?»

— Нет, не на прогулку, я иду по делу.

— А можно мне с вами?

— Идите, если хотите, — ответил он неприветливо. Вид его мне показался озабоченным, видимо, ему не хотелось поддерживать разговор. Дошли до первого перекрестка. Тут навстречу попалась какая-то баба, и Федор Михайлович спросил ее:

— Тетка, ты не повстречала ли бурой коровы?

— Нет, батюшка, не встречала, — ответила та. Вопрос о бурой корове показался мне странным, и я приписал его народному поверью, по которому по первой возвращающейся с поля корове можно судить о завтрашней погоде, и подумал, что Федор Михайлович с целью узнать о погоде на завтра осведомляется о корове. Но когда прошли еще квартал и встретившемуся мальчику Федор Михайлович повторил тот же вопрос, я не выдержал и спросил:

— Да на что вам, Федор Михайлович, понадобилась бурая корова?

— Как на что? Я ее ищу.

— Ищете? — удивился я.

— Ну, да, ищу нашу корову. Она не вернулась с поля. Все домашние пошли ее разыскивать, и я тоже ищу. Тут только я понял, почему Федор Михайлович так пристально всматривался в канавы по сторонам улицы и был так рассеян.

— Что же вас так удивило? — спросила я Вагнера.

— Да как же, — отвечал он, — великий художник слова, ум и фантазия которого всегда заняты идеями высшего порядка, и он бродит по улице, разыскивая какую-то бурую корову.

— Очевидно, вы не знаете, уважаемый Николай Петрович, — сказала я, — что Федор Михайлович не только талантливый писатель, но и нежнейший семьянин, для которого все происходящее в доме имеет большое значение. Ведь если б корова не вернулась домой вчера, то наши детки, особенно младший, остались бы без молока или получали бы его от незнакомой, а пожалуй, и нездоровой коровы. Вот Федор Михайлович и пошел на розыски.

Надо сказать, что мы не имели собственной коровы, но когда приезжали на лето в Руссу, то окрестные крестьяне наперебой старались отдать нам на все лето свою корову, в надежде вместо отощавшей за зиму получить осенью откормленную на славу… Каждое лето случалось раза три-четыре, что корова не возвращалась с поля со стадом, и тогда весь дом, кроме няньки с грудным ребенком, уходил в разные улицы на поиски. Федор

Михайлович, близко принимавший к сердцу наши семейные радости и горести, и в этом случае нам помогал и раза два-три сам пригонял нашу корову домой и впускал ее в калитку.

1875–1878. Рождение и смерть сына Алексея. Поездка с Владимиром Соловьевым в Оптину пустынь

Любовь Федоровна Достоевская:

[10 августа 1875 года] появился на свет мой второй брат Алексей. Мои родители несколько разошлись во мнениях относительно выбора его имени. Мать хотела назвать его Иваном, в честь своего брата, столь нежно ею любимого. Достоевский же желал дать ему имя Степан в память епископа Стефана, бывшего, по словам отца, основателем нашей православной семьи. Мать моя была несколько удивлена, услышав эти слова от отца, крайне редко упоминавшего своих предков. Мне кажется, что Достоевский, все более интересовавшийся православной церковью, хотел выразить свою благодарность тому, кто первый из нашей литовской семьи обратился в православие. Но матери не нравилось имя Степан, и родители сошлись на том, чтобы назвать ребенка Алексеем, именем, симпатичным обоим. Здоровье моей матери в это время было настолько крепким, что она родила почти безболезненно. Маленький Алексей казался крепким и здоровым ребенком, но у него был странный овальный, почти угловатый лоб; маленькая головка была яйцевидной формы. Это не уродовало ребенка, но придавало ему забавное, удивленное выражение. Когда Алексей подрос, он стал любимцем Достоевского. Моему старшему брату и мне было запрещено входить в кабинет отца без разрешения, но на маленького Алешу этот запрет не распространялся. Едва только его нянька отворачивалась, как он пытался улизнуть из детской, мчался к отцу и кричал: «Папа, зи-зи!», как называл он на своем детском языке часы. Достоевский откладывал работу, сажал ребенка на колени, доставал свои часы и подносил их к уху малыша. Ребенок с восторгом слушал тикание часов и хлопал в ладошки. Алеша был очень умным и приятным ребенком; вся семья горько оплакивала его, когда он умер внезапно в возрасте двух с половиной лет. Это случилось в Петербурге в мае, за несколько дней до нашего отъезда в Старую Руссу.

Анна Григорьевна Достоевская:

16 мая 1878 года нашу семью поразило страшное несчастие: скончался наш младший сын Леша. Ничто не предвещало постигшего нас горя: ребенок был все время здоров и весел. Утром в день смерти он еще лепетал на своем не всем понятном

языке и громко смеялся с старушкой Прохоровной, приехавшей к нам погостить пред нашим отъездом в Старую Руссу. Вдруг личико ребенка стало подергиваться легкою судорогою; няня приняла это за родимчик, случающийся иногда у детей, когда у них идут зубы; у него же именно в это время стали выходить коренные. Я очень испугалась и тотчас пригласила всегда лечившего у нас детского доктора, Гр. А. Чошина, который жил неподалеку и немедленно пришел к нам. По-видимому, он не придал особенного значения болезни, что-то прописал и уверил, что родимчик скоро пройдет. Но так как судороги продолжались, то я разбудила Федора Михайловича, который страшно обеспокоился. Мы решили обратиться к специалисту по нервным болезням, и я отправилась к профессору Успенскому. У него был прием, и человек двадцать сидело в его зале. Он принял меня на минуту и сказал, что как только отпустит больных, то тотчас приедет к нам; прописал что-то успокоительное и велел взять подушку с кислородом, который и давать по временам дышать ребенку. Вернувшись домой, я нашла моего бедного мальчика в том же положении: он был без сознания и от времени до времени его маленькое тело сотрясалось от судорог. Но, по-видимому, он не страдал: стонов или криков не было. Мы не отходили от нашего маленького страдальца и с нетерпением ждали доктора. Около двух часов он наконец явился, осмотрел больного и сказал мне: «Не плачьте, не беспокойтесь, это скоро пройдет!» Федор Михайлович пошел провожать доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени у дивана, на который мы переложили малютку, чтоб было удобнее смотреть его доктору. Я тоже стала на коле ни рядом с мужем, хотела его спросить, что именно сказал доктор (а он, как я узнала потом, сказал Федору Михайловичу, что уже началась агония), но он знаком запретил мне говорить. Прошло около часу, и мы стали замечать, что судороги заметно уменьшаются. Успокоенная доктором, я была даже рада, полагая, что его подергивания переходят в спокойный сон, может быть, предвещающий выздоровление. И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала; горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Лешу.

Любовь Федоровна Достоевская:

Моя мать пожелала похоронить своего дорогого малютку рядом с моим дедом Григорием, могила которого находилась на Охтинском кладбище на другом берегу Невы. Так как тогда еще не было мостов, связывающих оба берега реки, нужно было делать

большой круг. Мы все четверо сели в коляску — папа, мама, мой брат Федя и я, — и маленький гробик был поставлен между нами.

Дорогой много плакали, гладили маленький белый гробик, усыпанный цветами, и вспоминали все любимые выражения дорогого малютки. После короткой службы в церкви понесли гроб на кладбище. Как хорошо помню я этот день! Это был сияющий день мая; все цвело, в ветвях старых деревьев пели птицы, чередующееся пение священника и хора мелодично разносилось по исполненному поэзии кладбищу. Слезы катились по щекам отца, он поддерживал рыдающую жену. Она не могла оторвать взор от маленького гробика, медленно исчезавшего под землей…

Анна Григорьевна Достоевская:

Федор Михайлович был страшно поражен этою смертию. Он как-то особенно любил Лешу, почти болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Федора Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб от эпилепсии, — болезни, от него унаследованной. Судя по виду, Федор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над нами удар судьбы, но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье. Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича, но так трудно было это осуществить.

Владимир Сергеевич согласился мне помочь и стал уговаривать Федора Михайловича отправиться в Пустынь вместе. Я подкрепила своими просьбами, и туг же было решено, что Федор Михайлович в половине июня приедет в Москву (он еще ранее намерен был туда ехать, чтобы предложить Каткову свой будущий роман) и воспользуется случаем, чтобы съездить с Вл. С. Соловьевым в Оптину пустынь. Одного Федора Михайловича я не решилась бы отпустить в такой отдаленный, а главное, в те времена столь утомительный путь. Соловьев хоть и был, по моему мнению, «не от мира сего», но сумел бы уберечь Федора Михайловича, если б с ним случился приступ эпилепсии…

Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни как бы умиротворенный и значительно успокоившийся и много рассказывал мне про обычаи Пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым «старцем», о. Амвросием,

Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал «старцу» о постигшем нас несчастии и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери… Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый «старец».

1878. Невстреча с Л. Толстым

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к Н. Н. Страхову 28 мая 1870 г.:*

Да вот еще давно хотел Вас спросить: не знакомы ли Вы с Львом Толстым лично? Если знакомы, напишите, пожалуйста, мне, какой это человек? Мне ужасно интересно узнать что-нибудь о нем. Я о нем очень мало слышал как о частном человеке.

Анна Григорьевна Достоевская:

Великим постом 1878 года Вл. С. Соловьев прочел ряд философских лекций, по поручению Общества любителей духовного просвещения, в помещении Соляного городка. Чтения эти собирали полный зал слушателей; между ними было много и наших общих знакомых. Так как дома у нас все было благополучно, то на лекции ездила и я вместе с Федором Михайловичем.

Возвращаясь с одной из них, муж спросил меня: — А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич (Страхов)? И сам не подошел, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?

— Да и мне показалось, будто он нас избегал, — ответила я. — Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: «Не забудьте воскресенья», — он ответил: «Ваш гость».

Меня несколько тревожило, не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу. В ближайшее воскресенье Николай Николаевич пришел к обеду, я решила выяснить дело и прямо спросила, не сердится ли он на нас.

— Что это вам пришло в голову, Анна Григорьевна? — спросил Страхов.

— Да нам с мужем показалось, что вы на последней лекции Соловьева нас избегали.

— Ах, это был особенный случай, — засмеялся Страхов. — Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился.

— Как! С вами был Толстой? — с горестным изумлением

воскликнул Федор Михайлович. — Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!

— Да ведь вы по портретам его знаете, — смеялся Николай Николаевич.

— Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали!

И в дальнейшем Федор Михайлович не раз выражал сожаление о том, что не знает Толстого в лицо.

Петербург. Уличные происшествия и встречи

Н. Репин:

Эпизод, о котором я намерен здесь говорить, произошел с нашим знаменитым писателем Ф. М. Достоевским ровно 25 лет тому назад.

Слово «босяк» тогда еще не было включено в обывательский лексикон, и те уличные забулдыги, которых теперь принято называть «босяками», в то время известны были под именем «вяземских кадет». Как и теперешние «босяки» и «хулиганы», тогдашние «вяземские кадеты» держали себя на улице заносчиво и, несмотря на то что их не возвел еще в герои Максим Горький, они и тогда уже кичились своею принадлежностью к категории «бывших людей». Протягивая руку за милостыней, вяземские кадеты в большинстве случаев говорили: «Подайте кельк-шоз[23] бла-ародному человеку!»

И если их назойливое требование «кельк-шоз» оставалось без удовлетворения, они, не задумываясь, награждали прохожих отборною руганью, а иногда пускали в ход кулаки.

На одного из таких босяков наткнулся однажды и покойный Ф. М. Достоевский. День был праздничный. Наш знаменитый писатель-психолог шел по Николаевской улице, по обыкновению сосредоточенно глядя себе под ноги. На самом углу Стремянной улицы, где теперь находится церковь, к Достоевскому подскакивает какой-то субъект с опухшей от пьянства физиономией и сиплым голосом бурчит: «Кельк-шоз бла-ародному человеку!..»

Не расслышал ли он его, или по какой-либо другой причине, но Достоевский не обратил на него внимания и по-прежнему продолжал задумчиво свой путь. Вдруг с криком: «Сытый голодному не верит!» босяк этот размахнулся и ударил Достоевского кулаком по голове.

Удар был настолько силен, что наш знаменитый писатель упал на мостовую, отлетев при этом от тротуара аршина на два.

Стоявший на углу городовой подскочил к упавшему Достоевскому, помог ему встать на ноги, а кто-то из прохожих поймал катившуюся по мостовой шляпу Достоевского и отдал ее по принадлежности. Между тем босяк бросился бежать по Стремянной улице, но, по свистку городового, задержан был одним из дворников.

Оправившись от падения и от полученного им удара по

голове, Достоевский надел поданную ему шляпу и, как ни в чем ни бывало, хотел пойти своей дорогой, как будто ничего с ним не случилось. Но городовой его остановил и попросил у него его визитную карточку.

— Зачем это вам? — спросил у городового Достоевский.

— А для привлечения этого человека к ответственности, — указал городовой на задержанного босяка.

— Я на него никакой жалобы не заявляю, — заметил Достоевский.

— Это все единственно-с, а только ваш адрес нужен в качестве свидетеля по обвинению этого человека по 38 статье.

Карточки визитной у Достоевского не оказалось, он вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок бумаги и написал на нем карандашом: «Федор Достоевский. Жительство имею: угол Кузнечного пер. и Ямской улицы, д. № 5. От обвинения неизвестного мне человека отказываюсь».

В назначенный день явился Ф. М. Достоевский в камеру мирового судьи 13-го участка, помещавшуюся тогда на Стремянной улице. Мировым судьей этого участка был в то время покойный А. И. Трофимов, славившийся по всему Петербургу как балагур и остряк.

— Свидетель Федор Михайлович Достоевский, — сказал с какой-то особенной торжественностью мировой судья, — вы отказываетесь от обвинения колпинского мещанина Егорова за оскорбление вас действием?

— Отказываюсь, — тихо проговорил Достоевский.

— Очень жаль, — заметил судья, — сегодня он ударил вас, завтра ударит другого… Если все будут отказываться от преследования этих героев вяземской лавры, от них проходу не будет в Петербурге.

— Я отказываюсь от преследования этого человека по двум причинам, — сказал Достоевский. — Во-первых, я не могу с уверенностью сказать, что именно этот человек меня ударил, а не кто-либо другой, потому что я не видел лица того человека, который нанес мне удар по голове. Это раз. Во-вторых, я никак не могу допустить той мысли, чтобы человек в здравом уме, ни с того ни с сего, ударил своего ближнего кулаком по голове. Если он это сделал, значит, он ненормален, значит, он больной… А больного надо лечить, а не наказывать..

— Да какой он больной? Он просто пьян был как стелька, — вставил свое замечание судья. — Его надобно для вытрезвления в пересыльную отправить.

— Это напрасное! Пьян я не был тогда, а голодным действительно был, — возразил молчавший до того времени

обвиняемый босяк. — Не угодно ли вам, г. судья, спросить у свидетеля, говорил ли я им перед тем как ударить, что, мол, сытый голодному не верит?

— Эту фразу я действительно слышал тогда, — подтвердил Достоевский, — и вполне допускаю, что голодный человек может быть озлобленным, в особенности когда он не находит отклика в своих просьбах о куске хлеба. Злоба этого голодного человека нашла себе утешение в ударе кулаком по голове того прохожего, который не услышал его просьбы о помощи. Судьбе угодно было, чтобы этим прохожим оказался я, и я не ропщу на это.

— А вот мы его закатим на месяц в кутузку, — громко сказал судья, — он будет знать вперед, как вымещать свою злобу на прохожих.

— Это дело вашей совести, — заметил Достоевский Трофимову, — но прошу вас принять от меня 3 рубля и выдать их этому человеку, когда он после отбывания наказания выйдет из тюрьмы.

И, подав судье трехрублевую кредитку, Достоевский поклонился Трофимову и вышел из камеры.

— Знаешь ли ты, несчастный, на кого поднялась твоя дерзкая рука? — крикнул Трофимов босяку-обвиняемому, после того как Достоевский ушел. — Ты ударил величайшего из русских писателей и добрейшего из русских людей!..

Иван Иванович Попов:

Он жил в Кузнечном переулке, около Владимирской церкви. В 1879 году мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви, которую посещал Достоевский. Летом, в теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русской бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжелобольного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом. Как-то я подсел к нему на скамью. Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну что же мне теперь делать? Испек кулич и поставил на мое пальто. Ведь теперь мне и встать нельзя, — обратился Достоевский к малютке…

— Сиди, я еще принесу, — ответил малютка.

Достоевский согласился сидеть, а малютка высыпал из разных деревянных стаканчиков, рюмок ему на фалду еще с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлялся, а кашлял он нехорошо, тяжело; потом вынул из кармана цветной платок и выплюнул в него, а не на землю. Полы пальто скатились с лавки, и «куличи» рассыпались. Достоевский продолжал кашлять… Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные…

Малютка засмеялся и снова побежал за песком, а Достоевский, обращаясь ко мне, сказал:

— Радостный возраст… Злобы не питают, горя не знают… Слезы сменяются смехом…

Не помню, что я ответил ему…

После этой встречи, поздней осенью, когда воздух Петербурга был пропитан туманной сыростью, на Владимирской улице я снова встретил Ф. М. Достоевского вместе с Д. В. Григоровичем. Федор Михайлович приветливо ответил на мой поклон. Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый как лунь, с моложавым цветом лица, был одет изящно, ступал твердо, держался прямо и высоко нес свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шел сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке; ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик…

Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживает Достоевского.

Больше Достоевского я уже не видел.

Пушкинские торжества 1880 года в Москве

Дмитрий Николаевич Любимов (1864–1942), *сын сотрудника журнала «Русский вестник» Н. А. Любимова, позднее — государственный чиновник высшего ранга:*

Это было 8 июня 1880 года, во время торжества по поводу открытия в Москве памятника Пушкину, на заседании московского Общества любителей российской словесности, прославленном речью Достоевского. Из всех речей и вообще публичных выступлений, которые мне пришлось когда-либо слышать и видеть, ничто не произвело на меня такого сильного впечатления, как эта вдохновенная речь…

Громадная зала, уставленная бесконечными рядами стульев, представляла собою редкое зрелище: все места были заняты блестящею и нарядною публикою; стояли даже в проходах; а вокруг залы, точно живая волнующаяся кайма, целое море голов преимущественно учащейся молодежи, занимавшее все пространство между колоннами, а также обширные хоры. Вход был по розданным даровым билетам; в самую же залу, по особо разосланным приглашениям, стекались приехавшие на торжества почетные гости, представители литературы, науки, искусства и все, что было в Москве выдающегося, заметного, так называемая «вся Москва»…

Всех, кто еще был в зале из московских знаменитостей, не припомнить и не перечесть. Но если зала по своему составу представляла на редкость интересное зрелище, то на эстраде зрелище было еще интереснее. Не думаю, чтобы когда-либо до этого, да едва ли потом собралось вместе так много сразу столь известных и дорогих для читающей России имен.

Эстрада была устроена в конце зала, во всю его ширину, на том месте, где двери ведут в Екатерининскую ротонду, где стояла бронзовая статуя императрицы Екатерины. Эстрада была обита зеленым сукном, и во всю длину ее стоял громадный стол; направо была устроена кафедра; за нею алебастровый снимок памятника Пушкину, украшенный лавровым венком и цветами. Вокруг стола стояло бесчисленное количество стульев, на которых сидели и между ними стояли члены общества, все во фраках и белых галстуках. Здесь я многих не знал, так как большинство были приезжие, но мой спутник — энтузиаст, знавший всех известных русских литераторов по фотографиям, украшавшим все стены его скромной комнаты и на которые я постоянно глядел во время уроков, мне называл, захлебываясь от восторга, их имена — одно громче другого.

Направо от председателя общества — старика с большой бородой, в очках, издателя журнала «Русская мысль», известного переводчика Кальдерона и Шекспира С. А. Юрьева, которого звали в Москве «последним могиканом 40-х годов», — на почетном месте сидел представительный старик с длинными седыми волосами, постоянно спадавшими на лоб, и окладистой, аккуратно подстриженной бородой. Он был одет в хорошо сшитый фрак иностранного покроя, но в плисовых сапогах без каблуков, что, видимо, означало подагру, он читал какую-то записку, поминутно то надевая, то снимая золотое пенсне. «Тургенев! Иван Сергеевич!..» — восторженным шепотом пояснял энтузиаст. Рядом с ним сидел на стуле вполуоборот высокий старик с маленькой бородкой, большим лбом и громадною плешью на коротко обстриженной седой голове и, смеясь, разговаривал со стоявшим почтительно перед ним лицом типичного актерского вида. «Это Островский, Александр Николаевич!» — шепчет энтузиаст…

Рядом с Островским сидел Д. В. Григорович, еще моложавый, с красивыми бакенбардами; он поминутно вскакивал с места и подходил то к Тургеневу, то к другим….

По другую сторону от председателя, полуоборотом к публике, стоял столь в Москве и мне лично известный Иван Сергеевич Аксаков. Популярность его в Москве была громадная, особенно после его недавней речи о Берлинском конгрессе в Славянском обществе…

Вслед за Аксаковым сидел, углубившись в чтение каких-то листков, будущий герой настоящего собрания — чего еще никто не знал, — Федор Михайлович Достоевский; он имел вид усталый и болезненный…

Все рассуждения были прерваны звонком председателя; был ровно час дня, и он объявил заседание открытым. Все на эстраде заняли свои места, и С. А. Юрьев сказал несколько слов о необыкновенном сегодняшнем составе совета Общества; почти все без исключения почетные члены Общества откликнулись на приглашение.

Затем на кафедру вошел А. Н. Плещеев…

Плещеев прочел свое прекрасное стихотворение с большим подъемом и чувством, постоянно обращаясь к статуе Пушкина. Когда он сходил с кафедры, ему громко и долго рукоплескали. Он продолжал кланяться даже со своего места.

Затем раздался голос председателя: «Слово принадлежит почетному члену Общества Федору Михайловичу Достоевскому».

Достоевский поднялся, стал собирать свои листки и потом медленно пошел к кафедре, продолжая нервно перебирать

листки, видимо список своей речи, которым, кстати сказать, он потом почти не пользовался. Он мне показался осунувшимся со вчерашнего дня. Фрак на нем висел как на вешалке; рубашка была уже измята; белый галстук, плохо завязанный, казалось, вот сейчас совершенно развяжется. Он к тому же волочил одну ногу…

Достоевский, встреченный громом рукоплесканий, взойдя на кафедру — я помню ясно все подробности, — протянул вперед руку, как бы желая их остановить. Когда они понемногу смолкли, он начал прямо, без обычных «милостивые государыни, милостивые государи», так:

— Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое.

Первые слова Достоевский сказал как-то глухо, но последние каким-то громким шепотом, как-то таинственно. Я почувствовал, что не только я, но вся зала вздрогнула и поняла, что в слове «пророческое» вся суть речи и Достоевский скажет что-либо необыкновенное. Это не будет обыденная на торжествах речь из красивых фраз, как была у Тургенева накануне, а что-то карамазовское, тяжелое, мучительное, длинное, но душу захватывающее, от которого оторваться нельзя, как все произведения Достоевского.

Достоевский заметил произведенное впечатление и повторил громче:

— Да, в появлении Пушкина для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое.

Анатолий Федорович Кони (1844–1927), *выдающийся юрист, литератор, мемуарист:*

На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным.

Глеб Иванович Успенский (1843–1902), *писатель, журналист:*

…Не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал с знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз, не закидывая головы.

Дмитрий Николаевич Любимов:

Разделив творчество Пушкина на три периода, Достоевский указал, что уже в первом периоде, в «Цыганах», в лице Алеко

Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, «того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем». Этому скитальцу необходимо не только личное, не только русское, но именно всемирное счастье, чтобы успокоиться; дешевле он не примирится. Человек этот зародился в начале второго столетия после реформы Петра в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа нашего.

— Конечно, — продолжал Достоевский, все возвышая голос, так что голос его теперь звучал на всю залу, но в нем иногда слышались нервные, болезненные ноты, — теперь огромное большинство интеллигентных русских людей мирно служит чиновниками или в банках; играет копеечную игру в преферанс, без всяких поползновений бежать, как Алеко, в цыганские таборы. Много, много если полиберальничает «с оттенком европейского социализма», которому придаст русский добродушный характер, но это лишь временно. — Тут голос Достоевского перешел опять в таинственный шепот, но была такая тишина в зале, что каждое слово было ясно слышно. — Да, это вопрос только времени, — продолжал он. — Это всех нас в свое время ожидает, если мы не выйдем на настоящую дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех; довольно лишь десятой доли обеспокоившихся, чтобы остальным, громадному большинству, не видеть через них покоя… Начнется плач, скорбь, страхи по потерянной где-то и кем-то правде, которую никто отыскать не может… А между тем правда в себе самом. Найди себя в себе, и узришь правду…

Здесь Достоевский хотел что-то отыскать в своих листках, но, видимо, не нашел, бросил их и прямо перешел к самому, как он выразился, положительному типу Пушкина — к Татьяне.

— Да, это тип положительной красоты, это апофеоз русской женщины! — воскликнул он. — Такой красоты положительный тип русской женщины уже и не повторялся в нашей литературе… кроме, пожалуй… — тут Достоевский точно задумался, потом, точно превозмогая себя, быстро: — кроме разве Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева…

Вся зала посмотрела на Тургенева, тот даже взмахнул руками и заволновался; затем закрыл руками лицо и вдруг тихо зарыдал. Достоевский остановился, посмотрел на него, затем отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Несколько секунд длилось молчание; среди общей тишины слышались сдерживаемые всхлипывания Тургенева.

Екатерина Павловна Леткова-Султанова (1856–1937),

писательница, переводчица, участница женского движения. Из дневника. 8 июня 1880 г.:

Стоило Достоевскому упомянуть имя Лизы Калитиной (из «Дворянского гнезда») как о родственном пушкинской Татьяне «типе положительной женской красоты», — чтобы его речь была прервана шумной овацией Тургеневу. Весь зал встал и загремел рукоплесканиями. Тургенев не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады. Он был бледен и сконфуженно кланялся.

Дмитрий Николаевич Любимов:

Затем Достоевский продолжал:

— Но Онегин не понял Татьяны. Не мог понять. Татьяна прошла в первой части романа не узнанная, не оцененная им… О, если бы тогда в деревню, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или сам лорд Байрон и указал ему на нее… О! Тогда Онегин был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах русских так много подчас лакейства духовного! Татьяна это поняла. В бессмертных строфах романа Пушкин изобразил ее посещающей дом этого столь чудного, столь еще загадочного для нее человека… Губы ее тихо шепчут: уж не пародия ли он? Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным и в конце романа, как это сделала бы какая-нибудь француженка или италиянка!..

Раздались громкие рукоплескания.

Сделав небольшую паузу, Достоевский перешел к отношению Пушкина к народу русскому.

— Ни один писатель ни прежде, ни после него, — говорил он, — не соединялся так задушевно, так родственно с народом своим, как Пушкин. У нас много знатоков народа между писателями нашими. Писали о нем талантливо, тепло, любовно; а между тем если сравнить их с Пушкиным, то, право же, это лишь «господа», о народе пишущие… за одним, много двумя исключениями, да и то в последнее время…

Тут Достоевский остановился и посмотрел на эстраду, точно ища кого-то…

Достоевский помолчал, опять потрепал свои листки, которыми мало пользовался, затем поднял голову и заговорил как-то особенно громко, вдохновенно, владея теперь всей залой. Видимо, он высказывал теперь главную свою мысль. Все это поняли, глаза всей залы впились в Достоевского, который перешел к последнему периоду деятельности Пушкина.

— Здесь, — воскликнул он, — Пушкин нечто чудесное, не виданное до него нигде и ни у кого. Были громадной величины

гении, разные Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но нет ни одного, который обладал бы такою способностью к всемирной отзывчивости, как Пушкин. Эту способность, главнейшую способность национальности нашей, он разделяет с народом своим, и тем, главнейше, он и народный поэт! Даже у Шекспира все его италиянцы — те же англичане. Пушкин один мог перевоплотиться вполне в чужую народность. Перечтите «Дон-Жуана», и, если бы не было подписи Пушкина, вы бы не поверили, что писал не испанец! Помните: воздух лаврами и лимонами пахнет!.. А сцена из Фауста, разве это не Германия? А в «Пире во время чумы», — так и слышен гений Англии. А «Подражание Корану», это ли не ислам?..

Достоевский цитировал, приводя на память, целый ряд примеров из стихотворений Пушкина.

— Да! — воскликнул он. — Пушкин, несомненно, предчувствовал великое грядущее назначение наше. Тут он угадчик, тут он пророк! Стать настоящим русским, может быть, и значит только стать братом всех людей — всечеловеком… И все это славянофильство и западничество наше есть только одно великое между нами недоразумение. Вся история наша подтверждает это. Ведь мы всегда служили Европе более, чем себе. Не думаю, что это от неумения наших политиков происходило… Наша, после долгих исканий, быть может, задача и есть внесение примирения в европейские противоречия; указать исход европейской душе; изречь окончательное слово великой гармонии, братского согласия по Христову евангельскому закону…

Тут Достоевский остановился и как-то всплеснул руками, как бы предвидя возражения, но вся зала замерла и слушала его, как слушали когда-то пророков.

— Знаю, — воскликнул Достоевский, и голос его получил какую-то даже непонятную силу, в нем звучал какой-то экстаз, — прекрасно знаю, что слова мои покажутся восторженными, преувеличенными, фантастичными; главное, покажутся самонадеянными: «Это нам-то, нашей нищей, нашей грубой земле такой удел, это нам-то предназначено высказать человечеству новое слово?» Что же? Разве я говорю про экономическую славу? Про славу меча или науки? Я говорю о братстве людей. Пусть наша земля нищая, но ведь именно нищую землю в рабском виде исходил, благословляя, Христос. Да сам-то он, Христос-то, не в яслях ли родился?

Если мысль моя фантазия, то с Пушкиным есть на чем этой фантазии основываться. Если бы Пушкин жил дольше, он успел бы разъяснить нам всю правду стремлений наших. Всем бы стало

это понятно. И не было бы между нами ни недоразумений, ни споров. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем…

Последние слова своей речи Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустил голову и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании. Зала точно замерла, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: «Вы разгадали!» — подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Вся зала встрепенулась. Послышались крики: «Разгадали! Разгадали!», гром рукоплесканий, какой-то гул, топот, какие-то женские взвизги. Думаю, никогда стены московского Дворянского собрания ни до, ни после не оглашались такою бурею восторга. Кричали и хлопали буквально все — и в зале и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского, Тургенев, спотыкаясь, как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненными криками: «Достоевский, Достоевский!» — вдруг упал навзничь в обмороке. Его стали выносить. Достоевского увели в ротонду. Вели его под руки Тургенев и Аксаков; он видимо как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком. Зал продолжал волноваться.

Анатолий Федорович Кони:

С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и затем расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде, и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву куда угодно… Так, вероятно, в далекое время умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола.

Дмитрий Николаевич Любимов:

Вдруг по зале пронесся слух, неизвестно кем пущенный, что с

Достоевским припадок падучей болезни, которою он страдал, что он умирает. Целая масса лиц бросилась на эстраду. Оказалось — совершенный вздор. Достоевского под руку Григорович вывел из ротонды на эстраду, продолжая махать над головою платком.

Председатель отчаянно звонил, повторяя, что заседание продолжается и слово принадлежит Ивану Сергеевичу Аксакову. Зал понемногу успокаивается, но сам Аксаков страшно волнуется. Он вбегает на кафедру и кричит: «Господа, я не хочу, да и не могу говорить после Достоевского. После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского — событие! Все разъяснено, все ясно. Нет более славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною». Тургенев с места что-то кричит, видимо утвердительное. Аксаков сходит с кафедры. Слышны крики: «Перерыв! перерыв!..» Председатель звонит и объявляет перерыв на полчаса. Многие расходятся.

Анатолий Федорович Кони:

Заседание было возобновлено лишь через полчаса. Речь Достоевского поразила даже и иностранцев, которые, однако, не могли чувствовать таинственных нитей, связывающих некоторые ее места и выражения с сердцем, русских людей в его сокровенной глубине. Профессор русской литературы в Парижском университете, Луи Лежэ, приехавший специально на Пушкинские празднества, говорил мне вечером в тот же день, что совершенно подавлен блеском и силой этой речи, весь находится под ее обаянием и желал бы передать свои впечатления во всем их объеме «an Maitre», то есть Виктору Гюго, в таланте которого, по его мнению, так много общего с дарованием Достоевского.

Алексей Михайлович Сливицкий (1850–1913), *детский писатель, педагог:*

На мою долю выпало в этот день доставить из Благородного собрания в Лоскутную гостиницу венок, поднесенный Ф. М. Достоевскому после его памятной речи. Мы подъехали к Лоскутной почти одновременно, и я вошел в его номер вслед за ним. Он любезно просил меня присесть, но так был бледен и видимо утомлен, что я решил по возможности сократить свой визит. Хорошо помню, как он, вертя в руках тетрадку почтовой бумаги малого формата, в которой не без помарок была набросана только что прочитанная речь, повторял неоднократно: «Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал…»

Глеб Иванович Успенский:

Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных

украшений, он сказал публике, что думает о Пушкине как выразителе стремлений, надежд и желаний той самой публики, которая слушает его сию минуту, в этом же зале. Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске. До Ф. М. Достоевского этого никто не делал, и вот главная причина необыкновенного успеха его речи.

Анна Григорьевна Достоевская:

13 июня вернулся в Старую Руссу Федор Михайлович, и такой довольный и оживленный, каким я давно его не видала. Не только с ним в Москве не приключилось припадка эпилепсии, но благодаря нервному возбуждению он все время чувствовал себя очень бодрым. Рассказам его и моим расспросам о московских событиях не было конца, и сколько он рассказывал интересного, чего я потом не встречала в других описаниях Пушкинского празднества! Федор Михайлович как-то особенно умел все приметить и на недолгое время запомнить. Рассказывал мне, между прочим, Федор Михайлович о том, как он вернулся из последнего второго вечернего заседания (закончившего все пушкинские торжества) страшно усталый, но и страшно счастливый восторженным приемом прощавшейся с ним московской публики. В полном изнеможении прилег он отдохнуть, а затем, уже позднею ночью, поехал опять к памятнику Пушкина. Ночь была теплая, но на улицах почти никого не было. Подъехав к Страстной площади, Федор Михайлович с трудом поднял поднесенный ему на утреннем заседании, после его речи, громадный лавровый венок, положил его к подножию памятника своего «великого учителя» и поклонился ему до земли.

Искренняя радость при мысли, что наконец-то Россия поняла и оценила высокое значение гениального Пушкина и воздвигла ему в «сердце России», Москве, — памятник; радостное сознание того, что он, с юных лет восторженный почитатель великого народного поэта, имел возможность своею речью воздать ему дань своего поклонения; наконец, упоение от восторженных, относившихся к его личному дарованию, оваций публики, — все соединилось для того, чтобы создать для Федора Михайловича, как он выразился, «минуты величайшего счастья». Рассказывая мне о своих тогдашних впечатлениях, Федор Михайлович имел вдохновенный вид, как бы вновь переживая эти незабываемые минуты.

Рассказывал мне Федор Михайлович и о том, что на следующее утро к нему приехал лучший тогдашний московский

фотограф, художник Панов, и упросил Федора Михайловича дать ему возможность снять с него портрет. Так как муж мой торопился уехать из Москвы, то, не теряя времени, отправился с Пановым в его фотографию. Впечатления вчерашних знаменательных для Федора Михайловича событий живо отпечатлелись на сделанной художником фотографии, и я считаю этот снимок художника Панова наиболее удавшимся из многочисленных, но всегда различных (благодаря изменчивости настроения) портретов Федора Михайловича. На этом портрете я узнала то выражение, которое видала много раз на лице Федора Михайловича в переживаемые им минуты сердечной радости и счастья.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к С. А. Толстой 13 июня 1880 г:*

…Этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься. Сердце полно, как не передать друзьям! Я до сих пор как размозженный.

Последняя болезнь и смерть

Михаил Александрович Александров:

26-го января 1881 года я виделся с метранпажем, верставшим возобновившийся «Дневник писателя», и от него узнал, что Федор Михайлович болен; на расспросы мои о степени болезни, а также о ходе дела он рассказал мне, что когда он за день до того был у Федора Михайловича, то тот принял его лежа в постели… «Ну, что скажете, барин?» — спросил Федор Михайлович, прозвавший в шутку своего нового метранпажа «барином» и не оставлявший этой шутки на одре болезни.

Метранпаж ответил, что пришел переговорить о заключении 1-го выпуска «Дневника писателя», ввиду приближавшегося срока выхода его в свет.

— А я вот заболел… видите…

— Вижу, Федор Михайлович… Что же с вами случилось?

— У меня кровь из горла идет; доктор говорит, что у меня где-то внутри жилка порвалась и из нее-то течет кровь… уж две рюмки, говорят, вытекло.

После я узнал, что заболел Федор Михайлович 26-го января от разрыва артерий в легких, вследствие чего открылось кровотечение горлом, — болезнь, не особенно опасная для организма более крепкого и менее нервного; на другой день он исповедался и причастился и, почувствовав значительное облегчение, между прочим, занимался чтением корректур 1-го выпуска своего «Дневника», долженствовавшего выйти в свет по-прежнему в последнее число оканчивавшегося месяца; но увидеть этот выпуск начисто отпечатанным ему было не суждено: 28-го января положение его ухудшилось, и в тот же день он тихо, постепенно слабея от истечения крови, скончался…

Анна Григорьевна Достоевская:

Утром, 26 января, Федор Михайлович встал, по обыкновению, в час дня, и когда я пришла в кабинет, то рассказал мне, что ночью с ним случилось маленькое происшествие: его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку (а вставкой этой он очень дорожил, так как, кроме писания, она служила ему для набивки папирос); чтобы достать вставку, Федор Михайлович отодвинул этажерку. Очевидно, вещь была тяжелая, и Федору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась легочная артерия и пошла горлом кровь; но так как крови вышло незначительное количество, то муж не придал этому обстоятельству никакого значения и даже меня не захотел

беспокоить ночью. Я страшно встревожилась и, не говоря ничего Федору Михайловичу, послала нашего мальчика Петра к доктору Я. Б. фон Бретцелю, который постоянно лечил мужа, просить его немедленно приехать. К несчастию, тот уже успел уехать к больным и мог приехать только после пяти.

Федор Михайлович был совершенно спокоен, говорил и шутил с детьми и принялся читать «Новое время». Часа в три пришел к нам один господин, очень добрый и который был симпатичен мужу, но обладавший недостатком — всегда страшно спорить. Заговорили о статье в будущем «Дневнике»; собеседник начал что-то доказывать, Федор Михайлович, бывший несколько в тревоге но поводу ночного кровотечения, возражал ему, и между ними разгорелся горячий спор. Мои попытки сдержать спорящих были неудачны, хотя я два раза говорила гостю, что Федор Михайлович не совсем здоров и ему вредно громко и много говорить. Наконец, около пяти часов, гость ушел и мы собирались идти обедать, как вдруг Федор Михайлович присел на свой диван, помолчал минуты три, и вдруг, к моему ужасу, я увидела, что подбородок мужа окрасился кровью и она тонкой струей течет по его бороде. Я закричала, и на мой зов прибежали дети и прислуга. Федор Михайлович, впрочем, не был испуган, напротив, стал уговаривать меня и заплакавших детей успокоиться; он повел детей к письменному столу и показал им только что присланный номер «Стрекозы», где была карикатура двух рыболовов, запутавшихся в сетях и упавших в воду. Он даже прочел детям это стихотворение, и так весело, что дети успокоились. Прошло спокойно около часу, и приехал доктор, за которым я вторично послала. Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось кровотечение, и на этот раз столь сильное, что Федор Михайлович потерял сознание. Когда его привели в себя — первые слова его, обращенные ко мне, были:

— Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься!

Николай Николаевич Страхов:

Последние 9 лет своей жизни Федор Михайлович страдал эмфиземой вследствие катара дыхательных путей. Смертельный исход болезни произошел от разрыва легочной артерии и был случайностию, которой никто из докторов не предвидел.

Предсмертная болезнь началась в ночь с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Федор Михайлович не обратил никакого внимания. 26 января он был, по-видимому, совершенно здоров, но хотел посоветоваться с

докторами насчет кровотечения. В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом. Тотчас привезли всегдашнего доктора Федора Михайловича, Якова Богдановича Фон-Бретцеля. Уже при нем, часа через полтора после первого кровотечения, произошло второе, более сильное, причем больной потерял сознание. Когда он пришел в себя, то тотчас пожелал исповедаться и причаститься. До прихода священника он простился с женой и детьми и благословил их. После причащения почувствовал себя гораздо лучше.

Кроме Фон-Бретцеля был приглашен еще доктор А. А. Пфейфер и потом, как уже сказано, профессор Кошлаков, который был трижды, 26, 27 и 28 января.

Весь день 27 января кровотечение не повторялось, и Федор Михайлович чувствовал себя сравнительно хорошо. Очень заботился он о том, чтобы «Дневник писателя» вышел непременно 31 января. Просил Анну Григорьевну прочесть принесенные корректуры и поправить их. Потом просил читать ему газеты.

Анна Григорьевна Достоевская:

Между тем весть о тяжелой болезни Федора Михайловича разнеслась по городу, и с двух часов до позднего вечера раздавались звонки, которые пришлось привязать: приходили узнавать о здоровье знакомые и незнакомые, приносили сочувственные письма, присылались телеграммы. К больному запрещено было кого-либо допускать, и я только на две-три минуты выходила к знакомым, чтоб сообщить о положении здоровья. Федор Михайлович был чрезвычайно доволен общим вниманием и сочувствием, шепотом меня расспрашивал и даже продиктовал несколько слов в ответ на одно доброе письмо. Приехал профессор Кошлаков, нашел, что положение значительно улучшилось, и обнадежил больного, что через неделю он будет в состоянии встать с постели, а через две — совсем поправится. Он велел больному как можно больше спать; поэтому весь наш дом довольно рано улегся на покой. Так как прошлую ночь я провела в креслах и плохо спала, то на эту ночь мне постлали постель на тюфяке, на полу, рядом с диваном, где лежал Федор Михайлович, чтоб ему легче было меня позвать. Утомленная бессонною ночью и беспокойным днем, я быстро заснула, ночью несколько раз поднималась и при свете ночника видела, что мой дорогой больной спокойно спит. Проснулась я около семи утра и увидела, что муж смотрит в мою сторону.

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? — спросила я, наклонившись к нему.

— Знаешь, Аня, — сказал Федор Михайлович

полушепотом, — я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру.

— Голубчик мой, зачем ты это думаешь? — говорила я в страшном беспокойстве, — ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет, очевидно, образовалась «пробка», как говорил Кошлаков. Ради бога, не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, уверяю тебя!

— Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!

Николай Николаевич Страхов:

28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем опять полила кровь, и Федор Михайлович очень ослабел.

В это время к нему заехал А. Н. Майков и провел у него все предобеденное время, наблюдая и ухаживая за ним вместе с домашними. Разговоров не было, потому что больному было строго запрещено говорить.

Около двух часов ему было, по-видимому, лучше. Часу в пятом А. Н. Майков уехал домой обедать.

Во всю свою жизнь в решительные минуты Федор Михайлович имел обыкновение, по словам Анны Григорьевны, раскрывать наудачу то самое Евангелие, которое было с ним в каторге, и читать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он и тут и дал прочесть жене. Это было: Матф., гл. III, ст. 14: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал: «Ты слышишь — «не удерживай», — значит я умру», — и закрыл книгу. Предчувствие вскоре оправдалось. За два часа до кончины Федор Михайлович просил, чтобы Евангелие было передано его сыну, Феде.

После обеда А. Н. Майков вернулся к больному уже не один, а с женою, и при них, в $6\,{}^{1}/_{2}$ часов вечера, случилось последнее кровотечение, за которым следовало беспамятство и агония. Анна Ивановна Майкова сейчас пустилась отыскивать еще доктора и привезла с собой Н. П. Черепнина, которого нашла у одного из его знакомых. Но когда они приехали, уже наступал конец, и Н. П. Черепнину довелось только услышать последние биения сердца Федора Михайловича…

Анна Григорьевна Достоевская:

Я весь день ни на минуту не отходила от мужа; он держал мою руку в своей и шепотом говорил: «Бедная… дорогая… с чем я

тебя оставляю… бедная, как тебе тяжело будет жить!..»

Я успокаивала его, утешала надеждой на выздоровление, но ясно, что в нем самом этой надежды не было, и его мучила мысль, что он оставляет семью почти без средств. Ведь те четыре-пять тысяч, которые хранились в редакции «Русского вестника», были единственными нашими ресурсами.

Несколько раз он шептал: «Зови детей». Я звала, муж протягивал им губы, они целовали его и, по приказанию доктора, тотчас уходили, а Федор Михайлович провожал их печальным взором.

Любовь Федоровна Достоевская:

Когда священник ушел, он позвал нас в свою комнату, взял наши маленькие руки в свои, попросил мать еще раз раскрыть Библию и прочесть нам притчу о блудном сыне. Он слушал чтение с закрытыми глазами, погруженный в раздумья. «Дети, не забывайте никогда того, что только что слышали здесь, — сказал он нам слабым голосом. — Храните беззаветную веру в Господа и никогда не отчаивайтесь в его прощении. Я очень люблю вас, но моя любовь ничто в сравнении с бесконечной любовью Господа ко всем людям, созданным им. Если бы вам даже случилось в течение вашей жизни совершить преступление, то все-таки не теряйте надежды на Господа. Вы его дети; смиряйтесь перед ним, как перед вашим отцом, молите его о прощении, и он будет радоваться вашему раскаянию, как он радовался возвращению блудного сына».

Он обнял нас и благословил; плача, мы вышли из комнаты умирающего. Друзья, родственники собрались в гостиной, ибо весть об опасной болезни Достоевского распространилась уже в городе. Отец попросил их заходить друг за другом и каждому говорил дружеское слово. Силы его на глазах падали с каждым часом. Вечером началось новое кровотечение, и он стал терять сознание. Тогда открыли двери его комнаты, и все его друзья и родные вошли, чтобы присутствовать при его смерти. Стояли молча, без слез, чтобы не мешать агонии. Только моя мать тихо плакала, стоя на коленях у дивана, на котором лежал ее супруг. Странный шум, похожий на клокотание воды, вырывался из горла умирающего, грудь его приподнималась, он говорил быстро и тихо, но понять, что он говорил, было уже нельзя. Дыхание становилось все менее слышимым, слова — более редкими. Наконец, он умолк.

Позднее случалось мне присутствовать при смерти родных и друзей, но ни одна не была столь светлой, как кончина моего отца. То была истинно христианская кончина, какую желает всем

верующим христианская церковь — смерть без боли и без стыда. Достоевский страдал только от слабости; он потерял сознание лишь в последний момент. Он видел приближение смерти, не боясь ее. Он знал, что не зарыл свой талант и всю жизнь хорошо служил Богу. Он был готов без боязни предстать перед вечным отцом, надеясь, что Господь в награду за все, что он выстрадал, за все, что он вытерпел в этой жизни, поручит ему создать какое-то другое великое произведение, выполнить иную великую задачу.

Николай Николаевич Страхов:
Федор Михайлович скончался в 8 часов 38 минут вечера.

Алексей Сергеевич Суворин:
Я смотрел в драме Гюго г-жу Стрепетову, в роли венецианской актрисы, которая умирает от руки возлюбленного, которому она самоотверженно приготовила счастье с своей соперницей. Смерть предстала в реальном образе — так умирают не на сцене, а в жизни. Потрясенный этою игрою, я приезжаю домой, и в передней меня встречают известием, что Достоевский умер. Я бросился к нему. Это было за полночь…

Я вбежал на лестницу, на которой стояли три-четыре фигуры, в некотором расстоянии одна от другой. Зачем они тут? Мне показалось, что они хотели мне что-то сказать. У самой двери еще фигура, высокая, рыжая, в длинной чуйке. Когда я взялся за звонок, она вдруг взмолилась: «Порекомендуйте меня. Там есть гробовщики, но они не настоящие». — И фигура проскользнула за мной в переднюю. «Ступай, ступай!» — «Пожалуйста, скажите!» — «Сказано, скажу. Ступай». Этими фразами обменялись гробовщик и человек, отворивший мне дверь. Когда умрешь, вот это самое будет и у тебя, эти же фигуры будут ломиться в двери, подумалось мне невольно и в то же время стало несомненным, что смерть действительно вступила в этот дом. Я вошел в темную гостиную, взглянул в слабо освещенный кабинет…

Длинный стол, накрытый белым, стоял наискосок от утла. Влево от него, к противоположной стене, на полу лежала солома и четыре человека, стоя на коленях, вокруг чего-то усердно возились. Слышалось точно трение, точно всплески воды. Что-то белое лежало на полу и ворочалось, или его ворочали. Что-то привстало, точно человек. Да, это человек. На него надевали рубашку, вытягивали руки. Голова совсем повисла. Это он, Федор Михайлович, его голова. Да он жив? Но что это с ним делали? Зачем он на этой соломе? В каторге он так леживал, на такой же соломе, и считал мягкой подобную постель. Я решительно не понимал. Все это точно мелькало передо мной, но я глаз не мог

оторвать от этой странной группы, где люди ужасно быстро возились, точно воры, укладывая награбленное: Вдруг рыдания сзади у меня раздались. Я оглянулся: рыдала жена Достоевского, и я сам зарыдал… Труп подняли с соломы те же самые четыре человека; голова у него отвисла навзничь; жена это увидала, вдруг смолкла и бросилась ее поддерживать. Тело поднесли к столу и положили. Это оболочка человека — самого человека уже не было…

Сохрани вас Боже видеть такую ужасную картину, какую я видел. Ни красок, ни слов нет, чтоб ее рассказать. Реализм должен остановиться в своих стремлениях к правде на известных гранях, чтоб не вызывать в душе ужаса, проклятий и отчаяния..

Похороны

Любовь Федоровна Достоевская:

Когда после лихорадочной ночи я проснулась и с покрасневшими от слез глазами вошла в комнату отца, я нашла его лежащим на столе со сложенными на груди руками, в которые только что вложили икону. Как многие нервные дети, я боялась покойников и отказывалась подходить к ним, но перед отцом я не испытывала страха. Казалось, что он спит на своей подушке, тихо улыбаясь, словно видит что-то очень хорошее. Около мертвого сидел уже художник и рисовал Достоевского в его вечном сне. Утром в газетах появилось извещение о смерти моего отца, и все друзья собрались, чтобы присутствовать на первой панихиде. Делегации студентов различных высших учебных заведений Петербурга последовали за ними. Они пришли вместе со священником, прикрепленным к этим заведениям, и сопровождали его молитвы своим пением. Слезы катились у них по щекам; они всхлипывали, взглядывая на безжизненное лицо любимого писателя. Мать бродила, как тень, с затуманенными от слез глазами. Она так плохо сознавала, что произошло, что когда явился придворный сообщить ей от имени Александра II о назначении ей государственной пенсии и принятии решения о воспитании ее детей за государственный счет, она радостно вскочила, чтобы передать это приятное известие своему супругу. «В этот момент я поняла в первый раз, что мой муж умер и что отныне я должна жить одинокой и что теперь у меня нет больше друга, с которым я могла бы делиться радостью и горем», — рассказывала она мне позже.

Иван Иванович Попов:

На другой день вечером я пошел на панихиду. Небольшая, вероятно из четырех комнат, квартира в третьем или четвертом этаже, с маленькой прихожей, скромно меблированная, с кабинетом, обитым клеенкой, была полна народу. Посредине кабинета лежал Федор Михайлович, покрытый покровом. Рядом стоял открытый дубовый гроб. Монашка читала псалтырь. У стола, у стен и на покрове лежали венки и цветы. Григорович распоряжался.

Екатерина Павловна Леткова-Султанова:

В последний раз я видела Достоевского в гробу. И это был опять другой Достоевский. Ничего от живого человека: желтая кожа на костяном лице, едва намеченные губы и полный покой.

Страстность его недавней полемики по поводу речи на Пушкинском празднике, пафос его верований и упований — и совершенно необычайный дар жечь сердца людей — были плотно закрыты костяной маской…

Анатолий Федорович Кони:

Я поехал поклониться его праху. На полутемной, не приветливой лестнице дома на углу Ямской и Кузнечного переулка, где в третьем этаже проживал покойный, было уже довольно много направлявшихся к двери, обитой обтрепанной клеенкой. За нею темная передняя и комната стою же скудной и неприхотливой обстановкой, которую я уже видел однажды. Федор Михайлович лежал на невысоком катафалке, так что лицо его было всем видно. Какое лицо! Его нельзя забыть… На нем не было ни того как бы удивленного, ни того окаменело-спокойного выражения, которое бывает у мертвых, окончивших жизнь не от своей или чужой руки. Оно говорило — это лицо, оно казалось одухотворенным и прекрасным. Хотелось сказать окружающим: «Nolite flere, non est mortuus, sed dormit»[24]. Тление еще не успело коснуться его, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной, лучшей жизни как будто бросала на него свой отблеск… Я долго не мог оторваться от созерцания этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: «Ну да! Это так — я всегда говорил, что это должно быть так, а теперь я знаю…»

Вблизи гроба стояла девочка, дочь покойного, и раздавала цветы и листья со все прибывавших венков, и это чрезвычайно трогало приходивших проститься с прахом человека, умевшего так тонко и с такой «проникновенной» любовью изображать детскую душу.

Анна Григорьевна Достоевская:

На другой день после кончины мужа в числе множества лиц, нас посетивших, был знаменитый художник И. Н. Крамской. Он по собственному желанию захотел нарисовать портрет с усопшего в натуральную величину и исполнил свою работу с громадным талантом. На этом портрете Федор Михайлович кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимся и просветленным лицом, как бы уже узнавшим неведомую никому тайну загробной жизни.

Кроме И. Н. Крамского, было несколько художников, фотографов и рисовавших и снимавших с усопшего портреты для иллюстрированных изданий. Посетил нас знаменитый ныне скульптор Леопольд Бернштам, тогда еще никому не известный, и снял с лица моего мужа маску, благодаря которой имел потом

возможность сделать поразительно похожий его бюст.

Николай Николаевич Страхов:

Похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда еще не бывало на Руси таких похорон.

Всего яснее покажут дело цифры: в погребальной процессии, при выносе тела из квартиры (Кузнечный переулок, № 5) в церковь Св. Духа, в Невской Лавре, было несено 67 венков и пели 15 хоров певчих. 67 венков — это значит 67 различных депутаций, 67 различных обществ и учреждений, пожелавших оказать почести умершему. 15 хоров певчих — значит 15 различных кружков и ведомств, имевших возможность для этого снарядить певчих. Каким образом составилась такая громадная манифестация — это составляет немалую загадку. Очевидно, она составилась вдруг, без всякой предварительной агитации, без всяких подготовлений, уговоров и распоряжений, потому что никто не ожидал смерти Достоевского, и время между неожиданным известием о ней и похоронами (три дня) было слишком коротко для каких-нибудь обширных приготовлений. Следовательно, почти каждая из 67 депутаций имеет свою особую историю, независимую от других. Свойство и смысл тех побуждений, по которым шли эти депутации, — вот что важно в высшей степени и о чем трудно говорить с определенностию, для чего требовалось бы больше сведений, чем мы имеем.

Известно, однако, что в разных местах города, в учебных заведениях, в церквах — служились по Достоевскому панихиды по собственному желанию преподавателей и духовных лиц. Известно, что лица иных официальных ведомств едва успевали по краткости времени получить надлежащее разрешение для участия в церемонии, и были случаи, что даже обходились без разрешения. Накануне выноса Анне Григорьевне было известно о 8-ми депутациях, желавших нести венки, и она с радостию думала о таком великом почете, оказываемом покойному мужу. Между тем к минуте похорон оказалось налицо 72 депутации. Главная масса провожавших состояла из разнообразнейших классов публики, и очень было заметно множество молодых людей, мужчин и женщин. Характер самой процессии был удивительно ясен. Она была несколько беспорядочна вследствие поспешности, с которою собралась, но без всякой тени волнения, без признаков того возбуждения, которое обнаруживается, когда

толпа делает демонстрацию. Это была настоящая похоронная процессия. И такой же спокойный, чистый, грустный характер имели все обряды погребения и те речи, которые были сказаны в церкви и на могиле.

Михаил Александрович Александров:

…Вокруг праха писателя произошло необычайное движение образованного русского общества, во главе которого стал тогдашний министр внутренних дел граф М. Т. Лорис-Меликов, по представлению которого ныне в Бозе почивающий император Александр Николаевич поспешил, между прочим, утешить осиротевшую семью прославившего свое отечество писателя, лишившуюся своего кормильца, обеспечением материального существования ее чрез назначение ей пожизненной пенсии из государственных средств. Великие князья, министры и масса иных высокопоставленных лиц приезжали поклониться праху мыслителя, много пострадавшего в своей жизни, и тут, возле его гроба, смешивались с разношерстною толпою еще, конечно, более многочисленных простых смертных почитателей его… Провинция принимала участие в выражении соболезнования к большой утрате присылкою множества телеграмм.

Никогда Кузнечный переулок, где находилась квартира почившего, не видал у себя столь блестящих съездов и вообще такого многолюдства, как в эти дни! Квартира эта сделалась общественным достоянием и с утра и до поздней ночи не затворялась… Небольшая плеяда наших лучших писателей составила из себя комитет распорядителей похорон, с Д. В. Григоровичем во главе, который и принял на себя все хлопоты по этому предмету, освободив от них расстроенную вдову покойного.

31-го января вышел в свет «Дневник писателя» и в тот же день был весь распродан. На другой день появилось второе издание его, с траурною рамкою вокруг первой страницы.

Все почитатели Федора Михайловича, приходившие поклониться его праху, получали на память листки среднего книжного формата, на которых, в густой траурной рамке, воспроизведено было литографиею факсимиле писателя: «Федор Достоевский».

Из дневника Ильи Федоровича Тюменева:

31 января, суббота.

Часов в 10 утра подъехали мы… ко Владимирской церкви и принуждены были оставить извозчика: весь Кузнечный и даже часть Владимирской площади были покрыты народом. По

Кузнечному стройными линиями стояли уже десятка два или три венков, вплоть до Самого дома, где находилась квартира Федора Михайловича.

У одного венка густою толпою стояли гимназисты. (Д. Н. Соловьев рассказывал, что ученики их первой гимназии, несмотря на запрещение директора, собрали деньги на венок и старшие из них ушли тайком из гимназии, чтобы участвовать в процессии.) Другой венок окружали ученики реального училища. Тут же неподалеку был венок от Бестужевских курсов, окруженный дамами и девицами. Далее в глубину, по направлению к дому, находился венок от Общества выставок, около которого о чем-то хлопотал И. Н. Крамской, тут же был Лемох и другие художники. За ними стоял венок от артистов русской оперы, и подле него виднелась длинная фигура В. И. Васильева 1-го, рассуждавшего о чем-то с Морозовым и Мельниковым (потом рассказывали, будто бы Мельников получил от Кистера выговор, что пошел на вынос без разрешения: он мог там простудиться, осипнуть, заболеть и нарушить репертуар). За оперным стоял венок от русской драматической труппы. Здесь мы увидели Бродникова, Сазонова, Петипа и др. Тут же стоял Каразин с венком от Клуба художников, уже дышавшего на ладан и существовавшего чуть ли не в лице одного Николая Николаевича, который, кажется, перевез к себе и всю движимость Клуба за неимением средств платить Павловой за помещение, — остальные члены разбрелись «розно»…

С шумом и громким говором прибыли студенты университета, неся свой громадный венок, украшенный пальмовыми ветвями наподобие лиры, и стали впереди нас. Они оканчивали 4-ю группу по церемониалу, мы начинали 5-ю. Распорядителем у них был любимый ими профессор Орест Федорович Миллер. Из толпы студентов выделился хор и занял место в цепи, составленной нами и студентами; хор стал позади своего венка, к нему присоединилось человек двадцать наших певцов…

Между тем публика все прибывала. Часы показывали уже четверть двенадцатого. В глубине от дома послышалось пение: гроб вынесли из квартиры. «Вперед!» — раздались голоса; венки поднялись, толпа заколыхалась, и через две-три минуты процессия тронулась.

На колокольне Владимирской церкви загудел колокол, и почти вслед за первым ударом рядом с нами раздалось торжественное «Святый Боже»: пел университетский хор, подкрепленный десятками голосов из окружающей, движущейся толпы. При первых звуках молитвы головы всех обнажились.

Медленные печальные звуки «Святый Боже» так сильно хватали за душу, что у многих из нас к горлу подступили слезы…

Хотя пение не умолкало до самой Лавры, но того потрясающего впечатления оно уже не производило. По мере движения и шапки при новом запевании «Святый Боже» стали сниматься все туже и туже, а в самой цепи на Невском стали и покуривать (как будто нельзя было отходить на это время к панели). Вскоре и сами певцы перестали во время пения снимать шапки, и, в конце концов, молитва в шапках, под гул и разговоры окружавшей толпы, над которой носились облачка папиросного дыма, обратилась в какую-то холодную формальность, занимавшую разве одного только дирижера, который почему-то именно теперь яро размахивал руками, пятясь задом во время пения. Словом, теперь впечатление куда-то расплылось и точно испарилось, но первого момента «Святый Боже» на Кузнечном я не забуду никогда. В тот момент все действительно как-то ощутили веяние Божества, и верующие, и неверующие, это чувствовалось всеми, а чувство подчас является тоньше и прозорливее самого зрения глазами.

У Владимирской церкви была отслужена лития, процессия на некоторое время остановилась. Я в это время встал в цепь вместе с двумя другими нашими учениками и все время до Лавры шел уже боком, держась за руки с соседями. Вокруг самого гроба род цепи составляли гирлянды из еловых ветвей, которую несли на палках, как один громадный венок, окружавший и гроб, и провожающих.

Погода была прекрасная: 1 или 2° тепла; ветра ни малейшего, сырости под ногами тоже не было. День выдался исключительно теплый, точно по заказу для проводов Федора Михайловича. На другой же день настал опять мороз и задул ветер; ранее такого тепла также не было.

Невский был буквально запружен народом. Экипажи могли двигаться только на узком пространстве для двух рядов, остальная часть проспекта была занята процессией и толпами народа, сплошною стеною стоявшего по сторонам…

Процессия растянулась на огромное расстояние и походила на какое-то триумфальное шествие: гроб только что выносили на Невский, а первые венки подходили уже к Знаменью. Тротуары, окна, балконы были покрыты зрителями. На остановленных вагонах конки вверху происходила форменная давка. Во время движения процессии к ней присоединились еще два венка из Москвы от студентов Московского университета и от Катковского лицея.

Венок от русской драматической труппы несла вместе с

Сазоновым М. Г. Савина, и эта дань уважения к покойному пришлась многим по сердцу. Молодежь вела себя безукоризненно, вполне покойно и прилично (если не считать курения, но в нем повинны и артисты, и многие из публики). У Знаменья была отслужена новая лития.

На время литии наше пение замолкало и все останавливались; затем снова крики: «Вперед!», снова «Святый Боже», и процессия трогалась в путь.

На Лаврской площади я вышел из цепи и пропустил гроб и всю процессию. Перед гробом несли венки от литераторов и редакций разных журналов. (Венок «Русской речи» помещался на хоругви, которую, как говорили потом, поставили в Духовской церкви на хорах, и она красиво склонялась над толпою молящихся.) Были венки от «Нового времени», «Петербургского листка», «Всемирной иллюстрации» и от некоторых других, которых я уже не помню.

Сам гроб, вместе с провожавшим его народом, как я уже говорил, был очень красиво окружен зеленою гирляндой, тянувшейся от венка Славянского общества, несенного впереди самого гроба.

Тут я земным поклоном простился с дорогим умершим и долго провожал глазами золотую, покрытую венками крышку гроба, которая высоко в воздухе как бы царила над окружающей толпой…

Я повернулся и пошел домой. На углу против Лавры какой-то писатель продавал по полтиннику пятикопеечные Везенберговские карточки покойного.

Михаил Александрович Александров:

1-го февраля 1881 г. Петербург был свидетелем необычайного похоронного шествия с останками писателя — частного человека, проводить которого в последнее жилище — на кладбище Александро-Невской лавры — собралась более чем десятитысячная толпа интеллигентного люда всех слоев общества. Несколько десятков депутаций от разных учреждений, петербургских и иногородных, с колоссальными венками, прикрепленными к шестам были расставлены впереди печального кортежа; они заняли собою более полуверсты протяжения. Затем следовали певчие и духовенство, за которыми должна была следовать колесница с гробом; но гроб с телом Федора Михайловича совсем не пришлось ставить на колесницу, так что она ехала позади, гроб же всю дорогу несли на плечах почитатели его, во множестве теснившиеся вокруг и наперерыв добивавшиеся сменить кого-либо из утомившихся доброхотных носильщиков,

состоявших также из представителей всех классов общества. Этой чести удостоился и я… одновременно со мною, в числе носильщиков, я встретил П. В. Быкова, известного поэта, в то время состоявшего еще ответственным редактором журнала «Дело», с которым обменялись несколькими замечаниями по поводу совершавшегося… В числе несших гроб долго видел я князя В. П. Мещерского. За колесницею шло множество частных лиц и воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений. Шествие, по обыкновению, замыкалось вереницею пустых карет, так что все оно растянулось более чем на версту. Простой люд, останавливавшийся полюбоваться на эту грандиозную картину, разумеется, прежде всего осведомлялся о том, кого хоронят, и с удивлением узнавал, что то был не генерал или иной большой начальник, не знатный вельможа, а всего только писатель, то есть сочинитель нескольких книг.

— Стало быть, книги-то хороши сочинил? — заключал свои расспросы уяснивший наконец себе простолюдин, что такое писатель, сочинитель.

— Стало быть, так! — заключал объяснявший.

С каждым шагом процессии по направлению к Лавре толпа, сопровождавшая ее, становилась многолюднее. Во всех высших и в большинстве средних учебных заведениях были прекращены уроки, и собравшиеся на них студенты и воспитанники колоннами направлялись к Невскому проспекту и примыкали к процессии. В продолжение всего пути в группах студентов, примкнувших к своим официальным депутациям, раздавалось стройное пение «Святый Боже»…

Между тем процессия подвигалась очень медленно и лишь около двух часов дня достигла места назначения.

Любовь Федоровна Достоевская:

Согласно обычаю, вдова и сироты следуют за гробом пешком. Так как путь до Александро-Невской лавры долгий, и наши детские силы были слишком незначительны, друзья семьи иногда сажали нас в экипаж и везли вдоль процессии. «Никогда не забывайте прекрасные похороны, устроенные Россией Вашему отцу», — говорили они нам. Когда, наконец, гроб приблизился к монастырю, из больших ворот вышли монахи и пошли навстречу моему отцу, который теперь должен был покоиться среди них. Подобную честь они оказывали только царям; они оказали ее также знаменитому русскому писателю, верному и почтительному сыну православной церкви…

Было слишком поздно начинать отпевание, и пришлось отложить его на следующий день. Гроб был установлен посреди

церкви Святого Духа; после краткого богослужения мы вернулись домой, изнемогающие от усталости и волнения. Друзья отца остались на некоторое время наблюдать за толпой, стремившейся преклонить колени у гроба и помолиться. Наступил вечер, стемнело; постепенно рассеялась толпа почитателей и друзей отца, готовых вновь явиться на следующий день на отпевание. Но Достоевский не остался один. Петербургские студенты не покинули его; они решили бодрствовать рядом с обожаемым писателем последнюю его ночь на земле. Что делали они в церкви, рассказал нам позже петербургский митрополит, живший, как принято, в Александро-Невской лавре. Через несколько дней после погребения моя мать посетила его, чтобы поблагодарить за великолепные похороны, которые устроили монахи отцу, и взяла нас с собой. Митрополит благословил нас и рассказал моей матери о своих впечатлениях о ночном дежурстве студентов: «В субботу вечером я отправился в церковь Святого Духа, чтобы поклониться праху Достоевского. Монахи задержали меня у дверей и сказали, что в церкви, которую я считал пустой, полно людей. Тогда я направился наверх в маленькую часовню, находящуюся на втором этаже соседней церкви, окна которой выходят в церковь Святого Духа. Я провел там часть ночи, наблюдая за студентами, не видимый им. Они молились, стоя на коленях, с плачем и рыданиями. Монахи хотели читать у гроба псалмы, но студенты взяли у них псалтырь и по очереди читали псалмы. Никогда еще я не слышал подобного чтения псалмов! Студенты читали их дрожащим от волнения голосом, вкладывая душу в каждое произносимое ими слово. И мне еще говорят, что эти молодые люди атеисты и презирают нашу церковь. Какой же магической силой обладал Достоевский, чтобы так вновь обратить их к Богу?»…

В день погребения, воскресенье, 1 февраля, все почитатели Достоевского, занятые в течение недели, воспользовались праздничным днем, чтобы пойти в церковь и помолиться за упокой его души. С раннего утра огромная толпа заполнила мирную Александро-Невскую лавру, расположенную на берегу Невы и представляющую собой маленький городок с многочисленными церквами, тремя кладбищами, садами, духовной семинарией и академией. Бедные монахи, увидев, как растет толпа, как заполняет она сады и кладбища, как взбирается на памятники и решетки, перепугались и позвали на помощь полицию, которая немедленно закрыла ворота. Пришедшие позднее остановились на большой площади, расположенной перед монастырем, и оставались там до окончания отпевания, в надежде тем или иным способом проникнуть за ограду или, по

крайней мере, услышать церковное пение, когда гроб понесут на кладбище. В девять часов утра мы подъехали в экипаже к главным воротам и были очень удивлены, найдя их закрытыми. Моя мать в трауре вышла из экипажа, держа нас за руки. Полицейский офицер преградил нам путь.

— Больше не пропускают! — заявил он строго.

— Как это не пропускают? — спросила удивленно моя мать. — Я вдова Достоевского и меня ждут в церкви, чтобы начать отпевание.

— Вы — шестая вдова Достоевского, требующая, чтобы ее пропустили. Довольно лжи! Я никого больше не пропущу! — ответил в ярости полицейский.

Мы в замешательстве оглядывались и не знали, что делать. К счастью, нашего прибытия ожидали друзья, они бросились к нам и провели нас. С большим трудом нам удалось пробраться через толпу, заполнившую монастырь, и с еще большим трудом проникнуть в церковь, битком набитую людьми. Когда мы, наконец, пробрались к месту, оставленному для нас, началось отпевание, которое было прекрасным. Пел митрополичий хор; служили архиепископы.

Николай Николаевич Страхов:

Церковь Св. Духа была удивительно красива во время заупокойной обедни. Не только гроб, стоявший на высоком катафалке, был покрыт цветами и венками, но огромные венки подымались еще со всех сторон по сторонам и даже по стенам и давали всему храму особенный вид, необыкновенно прекрасный. Теснота была большая, но, несмотря на то, тишина была вполне благоговейная.

Любовь Федоровна Достоевская:

И все же была пропущена важная часть православного отпевания. В России гроб на протяжении всего обряда остается открытым; в конце его к нему приближаются родные и друзья и прощаются с покойным, целуя его. Гроб Достоевского оставался закрытым. В день похорон дядя Иван рано утром отправился в монастырь в сопровождении Победоносцева, только что назначенного нашим опекуном. Они открыли гроб и нашли Достоевского сильно изменившимся. Был уже четвертый день после смерти; друзья отца, несшие накануне его гроб, ускорили, из-за тряски, процесс разложения, начавшийся и без того раньше времени из-за страшной жары в первые два дня в комнате покойного. Опасаясь, что изменившееся лицо покойного произведет тяжелое впечатление на вдову Достоевского и его

детей, Победоносцев запретил монахам открывать гроб. Моя мать никогда не смогла простить ему этот запрет. «Что из того, что я увидела бы его изменившимся? — говорила она с горечью. — Ведь он всегда был моим дорогим, дорогим мужем! И он ушел в могилу без моего прощального поцелуя, без моего благословения!»

Анна Григорьевна Достоевская:

После отпевания гроб Федора Михайловича был поднят и понесен из церкви поклонниками таланта, между которыми особенно выделялся своим взволнованным видом молодой философ Вл. С. Соловьев.

Публика запрудила все Тихвинское кладбище, люди взобрались на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки, и шествие медленно подвигалось, проходя под склонившимися с двух сторон венками разных депутаций. После погребения над открытой могилой стали произносить речи. Первым говорил бывший петрашевец А. И. Пальм. Затем говорили: Ор. Ф. Миллер, проф. К. Н. Бестужев-Рюмин, Вл. Соловьев, П. А. Гайдебуров и многие другие. Над открытой могилой говорилось много также стихотворений, посвященных памяти усопшего. Публика накрыла принесенными венками гроб почти до верхней части склепа. Остальные венки разрывались на части, и присутствовавшие уносили листочки и цветки на память. Только к четырем часам могила была заделана, и я с детьми, ослабевшими от слез и голода, поехала домой. Толпа же долго еще не расходилась.

Иван Иванович Попов:

Разошлись от могилы, когда уже были зажжены фонари. Навстречу нам попадались группы людей, которые после службы шли отдать последний долг писателю. Литературные поминки по Достоевском продолжались вплоть до 1 марта, которое оборвало эти воспоминания о нем.

Слава

Из дневника Елены Андреевны Штакеншнейдер, *1880 г.:*

Славу же Достоевскому сделала не каторга, не «Записки из Мертвого дома», даже не романы его, по крайней мере не главным образом они, а «Дневник писателя».

«Дневник писателя» сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодежи, да и не одной молодежи, а всех мучимых вопросами, которые Гейне назвал проклятыми.

Николай Николаевич Страхов:

В последние годы, особенно с начала «Дневника писателя», он был завален перепиской и замучен посетителями. К нему писали и шли люди совершенно незнакомые, со всех концов Петербурга и краев России. Приходили с просьбами о помощи, так как он усердно помогал бедным и принимал участие в чужих затруднениях и несчастиях; но также беспрерывно приходили с выражением своего поклонения, с вопросами, с жалобами на других и с возражениями против него. Такого же рода были и письма. Нужно было разговаривать, расспрашивать, отписываться, объяснять. Популярность его радовала; много он встретил заявлений, которые показывали, что слова его не пропали даром; много узнал людей, принесших ему отраду своими душевными качествами. Эти сношения он считал прямым долгом поддерживать и направлять в хорошую сторону. Особенно он был внимателен к молодым людям, к студентам, к курсисткам.

Затем — сыпались приглашения на заседания всяких обществ, на обеды по разным случаям, на литературные чтения с благотворительной целью.

Михаил Александрович Александров:

В то время в Петербурге нередко давались литературные вечера с благотворительною целью — большею частию в пользу недостаточных из учащейся молодежи, и Федор Михайлович принимал в них самое живое участие, которое главным образом привлекало на эти вечера публику. Одним из таких вечеров воспользовался я, чтобы посмотреть и послушать, хотя со стороны, любезного душе человека. Это было в апреле 1880 года, в Фомино воскресенье…

Когда по программе дошла очередь до выхода на эстраду Федора Михайловича, в зале водворилась необыкновенная тишина, свидетельствовавшая о напряженном внимании, с

которым присутствовавшие устремляли свои взоры на эстраду, где вот-вот появится автор «Братьев Карамазовых», писатель давно знаменитый, но недавно признанный таковым… И вот, когда этот момент наступил, среди напряженной тишины раздался взрыв рукоплесканий, длившийся, то чуть-чуть ослабевая, то вновь вдруг возрастая, около пяти минут. Федор Михайлович, деловою поступью вышедший из-за кулис и направлявшийся к столу, стоявшему посредине эстрады, остановился на полдороге, поклонился несколько раз приветствовавшему его партеру и продолжал, тою же деловою поступью, путь к столу; но едва он сделал два шага, как новый взрыв рукоплесканий остановил его вновь. Поклонившись опять направо и налево, Федор Михайлович поспешил было к столу, но оглушительные рукоплескания продолжались и не давали ему сесть за стол, так что он еще с минуту стоял и раскланивался. Наконец, выждав, когда рукоплескания несколько поутихли, он сел и раскрыл рукопись; но тотчас же, вследствие нового взрыва рукоплесканий, должен был снова встать и раскланиваться. Наконец, когда рукоплескания стихли, Федор Михайлович принялся читать. Читал он в тот вечер не напечатанные в «Русском вестнике» главы из «Братьев Карамазовых»…

Нечего и говорить, что публика горячо аплодировала чтению Федора Михайловича, когда он кончил назначенное по программе, и просила его еще что-нибудь прочесть. Несмотря на продолжительность только что оконченного чтения, Федор Михайлович чувствовал себя настолько бодрым, что охотно исполнил эту просьбу. Перед многочисленным собранием публики он чувствовал себя так же хорошо и держал себя так же свободно, как бы в дружеском кружке; публика в свою очередь, чутко отличая искренность в его голосе, относилась к нему так же искренно, как к давно знакомому своему любимцу, так что, в отношении тона, овации публики Федору Михайловичу существенно отличались от оваций какой-нибудь приезжей знаменитости из артистического мира вообще.

Федор Михайлович Достоевский. *Из письма к А. Г. Достоевской 8 июня 1880 г.:*

Утром сегодня было чтение моей речи в «Любителях». Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать — ничто не помогало: восторг,

энтузиазм (все от «Карамазовых»!). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Все, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись *друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить.* Порядок заседания нарушился: все ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — все это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!» «Пророк, пророк!» — кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. «Вы гений, вы более чем гений!» — говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя — *есть не просто речь, а историческое событие!* Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений, «Да, да!» — закричали все и вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество люб<ителей> рос<сийской> словесности единогласно избирает меня своим почетным членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи читать не будет, потому что все сказано и все разрешило великое слово нашего гения — Достоевского. Однако мы все его заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и

увенчали меня при всей зале венком: «За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!» Все плакали, опять энтузиазм. Городской глава Третьяков благодарил меня от имени города Москвы. — Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру.

Александр Васильевич Круглов (1853–1915), *писатель:*

Я шел по Невскому проспекту с медиком-студентом. Навстречу нам попался Достоевский. Студент быстро снял фуражку.

— Вы разве знаете Федора Михайловича? — спросил я.

— Лично я не знаком с ним, — ответил студент. — Я ему *не поклонился,* я обнажил перед ним голову, как это я делаю всегда, когда прохожу в Москве мимо памятника Пушкина.

Краткая летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского

1821. 30 октября (11 ноября по н. ст.). В Москве на улице Новая Божедомка (ныне ул. Достоевского, д. 2), в казенной квартире лекаря Мариинской больницы для бедных Московского воспитательного дома родился Федор Михайлович Достоевский. Отец Михаил Андреевич (1789–1839), штаб-лекарь, мать Мария Федоровна (урожд. Нечаева; 1800–1837). Кроме Федора и старшего брата Михаила в семье родилось еще пятеро детей.

1821. 4 ноября. Крестины Достоевского.

1834. Достоевские Федор и Михаил поступают в пансион Л. И. Чермака на Новой Басманной ул.

1837. 27 февраля. Умирает мать Достоевского.

1837. В марте Достоевский узнает о гибели Пушкина.

1837. Май. Отъезд Достоевского с отцом и старшим братом в Петербург для поступления в Главное инженерное училище.

1839. 6 июня. Умирает М. А. Достоевский.

1841. 12 августа. Достоевский произведен в полевые инженер-прапорщики и переведен в нижний офицерский класс. Получает возможность жить вне стен Инженерного училища. Снимает квартиру на Караванной улице близ Манежа.

1844. Январь. Достоевский переводит «Евгению Гранде» Бальзака. Зимой задуман роман «Бедные люди».

1844. 19 октября. Достоевский выходит в отставку «по домашним обстоятельствам».

1845. Конец мая. Достоевский читает роман «Бедные люди» Д. В. Григоровичу. Тот советует показать роман Некрасову и относит ему рукопись.

1846. Январь. Выходит «Петербургский сборник», издаваемый Н. А. Некрасовым, в котором опубликован роман Достоевского «Бедные люди».

1846. Февраль. В «Отечественных записках» опубликована повесть «Двойник».

1846. Октябрь. В № 10 «Отечественных записок» напечатан рассказ Достоевского «Господин Прохарчин».

1846. Декабрь. Достоевский работает над «Неточкой Незвановой».

1847. Январь. Выходит № 1 «Современника», где опубликован «Роман в 9 письмах». Достоевский бывает на «пятницах» М. В. Петрашевского, пользуется его библиотекой.

1847. Октябрь. В «Отечественных записках» начинает

печататься повесть Достоевского «Хозяйка». Роман «Бедные люди» выходит отдельным изданием.

1848. Январь. Выходит № 1 «Отечественных записок» с рассказом Достоевского «Чужая жена».

1848. Февраль. В № 2 «Отечественных записок» — повесть «Слабое сердце».

1848. Декабрь. Выходит № 12 «Отечественных записок» с повестью «Белые ночи» и рассказом «Ревнивый муж». Достоевский сближается со Н. А. Спешневым… Под руководством Спешнева организуется особое тайное общество, куда вошли наиболее решительные петрашевцы: Достоевский, Н. А. Мордвинова, Н. А. Момбелли, П. Н. Филиппов, Н. П. Григорьев, В. А. Милютин.

1849. Январь. В № 1 «Отечественных записок» начинает публиковаться роман Достоевского «Неточка Незванова».

1849. 23 апреля. Рано утром Достоевского арестовывают.

1849. Апрель — ноябрь. Следствие по делу Петрашевского. Достоевский находится в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости.

1849. 22 декабря. Приговор военно-судной комиссии: «…за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, — лишить … чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием». Казнь на Семеновском плацу. Приостановка казни и чтение рескрипта о помиловании.

1850. Январь. Достоевский в дороге из Петербурга в Тобольск. В Тобольске его и Дурова посещают жены декабристов: Н. Д. Фонвизина и П. Е. Анненкова с дочерью. Фонвизина дарит Достоевскому Евангелие со спрятанными в переплете 20 рублями.

1850. 23 января. Достоевский и Дуров прибывают в Омскую крепость.

1850–1854. Достоевский — каторжанин Омской крепости.

1854. 23 января. Достоевский выходит из острога. Зачислен на службу в войска Отдельного сибирского корпуса рядовым.

1854. Февраль. Достоевский отправляется в Семипалатинск, в 7-й Сибирский линейный батальон.

1854. Весна. Достоевский знакомится с семьей Исаевых: А. И. Исаевым и его женой Марией Дмитриевной.

1855. Март. В связи с «высочайшим манифестом», ознаменовавшим восшествие на престол Александра II, опубликован приказ о «льготах и милостях» к «впавшим в преступления лицам Военного ведомства».

1855. 4 августа. Умер А. И. Исаев. Достоевский всячески старается помочь вдове.

1856. Знакомство и дружба с Ч. Ч. Валихановым.

1855. 18 ноября. Рядовой Достоевский произведен в унтер-офицеры.

1856. 26 сентября. Достоевский произведен в прапорщики.

1856. 26–30 ноября. Достоевский делает официальное предложение М. Д. Исаевой и получает ее согласие на брак.

1857. 6 февраля. Достоевский венчается с М. Д. Исаевой.

1858. Достоевский получает аванс от «Русского слова», ведет переговоры с «Русским вестником». Достоевский подает прошение об отставке.

1858. 31 октября. М. М. Достоевский получает разрешение на издание журнала «Время».

1859. Март. В № 3 «Русского слова» опубликована повесть «Дядюшкин сон». Достоевский получает отставку. Ему разрешен въезд в С.-Петербургскую и Московскую губернии. Установлен секретный надзор. Местом жительства Достоевский избирает Тверь.

1859. 19 августа. Достоевский с семьей приезжает в Тверь.

1859. Ноябрь. Достоевскому разрешено иметь жительство в Петербурге.

1859. 16 декабря. Достоевский с семьей приезжает в Петербург.

1860. Сентябрь. Выходят «Сочинения Ф. М. Достоевского» в двух томах. В газете «Русский мир» опубликованы «Введение» и 1-я глава «Записок из Мертвого дома».

1861. Январь. Выходит № 1 журнала «Время», где помещена первая часть романа «Униженные и оскорбленные». Продолжается публикация «Записок из Мертвого дома» в «Русском мире».

1862. «Записки из Мертвого дома» выходят отдельным изданием.

1862. 7 июня. Достоевский в первый раз выезжает за границу. В Висбадене играет в рулетку.

1863. Февраль. Достоевский избран в члены комитета Литературного фонда и становится его секретарем. Знакомится с А. П. Сусловой.

1863. 24 мая. «Высочайшее повеление» о «прекращении» издания журнала М. М. и Ф. М. Достоевских «Время».

1863. Август. Выезжает за границу для встречи с А. П. Сусловой. Путешествует с ней в Италию.

1864. Январь. М. М. Достоевский получает разрешение издавать журнал «Эпоха». В марте выходит сдвоенный номер журнала с «Записками из подполья» (окончание в № 4).

1864. 15 апреля. Умирает М. Д. Достоевская.

1864. 10 июня. Умирает М. М. Достоевский. Достоевский

продолжает издание «Эпохи», принимая на себя долги брата.

1865. В № 2 «Эпохи» печатается рассказ Достоевского «Необыкновенное событие, или Пассаж в пассаже…». Этот номер стал последним, издание возобновлено не было. Достоевский выходит из комитета Литературного фонда. Писателя преследуют кредиторы.

1866. С январского номера «Русского вестника» начинает печататься «Преступление и наказание».

1866. 4 октября. Знакомство с А. Г. Сниткиной, двадцатилетней слушательницей курсов стенографии.

1866. 8 ноября. Достоевский делает предложение А. Г. Сниткиной.

1867. 13 февраля. В Троицком (Измайловском) соборе состоялось венчание Достоевского и А. Г. Сниткиной.

1867. Март. Роман «Преступление и наказание» выходит отдельным изданием.

1867. Апрель. Достоевский и Анна Григорьевна уезжают за границу.

1868. В № 1 «Русского вестника» начинается публикация романа «Идиот».

1868. 22 февраля. У Достоевских в Женеве родилась дочь Софья.

1868. 12 мая. Дочь умирает.

1869. Январь. Достоевский заканчивает роман «Идиот».

1869. 14 сентября. У Достоевских в Дрездене родилась дочь Любовь.

1869. 21 ноября. Под Москвой, в парке Петровской земледельческой академии, пятью членами тайного общества «Народная расправа» во главе с С. Г. Нечаевым убит член общества и слушатель академии И. И. Иванов. Это происшествие послужит внешним сюжетом в романе Достоевского «Бесы».

1871. Январь. В «Русском вестнике» начинает печататься роман «Бесы» (№ 1, 2, 4, 7, 9–11).

1871. 8 июля. Достоевские возвращаются в Петербург.

1871. 16 июля. У Достоевских в Петербурге родился сын Федор. Катков отказывается печатать главу «У Тихона», набранную в декабре.

1872. Май. В. Г. Перов по заказу П. М. Третьякова пишет портрет Достоевского.

1872. Ноябрь — декабрь. В № 11–12 заканчивается публикация «Бесов» без главы «У Тихона».

1872. Декабрь. Достоевский принимает на себя обязанности главного редактора «Гражданина», еженедельного журнала, издаваемого В. П. Мещерским.

1873. Январь. С № 1 «Гражданина» начинается публикация «Дневника писателя». В конце января выходит отдельное издание романа «Бесы».

1874. Роман «Идиот» выходит отдельным изданием.

1874. Февраль. Достоевский начинает работу над романом «Подросток».

1875. Январь. В «Отечественных записках» начинает печататься роман «Подросток» (№ 1, 2, 4, 5, 9, и, 12).

1875. 10 августа. У Достоевских в Старой Руссе родился сын Алеша.

1876. Январь. Выходит отдельное издание романа «Подросток». Достоевский начинает издавать «Дневник писателя».

1877. 2 декабря. Достоевский избирается членом-корреспондентом императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности.

1878. Январь. Достоевского посещает Д. С. Арсеньев, воспитатель великих князей Сергея и Павла, и выражает от имени Александра II пожелание познакомить с ними писателя.

1878. Март. Достоевский получает приглашение принять участие в Международном литературном конгрессе в Париже.

1878. 16 мая. Умирает сын Алеша.

1878. Июнь. Достоевский совместно с Вл. С. Соловьевым предпринимает поездку в Оптину пустынь. В течение года Достоевский работает над романом «Братья Карамазовы».

1879. Начиная с января в «Русском вестнике» печатаются «Братья Карамазовы» (№ 1, 2, 4–6, 8–11).

1879. Июнь. Достоевский получает извещение об избрании его членом почетного комитета Международной литературной ассоциации «почетный президент — В. Гюго». Избрание состоялось на сессии Международного литературного конгресса в Лондоне.

1880. Продолжается публикация романа «Братья Карамазовы» (№ 1, 4, 7–11).

1880. 5–8 июня. Празднества в честь открытия в Москве памятника А. С. Пушкину.

1880. 8 июня. Достоевский произносит речь о Пушкине.

1880. Декабрь. Выходит отдельное издание романа «Братья Карамазовы».

1881. 26 января. У Достоевского первое кровотечение горлом. Доктора диагностируют разрыв легочной артерии.

1881. 28 января (9 февраля по н. ст.). В 8 часов 36 минут вечера Федор Михайлович Достоевский умер.

1881. 31 января. Выходит январский выпуск «Дневника писателя».

1881. 1 февраля. Похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

Библиографическая справка

Тексты печатаются по следующим изданиям:

Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1988.

Достоевская А. Г. Воспоминания / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. С. В. Белова и В. А. Туниманова. М.: Правда, 1987.

Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. Первое полное русское издание / Пер. с нем. Е. С. Кибардиной. СПб.: Андреев и сыновья, 1992.

Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост. и коммент. К. Тюнькина. М.: Худож. лит., 1990.

Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. С. В. Белова. СПб.: Андреев и сыновья, 1993.

Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821–1881. В 3 т. СПб.: Академический проект, 1993.

В оформлении книги использованы автографы и рисунки Ф. М. Достоевского.

Задняя обложка

Личность Достоевского привлекает внимание столь же мощно, как и его творчество. Жизненная история этого человека не укладывается в голове. Кажется иногда, судьба намеренно играла с ним во все известные, мыслимые и немыслимые, варианты человеческой биографии. Любимый сын и сирота. Потомственный дворянин и бесправный каторжанин.

Кумир и изгой. Игрок и труженик… В этой книге отрывки из воспоминаний и фрагменты переписки, подобранные в определенном тематическом порядке, позволяют взглянуть на жизнь Достоевского трезво и непредвзято. Малоизвестные свидетельства, из круга самых близких друзей, воссоздают подлинную канву его биографии, исключая нелепые домыслы и слухи.

Достоевского вообще можно не замечать, и против этой духовной слепоты нечем пособить, — но тому, кто однажды его *заметил,* уже не оторваться от «жестокого таланта», для того Достоевский становится спутником на всю жизнь, мучением, загадкой, утешением… Больное, любящее и страдающее сердце — вот что влечет к Достоевскому через все разногласия с ним, непонимание и предрассудки. Ему был дан страшный, истинно человеческий и единственно человеческий дар — дар страдания во имя любви к людям, дар страдания и крест страдания.

Сергей Николаевич Булгаков

notes

Примечания

1

Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у проф. Юнге, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расширился. *(Примеч. А. Г. Достоевской.)*

2

Навязчивая идея *(фр.)*.

З

Золотая молодежь *(фр.)*.

4

Литературный псевдоним В. И. Даля.

«Часы молитвы» *(нем.)*.

6

Никогда не говорите правды в ущерб вашей добродетели. *(фр.)*.

7

«Во Францию два гренадера из русского плена брели…» *(нем.)*.

«Янко, венгерский табунщик» *(нем.)*.

9

Бешеный *(фр.)*.

10

Вволю *(фр.)*.

11

«Ватагой» на каторжных работах называется партия арестантов, помещающаяся в одной казарме или отделении. «Ватага» имеет старшего из отпетых, который называется «большаком» или «старостой».

«Отверженные» *(фр.)*.

13

Суслова ошиблась в числе. Следует читать: 26 <августа>.

14

Так в оригинале.

15

Достоевский намекает на страсть Сусловой к испанцу Сальвадору.

16

Отец Горио.

17

Бедные родственники.

18

Униженные и оскорбленные.

19

Акушерка *(фр.)*.

20

Сиделка *(фр.)*.

21

Мальчик, не правда ли? *(фр.)*

22

Девочка, очаровательная девочка! *(фр)*

23

Что-нибудь *(фр.)*.

24

Не плачьте, — он не умер, он только спит *(лат.)*.